This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARIES
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
1817

Бакунин и заключенные.

ССЫЛЬНЫМЪ и ЗАКЛЮЧЕННЫМЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
1907.

891.708
S774

Товарищество «Вольная Типографія». Фонтанка, 94.

Содержаніе:

Разсказы:

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ. Елеазаръ.
М. АРЦЫБАШЕВЪ. Подпрапорщикъ Гололобовъ.
В. ВЕРЕСАЕВЪ. Издали.
Н. ГАРИНЪ. Ревекка.
А. КУПРИНЪ. Какъ я былъ актеромъ.
В. МУЙЖЕЛЬ. Кошмаръ.

Стихотворенія:

С. ВЕРХОЯНЦЕВЪ.
А. ЛУКЪЯНОВЪ.
(П. Я.), Л. МЕЛЬШИНЪ.
В. Н. ФИГНЕРЪ.

Разсказы:

А. СЕРАФИМОВИЧЪ. На морѣ.
ТАНЪ. Христосъ на землѣ.
Н. ТИМКОВСКІЙ. Аквріумъ.
Е. ЧИРИКОВЪ. Облава.
С. ЮШКЕВИЧЪ. Новый пророкъ.

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ

ЕЛЕАЗАРЪ

68193-406.

I.

Когда Елеазаръ вышелъ изъ могилы, гдѣ три дня и ночи находился онъ подъ загадочною властію смерти, и живымъ возвратился въ свое жилище, въ немъ долго не замѣчали тѣхъ зловѣщихъ странностей, которыя со временемъ сдѣлали страшнымъ самое имя его. Радуясь свѣтлой радостью о возвращенномъ къ жизни, друзья и близкіе ласкали его непрестанно и въ заботахъ о пищѣ и питьѣ и о новой одеждѣ утоляли жадное вниманіе свое. И одѣли его пышно, въ яркіе цвѣта надежды и смѣха, и когда онъ, подобный жениху въ брачномъ одѣяніи, снова сидѣлъ среди нихъ за столомъ, и снова ѣлъ, и снова пилъ, они плакали отъ умиленія и звали сосѣдей, чтобы взглянуть на чудесно воскресшаго. Приходили сосѣди и радовались умиленно; приходили незнакомые люди изъ дальныхъ городовъ и селеній и въ бурныхъ восклицаніяхъ выражали свое поклоненіе чуду—точно пчелы гудѣли надъ домомъ Маріи и Марфы.

И то, что появилось новаго въ лицѣ Елеазара и движеніяхъ его, объясняли естественно, какъ слѣды тяжелой болѣзни и пережитыхъ потрясеній. Очевидно, разрушительная работа смерти надъ трупомъ была только остановлена чудесной властью, но не уничтожена совсѣмъ; и то, что смерть уже успѣла сдѣлать съ лицомъ и тѣломъ Елеазара, было какъ неоконченный рисунокъ художника подъ тонкимъ стекломъ. На вискахъ Елеазара, подъ его глазами и во впадинахъ щекъ лежала густая, землистая

синева; такъ же землисто сини были длинные пальцы рукъ, и у выросшихъ въ могилѣ ногтей синева становилась багровой и темной. Кое гдѣ на губахъ и на тѣлѣ лопнула кожа, вздувшаяся въ могилѣ, и на этихъ мѣстахъ остались тонкія, красноватыя трещинки, блестящія, точно покрытыя прозрачной слюдою. И тученъ онъ сталъ. Раздутое въ могилѣ тѣло сохранило эти чудовищные размѣры, эти страшныя выпуклости, за которыми чувствуется зловонная влага разложенія. Но трупный, тяжелый запахъ, которымъ были пропитаны погребальныя одежды Елеазара и, казалось, самое тѣло его, вскорѣ исчезъ совершенно, а черезъ нѣкоторое время смягчилась синева рукъ и лица, и загладились красноватыя трещинки кожи, хотя совсѣмъ онѣ никогда не исчезли. Съ такимъ лицомъ предсталъ онъ людямъ во второй своей жизни; но оно казалось естественнымъ тѣмъ, кто видѣлъ его погребеннымъ.

Кромѣ лица измѣнился какъ будто нравъ Елеазара, но и это никого не удивило и не обратило на себя должнаго вниманія. До смерти своей Елеазаръ былъ постоянно веселъ и беззаботенъ, любилъ смѣхъ и безобидную шутку. За эту пріятную и ровную веселость, лишенную злобы и мрака, такъ и возлюбилъ его Учитель. Теперь же онъ былъ серьезенъ и молчаливъ; самъ не шутилъ и на чужую шутку не отвѣчалъ смѣхомъ;—и тѣ слова, которыя онъ изрѣдка произносилъ, были самыя простыя, обыкновенныя и необходимыя слова, столь же лишенныя содержанія и глубины, какъ тѣ звуки, которыми животное выражаетъ боль и удовольствіе, жажду и голодъ. Такія слова всю жизнь можетъ говорить человѣкъ, и никто никогда не узнаетъ, чѣмъ болѣла и радовалась его глубокая душа.

Такъ съ лицомъ трупа, надъ которымъ три дня властвовала во мракѣ смерть,—въ пышныхъ брачныхъ одеждахъ, сверкающихъ желтымъ золотомъ и кровавымъ пурпуромъ, тяжелый и молчаливый, уже до ужаса другой и особенный, но еще не признанный никѣмъ—сидѣлъ онъ за столомъ пиршества среди друзей и близкихъ. Широкими волнами, то нѣжными, то бурливо звонкими, ходило вкругъ него ликованіе; и теплые взгляды любви тянулись къ его

лицу, еще сохранившему холодъ могилы;— и горячая рука друга ласкала его синюю тяжелую руку. И музыка играла. Призвали музыкантовъ, и они весело играли: тимпанъ и свирѣль, цитра и гусли. Точно пчелы гудѣли—точно цикады трещали—точно птицы пѣли надъ счастливымъ домомъ Маріи и Марфы.

II.

Кто-то неосторожный приподнялъ покрывало. Кто-то неосторожный однимъ дуновеніемъ брошеннаго слова разрушилъ свѣтлыя чары и въ безобразной наготѣ открылъ истиiу. Еще мысль не стала ясной въ головѣ его, когда уста, улыбаясь, спросили:

— Отчего ты не разскажешь намъ, Елеазаръ,—что было тамъ?

И всѣ замолчали, пораженные вопросомъ. Какъ будто сейчасъ только догадались они, что три дня былъ мертвъ Елеазаръ, и съ любопытствомъ смотрѣли, ожидая отвѣта. Но Елеазаръ молчалъ.

— Ты не хочешь намъ разсказать—удивился вопрошавшій.—Развѣ такъ страшно тамъ?

И опять мысль его шла позади слова; если бы она шла впереди, не предложилъ бы онъ вопроса, отъ котораго въ то же мгновеніе нестерпимымъ страхомъ сжалось его собственное сердце. И всѣмъ стало безпокойно, и уже съ тоскою ожидали они словъ Елеазара, и онъ молчалъ, холодно и строго, и глаза его были опущены долу. И тутъ снова какъ бы впервые замѣтили и страшную синеву лица, и отвратительную тучность; на столѣ, словно позабытая Елеазаромъ, лежала сине-багровая рука его—и всѣ взоры неподвижно и безвольно приковались къ ней, точно отъ нея ждали желаннаго отвѣта. А музыканты еще играли; но вотъ и до нихъ дошло молчаніе, и какъ вода заливаетъ разбросанный уголь, такъ и оно погасило веселые звуки. Умолкла свирѣль; умолкли и звонкій тимпанъ и журчащія гусли; и точно струна оборвалась, точно сама пѣснь умер-

ла—дрожащимъ оборваннымъ звукомъ откликнулась цитра. И стало тихо.

— Ты не хочешь?—повторилъ вопрошавшій, безсильный удержать свой болтливый языкъ. Было тихо, и неподвижно лежала сине-багровая рука. Вотъ она слегка шевельнулась, и всѣ вздохнули облегченно и подняли глаза—прямо на нихъ, все охватывая однимъ взоромъ, тяжело и страшно смотрѣлъ воскресшій Елеазаръ.

Это было на третій день послѣ того, какъ Елеазаръ вышелъ изъ могилы. Съ тѣхъ поръ многіе испытали губительную силу его взора, но ни тѣ, кто былъ ею сломленъ навсегда, ни тѣ, кто въ самыхъ первоисточникахъ жизни, столь же таинственной, какъ и смерть, нашелъ волю къ сопротивленію,—никогда не могли объяснить ужаснаго, что недвижимо лежало въ глубинѣ черныхъ зрачковъ его. Смотрѣлъ Елеазаръ спокойно и просто, безъ желанія что-либо скрыть, но и безъ намѣренія что-либо сказать—даже холодно смотрѣлъ онъ, какъ тотъ, кто безконечно равнодушенъ къ живому. И многіе беззаботные люди сталкивались съ нимъ близко и не замѣчали его, а потомъ съ удивленіемъ и страхомъ узнавали, кто былъ этотъ тучный, спокойный, задѣвшій ихъ краемъ своихъ пышныхъ и яркихъ одеждъ. Не переставало свѣтить солнце, когда онъ смотрѣлъ, не переставалъ звучать фонтанъ, и такимъ же безоблачно синимъ оставалось родное небо, но человѣкъ, подпавшій подъ его загадочный взоръ, уже не чувствовалъ солнца, уже не слышалъ фонтана и не узнавалъ родного неба. Иногда человѣкъ плакалъ горько; иногда въ отчаяніи рвалъ волосы на головѣ и безумно звалъ другихъ людей на помощь—но чаще случалось такъ, что равнодушно и спокойно онъ начиналъ умирать, и умиралъ долгими годами, умиралъ на глазахъ у всѣхъ, умиралъ безцвѣтный, вялый и скучный, какъ дерево, молчаливо засыхающее на каменистой почвѣ. И первые, тѣ, кто кричалъ и безумствовалъ, иногда возвращались къ жизни, а вторые—никогда.

— Такъ ты не хочешь разсказать намъ, Елеазаръ, что видѣлъ ты тамъ? — въ третій разъ повторилъ вопрошав-

шій. Но теперь голосъ его былъ равнодушенъ и тусклъ, и мертвая, сѣрая скука тупо смотрѣла изъ глазъ. И всѣ лица покрыла, какъ пыль, та же мертвая, сѣрая скука, и съ тупымъ удивленіемъ гости озирали другъ друга и не понимали, зачѣмъ собрались они сюда и сидятъ за богатымъ столомъ. Перестали говорить. Равнодушно думали, что надо, вѣроятно, идти домой, но не могли преодолѣть вязкой и лѣнивой скуки, обезсиливавшей мышцы, и продолжали сидѣть, всѣ оторванные другъ отъ друга, какъ тусклые огоньки, разбросанные по ночному полю.

Но музыкантамъ платили за то, чтобы они играли, и снова взялись они за инструменты, и снова полились и запрыгали заученно-веселые, заученно-печальные звуки. Все та же привычная гармонія развертывалась въ нихъ, но удивленно внимали гости: они не знали, зачѣмъ это нужно и почему это хорошо, когда люди дергаютъ за струны, надувая щеки, свистятъ въ тонкія дудки и производятъ странный, разноголосый шумъ.

— Какъ они плохо играютъ! — сказалъ кто-то.

Музыканты обидѣлись и ушли. За ними одинъ по одному ушли гости, ибо наступила уже ночь. И когда со всѣхъ сторонъ ихъ охватила спокойная тьма, и уже легче становилось дышать — вдругъ передъ каждымъ изъ нихъ въ грозномъ сіяніи всталъ образъ Елеазара: синее лицо мертвеца, одежды жениха, пышныя и яркія, и холодный взглядъ, въ глубинѣ котораго недвижимо застыло ужасное. Точно превращенные въ камень, стояли они въ разныхъ концахъ, и тьма ихъ окружала, и во тьмѣ все ярче разгоралось ужасное видѣніе, сверхъестественный образъ того, кто три дня находился подъ загадочной властію смерти. Три дня онъ былъ мертвъ: трижды восходило и заходило солнце, а онъ былъ мертвъ; дѣти играли, журчала по камнямъ вода, горячая пыль вздымалась на проѣзжей дорогѣ — а онъ былъ мертвъ. И теперь онъ снова среди людей — касается ихъ — смотритъ на нихъ — смотритъ на нихъ! — и сквозь черные кружки его зрачковъ, какъ сквозь темныя стекла, смотритъ на людей само непостижимое Тамъ.

III.

Никто не заботился объ Елеазарѣ, не осталось у него близкихъ и друзей, и великая пустыня, обнимавшая святой городъ, приблизилась къ самому порогу жилища его. И въ домъ его вошла, и на ложѣ его раскинулась, какъ жена, и огни погасила. Никто не заботился объ Елеазарѣ. Одна за другою ушли сестры его Марія и Марфа—долго не хотѣла покидать его Марфа, ибо не знала, кто будетъ его кормить и жалѣть его, плакала и молилась. Но въ одну ночь, когда вѣтеръ носился въ пустынѣ, и со свистомъ сгибались кипарисы надъ кровлей, она тихо одѣлась и тихо ушла. Вѣроятно, слышалъ Елеазаръ, какъ хлопнула дверь, какъ, незапертая плотно, она хлопалась о косяки подъ порывами вѣтра, — но не поднялся онъ, не вышелъ, не посмотрѣлъ. И всю ночь до утра свистѣли надъ его головою кипарисы, и жалобно постукивала дверь, впуская въ жилище холодную, жадно рыскающую пустыню. Какъ прокаженнаго избѣгали его всѣ, и какъ прокаженному хотѣли на шею ему надѣть колокольчикъ, чтобы избѣгать во-время встрѣчи. Но кто-то, поблѣднѣвъ, сказалъ, что будетъ очень страшно, если ночью подъ окнами послышится звонъ Елеазарова колокольца, — и всѣ, блѣднѣя, согласились съ нимъ.

И такъ какъ и самъ онъ не заботился о себѣ, то, быть можетъ, умеръ бы онъ отъ голода, если бы сосѣди, чего-то боясь, не ставили ему пищу. Приносили ее дѣти; они не боялись Елеазара, но и не смѣялись надъ нимъ, какъ съ невинной жестокостью смѣются они надъ несчастными. Были равнодушны къ нему, такимъ же равнодушіемъ платилъ Елеазаръ: не было у него желанія поблагодарить ихъ за услуги, не было желанія приласкать черную головку и заглянуть въ наивные, сіяющіе глазки. Отданный во власть времени и пустынѣ, разрушался его домъ, и давно разбѣжались по сосѣдямъ голодныя, блеющія козы. И обветшали брачныя одежды его. Какъ надѣлъ онъ ихъ въ тотъ счастливый день, когда играли музыканты, такъ и носилъ, не мѣняя, точно не видѣлъ онъ разницы между новымъ и старымъ, между рваннымъ и крѣпкимъ. Яркіе цвѣта выго-

рѣли и поблекли; злыя городскія собаки и острый тернъ пустыни въ лохмотья превратили нѣжную ткань.

Днемъ, когда безпощадное солнце становилось убійцей всего живого, и даже скорпіоны забивались подъ камни и тамъ корчились отъ безумнаго желанія жалить, онъ неподвижно сидѣлъ подъ лучами, поднявъ кверху синее лицо и косматую, дикую бороду.

Когда съ нимъ еще говорили, его спросили однажды:

— Бѣдный Елеазаръ! Тебѣ пріятно сидѣть и смотрѣть на солнце? И онъ отвѣтилъ:

— Да, пріятно.

Такъ, вѣроятно, силенъ былъ холодъ трехдневной мо.илы, такъ глубока тьма ея, что не было на землѣ ни такого пожара, ни такого свѣта, который могъ бы согрѣть Елеазара и освѣтить мракъ его очей,—подумали вопрошавшіе и со вздохомъ отошли.

А когда багрово-красный, расплющенный шаръ опускался къ землѣ, Елеазаръ уходилъ въ пустыню и шелъ прямо на солнце, какъ будто стремился настигнуть его. Всегда прямо на солнце шелъ онъ, и тѣ, кто пытались прослѣдить путь его и узнать, что дѣлаетъ онъ ночью въ пустынѣ, неизгладимо запечатлѣли въ памяти черный силуэтъ высокаго, тучнаго человѣка на красномъ фонѣ огромнаго сжатаго диска. Ночь прогнала ихъ страхами своими, и такъ не узнали они, что дѣлаетъ въ пустынѣ Елеазаръ, но образъ чернаго на красномъ выжегся въ мозгу и не уходилъ. Какъ звѣрь, засорившій глаза, яростно третъ лапами морду, такъ глупо терли и они глаза свои, но то, что давалъ Елеазаръ, было неизгладимо и забывалось, быть можетъ, только со смертью.

Но были люди, жившіе далеко, которые никогда не видали Елеазара и только слыхали о немъ. Съ дерзновеннымъ любопытствомъ, которое сильнѣе страха и питается страхомъ, съ затаенной насмѣшкой въ душѣ, они приходили къ сидящему подъ солнцемъ и вступали въ бесѣду. Въ это время видъ Елеазара уже измѣнился къ лучшему и не былъ такъ страшенъ; и въ первую минуту они щелкали пальцами и неодобрительно думали о глупости жите-

лей святого города. А когда короткій разговоръ кончался, и они уходили домой, они имѣли такой видъ, что жители святого города сразу узнавали ихъ и говорили:

— Вотъ еще идетъ безумецъ, на котораго посмотрѣлъ Елеазаръ,—и съ сожалѣніемъ умолкали и поднимали руки.

Приходили, бряцая оружіемъ, храбрые воины, не знавшіе страха; приходили со смѣхомъ и пѣснями счастливые юноши; и озабоченные дѣльцы, позвякивая деньгами, забѣгали на минуту; и надменные служители храма ставили свои посохи у дверей Елеазара,—и никто не возвращался какимъ приходилъ. Одна и та же страшная тѣнь опускалась на души и новый видъ давала старому, знакомому міру.

Такъ передавали чувства свои тѣ, которые еще имѣли охоту говорить:

Всѣ предметы, видимые глазомъ и осязаемые руками, становились пусты, легки и прозрачны—подобны свѣтлымъ тѣнямъ во мракѣ ночи становились они;

ибо та великая тьма, что объемлетъ все міросданіе, не разсѣевалась ни солнцемъ, ни луною, ни звѣздами, а безграничнымъ чернымъ покровомъ одѣвала землю, какъ мать, обнимала ее;

во всѣ тѣла проникала она, въ желѣзо и камень, и одиноки становились частицы тѣла, потерявшія связь; и въ глубину частицъ проникала она, и одиноки становились частицы частицъ;

ибо та великая пустота, что объемлетъ міросданіе, не наполнялась видимымъ, ни солнцемъ, ни луною, ни звѣздами, а царила безбрежно, всюду проникая, все отъединяя, тѣло отъ тѣла, частицы отъ частицъ;

въ пустотѣ разстилали свои корни деревья и сами были пусты; въ пустотѣ, грозя призрачнымъ паденіемъ, высились храмы, дворцы и дома и сами были пусты;— и въ пустотѣ двигался безпокойно человѣкъ и самъ былъ пустъ и легокъ, какъ тѣнь;

ибо не стало времени, и сблизилось начало каждой вещи съ концомъ ея: еще только строилось зданіе, и строители еще стучали молотками, а уже видѣлись

развалины его, и пустота на мѣстѣ развалинъ; еще только рождался человѣкъ, а надъ головою его зажигались погребальныя свѣчи, и уже тухли онѣ, и уже пустота становилась на мѣстѣ человѣка и погребальныхъ свѣчей;

и объятый пустотою и мракомъ, безнадежно трепеталъ человѣкъ передъ ужасомъ Безконечнаго.

Такъ говорили тѣ, кто еще имѣлъ охоту говорить. Но, вѣроятно, еще больше могли бы сказать тѣ, которые не хотѣли говорить и молча умирали.

VI.

Въ это время жилъ въ Римѣ одинъ знаменитый скульпторъ. Изъ глины, мрамора и бронзы онъ создавалъ тѣла боговъ и людей, и такова была ихъ божественная красота, что люди называли ее безсмертною. Но самъ онъ былъ недоволенъ и утверждалъ, что есть еще нѣчто, по истинѣ красивѣйшее, что не можетъ онъ закрѣпить ни въ мраморѣ, ни въ бронзѣ.—Еще луннаго сіянія не собралъ я—говорилъ онъ—и нѣтъ въ моемъ мраморѣ души, нѣтъ жизни въ моей красивой бронзѣ. И когда въ лунныя ночи онъ медленно брелъ по дорогѣ, пересѣкая черныя тѣни кипарисовъ, мелькая бѣлымъ хитономъ подъ луною, встрѣчные дружески смѣялись и говорили:

— Не лунный ли свѣтъ идешь ты собирать, Авреліи! Почему не взялъ ты съ собою корзинъ?

И такъ же смѣясь, онъ показывалъ на свои глаза:

— Вотъ мои корзины, куда собираю я свѣтъ луны и сіяніе солнца.

И это было правда: свѣтилась луна въ его глазахъ, и солнце сверкало въ нихъ. Но не могъ онъ перевести ихъ въ мраморъ, и въ этомъ было свѣтлое страданіе его жизни.

Происходилъ онъ изъ древняго рода патриціевъ, имѣлъ добрую жену и дѣтей и ни въ чемъ не терпѣлъ недостатка.

Когда дошелъ до него темный слухъ объ Елеазарѣ, онъ посовѣтовался съ женою и друзьями и предпринялъ далекое путешествіе въ Іудею, чтобы взглянуть на чудесно воскресшаго. Было ему немного скучно въ эти дни, и надѣялся онъ дорогою обострить утомленное вниманіе свое. То, что разсказывали ему о воскресшемъ, не пугало его: онъ много размышлялъ о смерти, не любилъ ея, но не любилъ и тѣхъ, кто смѣшиваетъ ее съ жизнью. По эту сторону—прекрасная жизнь, по ту сторону—загадочная смерть, размышлялъ онъ, и ничего лучшаго не можетъ придумать человѣкъ, какъ живя—радоваться жизни и красотѣ живого. И имѣлъ онъ даже нѣкоторое тщеславное желаніе: убѣдить Елеазара въ истинѣ своего взгляда и вернуть къ жизни его душу, какъ было возвращено тѣло. Тѣмъ болѣе легко это казалось, что слухи о воскресшемъ, пугливые и странные, не передавали всей правды о немъ и только смутно предостерегали противъ чего-то ужаснаго.

Уже поднимался Елеазаръ съ камня, чтобы идти вслѣдъ за уходящимъ въ пустыню солнцемъ, когда приблизился къ нему богатый римлянинъ, сопровождаемый вооруженнымъ рабомъ, и звонко окликнулъ его:

— Елеазаръ!

И увидѣлъ Елеазаръ прекрасное гордое лицо, осіянное славой, и свѣтлыя одежды и драгоцѣнные камни, сверкающіе подъ солнцемъ. Красноватые лучи придавали головѣ и лицу сходство съ тускло блистающей бронзой—и это увидѣлъ Елеазаръ. Послушно сѣлъ онъ на свое мѣсто и утомленно опустилъ глаза.

— Да, ты некрасивъ, мой бѣдный Елеазаръ—говорилъ спокойно римлянинъ, играя золотою цѣпью, — ты даже страшенъ, мой бѣдный другъ; и смерть не была лѣнивой въ тотъ день, когда ты такъ неосторожно попалъ въ ея руки. Но ты толстъ, какъ бочка, а толстые люди не бываютъ злы, говорилъ великій Цезарь, и я не понимаю, почему такъ боятся тебя люди. Ты позволишь мнѣ переночевать у тебя? Уже поздно, а у меня нѣтъ пріюта.

Еще никто не просилъ Елеазара провести у него ночь.

— У меня нѣтъ ложа,—сказалъ онъ.

— Я немного воинъ и могу спать сидя,—отвѣтилъ римлянинъ.—Мы зажжемъ огонь...

— У меня нѣтъ огня.

— Тогда въ темнотѣ, какъ два друга, мы поведемъ бесѣду. Я думаю, у тебя найдется немного вина...

— У меня нѣтъ вина.

Римлянинъ засмѣялся.

— Теперь я понимаю, почему такъ мраченъ ты и не любишь своей второй жизни. Нѣтъ вина! Ну что же, останемся и такъ: вѣдь есть рѣчи, которыя кружатъ голову не хуже фалернскаго.

Движеніемъ руки онъ отпустилъ раба, и они остались вдвоемъ. И снова заговорилъ скульпторъ, но будто вмѣстѣ съ уходящимъ солнцемъ уходила жизнь изъ его словъ, и становились они блѣдныя и пустыя,—будто шатались они на нетвердыхъ ногахъ, будто скользили и падали они, упившись виномъ тоски и отчаянія. И черные провалы между ними появились—какъ далекіе намеки на великую пустоту и великій мракъ.

— Теперь я твой гость, и ты не обидишь меня, Елеазарь!—говорилъ онъ.—Гостепріимство обязательно даже для тѣхъ, кто три дня былъ мертвъ. Вѣдь три дня, говорили мнѣ, ты пробылъ въ могилѣ. Тамъ холодно, должно быть... и оттуда ты вынесъ эту скверную привычку обходиться безъ огня и вина. А я люблю огонь, здѣсь такъ быстро темнѣетъ... У тебя очень интересная линія бровей и лба: точно занесенныя пепломъ развалины какихъ-то дворцовъ послѣ землетрясенія. Но почему ты въ такой странной и некрасивой одеждѣ? Я видѣлъ жениховъ въ вашей странѣ, и они носятъ такое платье—такое смѣшное платье—такое страшное платье... Но развѣ ты женихъ?

Уже скрылось солнце, черная гигантская тѣнь побѣжала съ востока—точно босыя, огромныя ноги зашуршали по песку, и дуновеніе быстраго бѣга обвѣяло холодомъ спину.

— Въ темнотѣ ты кажешься еще больше, Елеазаръ, ты точно растолстѣлъ за эти минуты. Ужъ не кормишься ли ты тьмою?.. А я бы хотѣлъ огня—хоть маленькій огонь, хоть маленькій огонь. И мнѣ холодно немного, у васъ та-

кія варварски холодныя ночи... Если бы не было такъ темно, я сказалъ бы, что ты смотришь на меня, Елеазаръ. Да, кажется, ты смотришь... Вѣдь ты смотришь на меня, я чувствую—ну вотъ ты улыбнулся.

Ночь пришла, и тяжелой чернотою налился воздухъ.

— Вотъ будетъ хорошо, когда завтра снова взойдетъ солнце... Вѣдь ты знаешь, что я великій скульпторъ—такъ зовутъ меня друзья. Я творю, да, это называется творить... но для этого нуженъ день. Холодному мрамору я даю жизнь, я плавлю на огнѣ звенящую бронзу, на яркомъ, горячемъ огнѣ... Зачѣмъ ты тронулъ меня рукой!

— Пойдемъ—сказалъ Елаазаръ.—Ты мой гость.

И они пошли въ домъ. И долгая ночь легла на землю.

Рабъ не дождался господина и пришелъ за нимъ, когда уже высоко стояло солнце. И увидѣлъ: прямо подъ палящими лучами его сидѣли рядомъ Елеазаръ и его господинъ, смотрѣли вверхъ и молчали. Заплакалъ рабъ и громко закричалъ:

— Господинъ, что съ тобою? Господинъ!

Въ тотъ же день онъ уѣхалъ въ Римъ. Всю дорогу Аврелій былъ задумчивъ и молчалъ, внимательно оглядывалъ все, людей, корабль и море, и точно старался что запомнить. Въ морѣ застигла ихъ сильная буря, и во все время ея Аврелій находился на палубѣ и жадно вглядывался въ надвигающіеся и падавшіе валы. Дома испугались страшной перемѣнѣ, которая произошла съ скульпторомъ, но онъ успокоилъ домашнихъ, многозначительно сказавъ:

— Я нашелъ.

И въ той же грязной одеждѣ, которую не мѣнялъ онъ всю дорогу, онъ взялся за работу, и мраморъ покорно зазвенѣлъ подъ гулкими ударами молотка. Долго и жадно работалъ онъ, никого не впуская, и, наконецъ, въ одно утро сказалъ, что произведеніе готово, и повелѣлъ созвать друзей, строгихъ цѣнителей и знатоковъ искусства. И ожидая ихъ, одѣлся пышно, въ яркія праздничныя одежды, сверкавшія желтымъ золотомъ, краснѣвшія пурпуромъ виссона.

— Вотъ что я создалъ,—сказалъ онъ задумчиво.

Взглянули друзья его, и тѣнь глубокой скорби покрыла ихъ лица. Это было нѣчто чудовищное, не имѣвшее въ себѣ ни одной изъ знакомыхъ глазу формъ, но не лишенное намека на какой-то новый, невѣдомый образъ. На тоненькой, кривой вѣточкѣ, или уродливомъ подобіи ея, криво и странно лежала слѣпая, безобразная, раскаряченная груда чего-то ввернутаго внутрь, чего-то вывернутаго наружу, какихъ-то дикихъ обрывковъ, безсильно стремящихся уйти отъ самихъ себя. И случайно, подъ однимъ изъ дико-кричащихъ выступовъ, замѣтили дивно изваянную бабочку, съ прозрачными крылышками, точно трепетавшими отъ безсильнаго желанія летѣть.

— Зачѣмъ эта дивная бабочка, Аврелій?—нерѣшительно спросилъ кто-то.

— Не знаю—отвѣтилъ скульпторъ.

Но нужно было сказать правду, и одинъ изъ друзей, тотъ, что больше любилъ Аврелія, твердо сказалъ:

— Это безобразно, мой бѣдный другъ. Это надо уничтожить. Дай молотокъ.

И двумя ударами онъ разрушилъ чудовищную груду, оставивъ только дивно изваянную бабочку.

Съ тѣхъ поръ Аврелій больше ничего не создалъ. Съ глубокимъ равнодушіемъ онъ смотрѣлъ на мраморъ и на бронзу и на свои прежнія божественныя созданія, на которыхъ почила безсмертная красота. Думая вдохнуть въ него старый жаръ къ работѣ, разбудить его омертвѣвшую душу, его водили смотрѣть чужія прекрасныя произведенія,—но все такъ же равнодушенъ оставался онъ, и улыбка не согрѣвала его сомкнутыхъ устъ. И только когда много и долго ему говорили о красотѣ, онъ возражалъ утомленно и вяло:

— Но вѣдь все это—ложь.

А днемъ, когда свѣтило солнце, онъ выходилъ въ свой богатый, искусно устроенный садъ и, найдя мѣсто, гдѣ не было тѣни, отдавалъ непокрытую голову и тусклыя очи свои сверканью и зною. Порхали красныя и бѣлыя бабочки; въ мраморный водоемъ сбѣгала, плескаясь, вода изъ искривленныхъ устъ блаженно пьянаго сатира, а онъ сидѣлъ

неподвижно—какъ блѣдное отраженіе того, кто въ глубокой дали, у самыхъ вратъ каменной пустыни, такъ же недвижимо сидѣлъ подъ огненнымъ солнцемъ.

V.

И вотъ призвалъ къ себѣ Елеазара самъ великій, божественный Августъ.

Одѣли Елеазара пышно, въ торжественныя брачныя одежды—какъ будто время узаконило ихъ, и до самой своей смерти онъ долженъ былъ оставаться женихомъ невѣдомой невѣсты. Похоже было на то, какъ будто на старый, гніющій, уже начавшій разваливаться гробъ навели новую позолоту и привѣсили новыя, веселыя кисти. И торжественно повезли его, всѣ нарядные и яркіе, какъ будто и вправду двигался свадебный поѣздъ, и передовые громко трубили въ трубы, чтобы давали дорогу посланцамъ императора. Но пустынны были пути Елеазара: вся родная страна уже проклинала ненавистное имя чудесно воскресшаго, и разбѣгался народъ при одной вѣсти о страшномъ приближеніи его. Одиноко трубили мѣдныя трубы, и только пустыня отвѣчала протяжнымъ эхомъ своимъ.

Потомъ повезли его моремъ. И это былъ самый нарядный и самый печальный корабль, который отражался когда-либо въ лазурныхъ волнахъ Середиинаго моря. Много людей на немъ находилось, но какъ гробница былъ онъ безмолвенъ и тихъ, и словно плакала безнадежно вода, огибая крутой, красиво изогнутый носъ. Одиноко сидѣлъ тамъ Елеазаръ, подставляя непокрытую голову солнцу, слушалъ журчаніе струй и молчалъ, а вдали смутной толпою тоскующихъ тѣней, безсильно и вяло лежали, сидѣли моряки и посланцы. Если бы въ это время ударилъ громъ, вѣтеръ рванулъ красные паруса, корабль, вѣроятно, погибъ бы, такъ какъ ни у кого изъ бывшихъ на немъ не было ни силъ, ни охоты бороться за жизнь. Съ послѣднимъ усиліемъ нѣкоторые подходили къ борту и жадно вглядывались въ голубую, прозрачную бездну: не мелькнетъ ли въ волнахъ розовымъ плечомъ наяда, не промчится ль, взбивая

копытами брызги, безумно веселый и пьяный кентавръ. Но пустынно было море, и морская бездна была нѣма и пустынна.

Равнодушно вступилъ Елеазаръ на улицы вѣчнаго города. Словно все богатство его, все величіе зданій, возведенныхъ гигантами, весь блескъ и красота и музыка утонченной жизни — было лишь отзвукомъ вѣтра въ пустынѣ, отблескомъ знойныхъ зыбучихъ песковъ. Мчались колесницы, двигались толпы сильныхъ, красивыхъ, надменныхъ людей, строителей вѣчнаго города и гордыхъ участниковъ жизни его; звучала пѣсня — смѣялись фонтаны и женщины своимъ жемчужнымъ смѣхомъ—философствовали пьяные—съ улыбкой слушали ихъ трезвые — и подковы стучали, подковы стучали о камень настилокъ. И охваченный со всѣхъ сторонъ веселымъ шумомъ, холоднымъ пятномъ безмолвія двигался среди города тучный, тяжелый человѣкъ и сѣялъ на пути своемъ досаду, гнѣвъ и смутную, сосущую тоску. Кто смѣетъ быть печальнымъ въ Римѣ?—негодовали граждане и хмурились—а черезъ два дня уже весь быстроязычный Римъ зналъ о чудесно воскресшемъ и пугливо сторонился отъ него.

Но были и здѣсь многіе смѣлые люди, желавшіе испытать силу свою, и на ихъ неосмысленный зовъ послушно приходилъ Елеазаръ. Занятый дѣлами государства, императоръ медлилъ съ пріемомъ, и цѣлыхъ семь дней ходилъ по людямъ чудесно воскресшій.

Вотъ пришелъ Елеазаръ къ веселому пьяницѣ, и пьяница смѣхомъ красныхъ губъ встрѣтилъ его.

— Пей, Елеазаръ, пей! — кричалъ онъ. — Вотъ посмѣется Августъ, когда увидитъ тебя пьянымъ!

И смѣялись обнаженныя, пьяныя женщины, и лепестки розъ ложились на синія руки Елеазара. Но взглянулъ пьяница въ глаза его — и навсегда кончилась его радость. На всю жизнь остался онъ пьянымъ; уже не пилъ ничего, но оставался пьянымъ, — но вмѣсто радостныхъ грезъ, что даетъ вино, страшные сны осѣнили несчастную голову его. Страшные сны стали единственной пищей его пораженнаго духа. Страшные сны и днемъ и ночью держали его въ чаду

своихъ чудовищныхъ созданій, и сама смерть не была страшнѣе того, чѣмъ явили себя ея свирѣпые предтечи.

Вотъ пришелъ Елеазаръ къ юношѣ и дѣвушкѣ, которые любили другъ друга и были прекрасны въ своей любви. Гордо и крѣпко обнимая рукою свою возлюбленную, юноша сказалъ съ тихимъ сожалѣніемъ:

— Взгляни на насъ, Елеазаръ, и порадуйся съ нами. Развѣ есть что-нибудь сильнѣе любви?

И взглянулъ Елеазаръ. И всю жизнь продолжали они любить другъ друга, но печальной и сумрачной стала ихъ любовь, какъ тѣ надмогильные кипарисы, что корни свои питаютъ тлѣніемъ гробницъ и остротою черныхъ вершинъ своихъ тщетно ищутъ неба въ тихій вечерній часъ. Бросаемые невѣдомою силою жизни въ объятія другъ друга, поцѣлуи они смѣшивали со слезами, наслажденіе съ болью, и дважды рабами чувствовали себя: покорными рабами требовательной жизни и безотвѣтными слугами грозно молчащаго Ничто. Вѣчно соединяемые, вѣчно разъединяемые, они вспыхивали какъ искры и какъ искры гасли въ безграничной темнотѣ.

Вотъ пришелъ Елеазаръ къ гордому мудрецу, и мудрецъ сказалъ ему:

— Я уже знаю все, что ты можешь сказать ужаснаго, Елеазаръ. Чѣмъ еще ты можешь ужаснуть меня?

Но немного прошло времени, и уже почувствовалъ мудрецъ, что знаніе ужаснаго — не есть еще ужасное, и что видѣніе смерти — не есть еще смерть. И почувствовалъ онъ, что мудрость и глупость одинаково равны предъ лицомъ Безконечнаго, ибо не знаетъ ихъ Безконечное. И исчезла грань между вѣдѣніемъ и невѣдѣніемъ, между правдой и ложью, между верхомъ и низомъ, и въ пустотѣ повисла его безформенная мысль. Тогда схватилъ онъ себя за сѣдую голову и закричалъ изступленно:

— Я не могу думать! Я не могу думать!

Такъ погибало подъ равнодушнымъ взоромъ чудесно воскресшаго все, что служитъ къ утвержденію жизни, смысла и радостей ея. И стали говорить, что опасно пускать его къ императору, что лучше убить его и, скоро-

нивъ тайно, сказать, что скрылся онъ неизвѣстно куда. Уже мечи точились, и преданные благу народа юноши самоотверженно готовили себя въ убійцы, — когда Августъ потребовалъ, чтобы на утро явился къ нему Елеазаръ, и тѣмъ разстроилъ жестокіе планы.

Если нельзя было совсѣмъ устранить Елеазара, то желали хоть немного смягчить то тяжелое впечатлѣніе, какое производило лицо его. И съ этой цѣлью собрали искусныхъ художниковъ, цирюльниковъ и артистовъ, и всю ночь трудились надъ головою Елеазара. Подстригли бороду, завили ее и придали ей опрятный и красивый видъ. Непріятна была мертвецкая синева его рукъ и лица, и красками удалили ее: набѣлили руки и нарумянили щеки. Отвратительны были морщины страданій, которыя бороздили старое лицо, и ихъ замазали, закрасили, загладили совсѣмъ, а по чистому фону тонкими кисточками искусно провели морщинки добродушнаго смѣха и пріятной, беззлобной веселости.

Равнодушно подчинялся Елеазаръ всему, что дѣлали съ нимъ, и вскорѣ превратился въ естественно толстаго, красиваго старика, спокойнаго и добродушнаго дѣда многочисленныхъ внуковъ. Еще не сошла съ устъ его улыбка, съ какой разсказывалъ онъ смѣшныя сказки, еще таилась въ углу глазъ стариковская, тихая нѣжность — такимъ казался онъ. Но брачной одежды снять они не посмѣли, но глазъ его они измѣнить не могли — темныхъ и страшныхъ стеколъ, сквозь которыя смотрѣло на людей само непостижимое Тамъ.

VI.

Не тронуло Елеазара великолѣпіе императорскихъ чертоговъ. Какъ будто не видѣлъ онъ разницы между своимъ развалившимся домомъ, къ которому подошла пустыня, и каменнымъ, крѣпкимъ, красивымъ дворцомъ,— такъ равнодушно смотрѣлъ и не смотрѣлъ онъ проходя. И твердый мраморъ половъ подъ его ногами становился подобнымъ зыбучему песку пустыни, и множество прекрасно одѣтыхъ надменныхъ людей становилось подобно пустотѣ воздуха

подъ взорами его. Въ лицо его не глядѣли, когда онъ проходилъ, опасаясь подвергнуться страшному вліянію его глазъ; но когда по звуку тяжелыхъ шаговъ догадывались, что онъ миновалъ стоящихъ,—поднимали головы и съ боязливымъ любопытствомъ разсматривали фигуру тучнаго, высокаго, слегка согбеннаго старика, медленно углублявшагося въ самое сердце императорскаго дворца. Если бы сама смерть проходила, не болѣе пугались бы ея люди: ибо до сихъ поръ было такъ, что смерть зналъ только мертвый, а живой зналъ только жизнь — и не было моста между ними. А этотъ, необыкновенный, зналъ смерть, и было загадочно и страшно проклятое знаніе его. Убьетъ онъ нашего великаго, божественнаго Августа — думали со страхомъ люди и посылали безсильныя проклятія вслѣдъ Елеазару, медленно и равнодушно входившему все дальше и дальше, все глубже и глубже.

Уже зналъ и цезарь о томъ, кто такой Елеазаръ, и приготовился къ встрѣчѣ. Но былъ онъ мужественный человѣкъ, чувствовалъ огромную, непобѣдимую силу свою и въ роковомъ поединкѣ съ чудесно воскресшимъ не пожелалъ опереться на слабую помощь людей. Одинъ на одинъ, лицомъ къ лицу сошелся онъ съ Елеазаромъ.

— Не поднимай на меня взоровъ твоихъ, Елеазаръ, — приказалъ онъ вошедшему. — Слыхалъ я, что голова твоя подобна головѣ Медузы и превращаетъ въ камень каждаго, на кого ты взглянешь. А я хочу разсмотрѣть тебя и поговорить съ тобою, прежде чѣмъ превращусь въ камень, — добавилъ онъ съ царственной шутливостью, не лишенной страха.

Подойдя близко, онъ внимательно разсмотрѣлъ лицо Елеазара и его странную праздничную одежду. И былъ обманутъ искусной поддѣлкой, хотя взоръ имѣлъ острый и зоркій.

— Такъ. На видъ ты не страшенъ, почтенный старичекъ. Но тѣмъ хуже для людей, когда страшное принимаетъ такой почтенный и пріятный видъ. Теперь поговоримъ.

Августъ сѣлъ и, допрашивая взоромъ столько же, какъ и словами, началъ бесѣду:

— Почему ты не привѣтствовалъ меня, когда входилъ?

Елеазаръ равнодушно отвѣтилъ:

— Я не зналъ, что это нужно.

— Ты христіанинъ?

— Нѣтъ.

Августъ одобрительно кивнулъ головой.

— Это хорошо. Я не люблю христіанъ. Они трясутъ древо жизни, не давъ ему покрыться плодами, и по вѣтру разсѣеваютъ его благоуханный цвѣтъ. Но кто же ты?

Съ нѣкоторымъ усиліемъ Елеазаръ отвѣтилъ:

— Я былъ мертвымъ.

— Я слыхалъ объ этомъ. Но кто же ты теперь?

Елеазаръ медлилъ отвѣтомъ и, наконецъ, повторилъ равнодушно и тускло:

— Я былъ мертвымъ.

— Послушай меня, невѣдомый, — сказалъ императоръ, раздѣльно и строго говоря то, о чемъ уже думалъ онъ раньше;—мое царство—царство живыхъ, мой народъ—народъ живыхъ, а не мертвыхъ. И ты лишній здѣсь. Я не знаю, кто ты, я не знаю, что ты видѣлъ тамъ — но если ты лжешь, я ненавижу ложь твою, но если ты говоришь правду—я ненавижу твою правду. Въ моей груди я чувствую трепетъ жизни; въ моихъ рукахъ я чувствую мощь— и гордыя мысли мои, какъ орлы, облетаютъ пространство. А тамъ, за моей спиною, подъ охраною моей власти, подъ сѣнью мною созданныхъ законовъ живутъ, и трудятся, и радуются люди. Ты слышишь эту дивную гармонію жизни? Ты слышишь этотъ воинственный кличъ, который бросаютъ люди въ лицо грядущему, зовя его на бой?

Августъ молитвенно простеръ руки и торжественно воскликнулъ:

— Будь благословенна великая, божественная жизнь!

Но Елеазаръ молчалъ, и съ увеличенной строгостью продолжалъ императоръ:

— Ты лишній здѣсь. Ты, жалкій остатокъ, недоѣденный смертью, внушаешь людямъ тоску и отвращеніе къ

жизни; ты, какъ гусеница на поляхъ, объѣдаешь тучный колосъ радости и низвергаешь слизь отчаянія и скорби. Твоя правда подобна ржавому мечу въ рукахъ ночного убійцы, — и какъ убійцу я предамъ тебя казни. Но раньше я хочу взглянуть въ твои глаза. Быть можетъ, только трусы боятся ихъ, а въ храбромъ они будятъ жажду борьбы и побѣды — тогда не казни, а награды достоинъ ты... Взгляни же на меня, Елеазаръ.

И въ первое мгновеніе показалось божественному Августу, что другъ смотритъ на него — такъ мягокъ, такъ нѣжно-чарующъ былъ взоръ Елеазара. Не ужасъ, а тихій покой обѣщалъ онъ, и нѣжной любовницей, сострадательной сестрою, — матерью казалось Безконечное. Но все крѣпче становились нѣжныя объятія его, и уже дыханіе перехватывалъ алчный до поцѣлуевъ ротъ, и уже сквозь мягкую ткань тѣла проступало желѣзо костей, сомкнувшихся желѣзнымъ кругомъ, — и чьи-то тупыя, холодныя когти коснулись сердца и вяло погрузились въ него.

— Мнѣ больно — сказалъ божественный Августъ, блѣднѣя. — Но смотри, Елеазаръ, смотри!

Точно медленно расходились какія-то тяжелыя, изъ вѣка закрытыя врата, и въ растущую щель холодно и спокойно вливался грозный ужасъ Безконечнаго. Вотъ двумя тѣнями вошли необъятная пустота и необъятный мракъ и погасили солнце, у ногъ отняли землю и кровлю отняли у головы. И перестало болѣть леденѣющее сердце.

— Смотри, смотри, Елеазаръ! — приказалъ Августъ, шатаясь.

Остановилось время, и страшно сблизилось начало всякой вещи съ концомъ ея. Только что воздвигнутый, уже разрушился тронъ Августа, и пустотта уже была на мѣстѣ трона и Августа. Безшумно разрушился Римъ, и новый городъ всталъ на мѣстѣ его, и былъ поглощенъ пустотою. Какъ призрачные великаны, быстро падали и исчезали въ пустотѣ города, государства и страны, и равнодушно глотала ихъ, не насыщаясь, черная утроба Безконечнаго.

— Остановись—приказалъ императоръ. Уже равнодушіе звучало въ голосѣ его, и безсильно обвисали руки, и въ

тщетной борьбѣ съ надвигающимся мракомъ загорались и гасли его орлиные глаза.

— Убилъ ты меня, Елеазаръ — сказалъ онъ тускло и вяло.

И эти слова безнадежности спасли его. Онъ вспомнилъ о народѣ, щитомъ котораго онъ призванъ быть, и острой, спасительной болью пронизалось его омертвѣвшее сердце. Обреченные на гибель — съ тоскою подумалъ онъ; свѣтлыя тѣни во мракѣ Безконечнаго — съ ужасомъ подумалъ онъ; хрупкіе сосуды съ живою, волнующейся кровью, съ сердцемъ, знающимъ скорбь и великую радость — съ нѣжностью подумалъ онъ.

И такъ размышляя и чувствуя, склоняя вѣсы то на сторону жизни, то на сторону смерти, онъ медленно вернулся къ жизни, чтобъ въ страданіяхъ и радости ея найти защиту противъ мрака пустоты и ужаса Безконечнаго.

— Нѣтъ, не убилъ ты меня, Елеазаръ, — сказалъ онъ твердо, — но я убью тебя. Ступай!

Въ тотъ вечеръ съ особенной радостью вкушалъ пищу и питіе божественный Августъ. Но минутами застывала въ воздухѣ поднятая рука, и тусклый блескъ замѣнялъ яркое сіяніе его орлиныхъ глазъ — то ужасъ ледяной волною пробѣгалъ у ногъ его. Побѣжденный, но не убитый, холодно ожидающій своего часа, онъ черною тѣнью на всю жизнь всталъ у изголовья его, владѣя ночами и послушно уступая свѣтлые дни скорбямъ и радостямъ жизни.

На другой день, по приказу императора, каленымъ желѣзомъ выжгли Елеазару глаза и на родину отправили его. Умертвить его не рѣшился божественный Августъ.

Вернулся Елеазаръ въ пустыню, и приняла его пустыня свистящимъ дыханіемъ вѣтра и зноемъ раскаленнаго солнца. Снова сидѣлъ онъ на камнѣ, поднявъ кверху лохматую, дикую бороду, и двѣ черныя ямы на мѣстѣ выжженныхъ глазъ тупо и страшно смотрѣли на небо. Вдали безпокойно шумѣлъ и двигался святой городъ, а вблизи было безлюдно и нѣмо: никто не приближался къ мѣсту, гдѣ дожи-

валъ дни свои чудесно воскресшій, и уже сосѣди давно покинули дома свои. Загнанное каленымъ желѣзомъ въ глубину черепа, проклятое знаніе его таилось тамъ точно въ засадѣ; точно изъ засады впивалось оно тысячей невидимыхъ глазъ въ человѣка, — и уже никто не смѣлъ взглянуть на Елеазара.

А вечеромъ, когда, краснѣя и ширясь, солнце клонилось къ закату, за нимъ медленно двигался слѣпой Елеазаръ. Натыкался на камни и падалъ, тучный и слабый, тяжело поднимался и снова шелъ; и на красномъ пологѣ зари его черное туловище и распростертыя руки давали чудовищное подобіе креста.

Случилось, пошелъ онъ однажды и больше не вернулся. Такъ видимо закончилась вторая жизнь Елеазара, три дня пробывшаго подъ загадочной властію смерти и чудесно воскресшаго.

М. АРЦЫБАШЕВЪ

ПОДПРАПОРЩИКЪ ГОЛОЛОБОВЪ

И псу живому лучше, чѣмъ
мертвому льву.
Екклесіастъ, 9, 4.

I

Молодой докторъ Владиміръ Ивановичъ Солодовниковъ вышелъ пройтись по бульвару, что дѣлалъ каждый день, если въ это время, т. е. около семи часовъ вечера, не былъ занятъ у больныхъ. На бульварѣ онъ всегда встрѣчалъ кого-нибудь изъ своихъ знакомыхъ и, пройдя съ ними весь бульваръ изъ конца въ конецъ, шелъ въ клубъ читать газеты и играть на билліардѣ.

Но на этотъ разъ погода была дурная: небо съ утра затянулось сплошными сѣрыми тучами; было вѣтрено и сыро, а потому на бульварѣ не было никого, кромѣ неподвижнаго постового городового.

Пройдя до конца бульвара, Солодовниковъ повернулъ назадъ и рѣшилъ идти прямо въ клубъ.

На встрѣчу ему шелъ человѣкъ, и Владиміръ Ивановичъ узналъ въ немъ своего знакомаго пѣхотнаго подпрапорщика Гололобова. Подпрапорщикъ шелъ, какъ всегда, щеголеватою быстрою походкою, бодро выступая лакированными сапогами, высоко поднявъ сильно подложенныя ватой плечи и грудь и мужественно шагая по лужамъ.

— Здравствуйте, воинъ, — сказалъ Владиміръ Ивановичъ, поравнявшись съ подпрапорщикомъ.

Гололобовъ вѣжливо поклонился, дотронувшись пальцами до своей маленькой фуражки.

— Вы куда же стремитесь? — спросилъ Владиміръ Ивановичъ только для того, чтобы не молчать.

— Домой, — такъ же вѣжливо отвѣтилъ подпрапорщикъ.

— А... — сказалъ Владиміръ Ивановичъ.

Подпрапорщикъ Гололобовъ стоялъ противъ него и учтиво ждалъ. Владиміръ Ивановичъ рѣшительно не зналъ, что ему сказать. Онъ зналъ подпрапорщика очень мало, встрѣчался съ нимъ рѣдко, а когда и встрѣчался, то не говорилъ ни слова, кромѣ «здравствуйте» и «прощайте». Несмотря на это, онъ почему-то считалъ подпрапорщика глупымъ и не развитымъ, и въ другое время, будь на бульварѣ кто-либо другой изъ знакомыхъ, Владиміръ Ивановичъ не обратилъ бы на подпрапорщика никакого вниманія.

— Ну, путь добрый!—ласково-пренебрежительно, какъ говорятъ съ людьми несравненно ниже стоящими, когда изъ чувства собственнаго достоинства не хотятъ показать имъ свое настоящее къ нимъ отношеніе, сказалъ Владиміръ Ивановичъ и подалъ подпрапорщику руку.

Гололобовъ пожалъ протянутую ладонь, опять дотронулся до козырька своей фуражки и пошелъ дальше, все такъ же щеголевато выступая лакированными сапогами.

Владиміръ Ивановичъ пошелъ въ клубъ, сыгралъ три партіи на биллiардѣ, при чемъ изъ трехъ выигранныхъ бутылокъ пива выпилъ больше половины; прошелъ въ библіотеку, гдѣ съ одинаковымъ вниманіемъ и интересомъ прочелъ объ газеты, одну либеральную, другую консервативную; поболталъ съ двумя знакомыми дамами и тремя чиновниками, которыхъ считалъ глупыми, смѣшными и отсталыми, именно потому, что они были чиновниками; потомъ закусилъ у буфета и выпилъ четыре рюмки водки. Отъ всего этого ему стало скучно, и около десяти часовъ вечера онъ пошелъ домой.

Вѣтеръ упалъ, но зато съ неба моросилъ мелкій, холодный и частый дождь. Лужи расплылись, и уже нельзя

было ихъ обходить. Приподнявъ плечи и воротникъ, аккуратно подвернувъ концы брюкъ, Владиміръ Ивановичъ быстро пошелъ по бульвару и скоро повернулъ въ улицу, на которой жилъ.

Въ третьемъ домѣ отъ угла, за подъѣздомъ булочной, ярко освѣщенное окно бросало въ темноту полосу неподвижнаго свѣта, въ которой мелькали капли дождя. Владиміръ Ивановичъ машинально припомнилъ, что именно въ этомъ домѣ живетъ встрѣтившійся ему сегодня подпрапорщикъ Гололобовъ.

Поравнявшись съ окномъ, Владиміръ Иванвичъ заглянулъ въ него и увидѣлъ самого подпрапорщика, который совершенно неподвижно сидѣлъ прямо противъ окна, опустивъ голову. Владиміру Ивановичу отъ скуки и отъ того, что такъ недавно онъ видѣлся и даже говорилъ съ подпрапорщикомъ, пришла фантазія попугать его, и онъ стукнулъ въ окно концомъ своей палки.

Подпрапорщикъ Гололобовъ быстро поднялъ голову. Лампа освѣщала его прямо въ лицо и очень ярко. Владиміръ Ивановичъ только теперь, какъ слѣдуетъ, разсмотрѣлъ его. Очевидно, подпрапорщикъ былъ еще очень молодъ, почти мальчикъ, ни усовъ, ни бороды у него не было. Одутловатое книзу, сплошь покрытое угрями, его лицо съ маленькими свѣтлыми глазами, съ желтыми бровями, бѣлыми рѣсницами и коротко остриженными сѣрыми волосами, было совсѣмъ безцвѣтное и какое-то незначительное.

Гололобовъ увидалъ Владиміра Ивановича, узналъ его и всталъ. Владиміръ Ивановичъ, довольный тѣмъ, что, какъ ему показалось, испугалъ подпрапорщика, хотѣлъ кивнуть ему головой, улыбнуться и уйти, но Гололобовъ вдругъ самъ кивнулъ головой, любезно улыбнулся и быстро ушелъ вглубь комнаты какъ будто къ двери.

«Что онъ... позвать меня къ себѣ хочетъ, что ли?...» съ недоумѣніемъ подумалъ Владиміръ Ивановичъ и замялся на мѣстѣ, не зная, идти ли ему дальше или подождать.

Съ подъѣзда булочной послышался стукъ отворяемой двери, и изъ ея чернаго четырехугольника голосъ Гололобова сказалъ:

— Это вы, докторъ?

Владиміръ Ивановичъ, все еще не зная, что ему дѣлать, нерѣшительно подошелъ къ двери. Гололобовъ въ темнотѣ пожалъ ему руку и отступилъ внутрь сѣней, давая дорогу. Влидиміръ Ивановичъ послѣдовалъ за нимъ.

— Прямо, прямо, докторъ, — сказалъ Гололобовъ въ темноте, и слышно было, какъ онъ запиралъ входную дверь на засовъ.

«Вотъ тебѣ и разъ! Нежданно-негаданно попалъ въ гости» — весело подумалъ Владиміръ Ивановичъ, путаясь впотьмахъ, среди какихъ-то кадушекъ и ларей.

Въ сѣняхъ крѣпко пахло печенымъ хлѣбомъ и кислыми дрожжами, и воздухъ былъ теплый, парной.

Подпрапорщикъ прошелъ впередъ и отворилъ дверь въ освѣщенную комнату. Владиміръ Ивановичъ, улыбаясь неожиданному приключенію, перешагнулъ порогъ.

Оказалось, что подпрапорщикъ Гололобовъ занимаетъ всего одну, небольшую и мало обставленную неуклюжей старой мебелью комнату.

Владиміръ Ивановичъ снялъ пальто, повѣсилъ его на вѣшалку, которую изображалъ рядъ гвоздей, аккуратно вбитыхъ въ стѣну поверхъ газетнаго листа, снялъ галоши, фуражку и поставилъ палку въ уголъ.

— Садитесь, пожалуйста,—указывая на стулъ, предложилъ ему Гололобовъ.

Владиміръ Ивановичъ сѣлъ и оглядѣлся.

Въ комнатѣ горѣла очень плохая лампа, и оттого въ ней было темно и сумрачно. Кромѣ стола, аккуратно прибранной кровати и шести стульевъ, разставленныхъ по стѣнамъ безъ всякой симметріи, Владиміру Ивановичу бросился въ глаза уголъ, увѣшанный множествомъ большихъ и маленькихъ старинныхъ, темныхъ образовъ въ мѣдныхъ ризахъ, и передъ ними зеленая лампадка, съ подвѣшѣннымъ къ ней пасхальнымъ, раскрашеннымъ яйцомъ.

«Вишь-ты богомольный какой»! — подумалъ Владиміръ Ивановичъ и почувствовалъ презрѣніе къ подпрапорщику. Ему почему-то казалась некрасиво-несовмѣстимой богомоль-

ность, лампадка и особенно пасхальное яйцо съ подпрапорщицкимъ званіемъ и молодостью.

На чистенько застланномъ скатертью столѣ стоялъ потухшій самоваръ, лежали чайныя ложечки, щипчики для сахара, стояла вазочка съ вареньемъ. Кровать была покрыта одѣяломъ, а подушки бѣлой накидкой съ прошивками. Все было удивительно чисто и аккуратно, но комната оттого казалась только еще болѣе холодною и неуютною.

— Хотите чаю? — спросилъ подпрапорщикъ.

Владиміръ Ивановичъ вовсе не хотѣлъ чаю и чуть было не отказался, но подумалъ, что тогда уже окончательно нечего будетъ дѣлать, и согласился.

— Пожалуй.

Гололобовъ старательно вымылъ и вытеръ стаканъ и блюдечко и налилъ чаю.

— Извините, пожалуйста, что чай не крѣпкій, — сказалъ онъ, подвигая къ Владиміру Ивановичу вазочку съ вареньемъ.

— Ничего,— возразилъ Владиміръ Ивановичъ, думая: — «на кой чортъ онъ меня къ себѣ зазвалъ?»

Подпрапорщикъ сидѣлъ у стола, поджавъ ноги подъ стулъ, и машинально размѣшивалъ ложечкой чай въ своемъ стаканѣ. Владиміръ Ивановичъ тоже помѣшивалъ свой чай, и оба молчали.

И тутъ только Владиміръ Ивановичъ испуганно догадался, что вышло недоразумѣніе: его стукъ въ окно подпрапорщикъ Гололобовъ, очевидно, принялъ за желаніе войти и теперь самъ недоумѣвалъ. Владиміръ Ивановичъ почувствовалъ себя очень неловко и покраснѣлъ. Положеніе казалось ему глупымъ и по его винѣ, а Владиміръ Ивановичъ, какъ всѣ здоровые и самодовольные люди, терпѣть не могъ видѣть себя въ глупомъ положеніи.

— Погода скверная, — невольно краснѣя своему началу, проговорилъ Владиміръ Ивановичъ.

— Да, погода теперь. дѣйствительно, очень дурная, поспѣшно согласился Гололобовъ и замолчалъ.

«Какъ онъ странно... подробно какъ-то говоритъ!»—подумалъ Владиміръ Ивановичъ.

Неловкость его быстро прошла, потому что онъ, какъ всякій докторъ, привыкъ говорить съ различными, часто совершенно ему незнакомыми людьми. Кромѣ того, онъ, какъ и чиновниковъ, всѣхъ военныхъ считалъ глупыми и не находилъ нужнымъ стѣсняться съ ними.

— О чемъ вы тутъ мечтали?—опять впадая въ привычный снисходительно-презрительный тонъ, заговорилъ онъ.

Владиміръ Ивановичъ былъ увѣренъ, что хозяинъ такъ же вѣжливо и черезчуръ подробно отвѣтитъ:

— Я тутъ ни о чемъ не мечталъ...

Но вмѣсто того подпрапорщикъ Гололобовъ, не подымая головы, отвѣтилъ:

— Я думалъ о смерти.

Владиміръ Ивановичъ чуть не прыснулъ со смѣху, до того несовмѣстимой съ бѣлобрысою физіономіей подпрапорщика показалась ему такая глубокая и значительная мысль. Онъ удивился и засмѣялся.

— Во-отъ какъ! Что же это вамъ пришли въ голову такія мрачныя мысли?

— Каждый человѣкъ обязанъ думать о своей смерти.

— И каяться въ своихъ прегрѣшеніяхъ вольныхъ и невольныхъ! — пошутилъ Владиміръ Ивановичъ.

— Нѣтъ. Просто думать о своей смерти, — совершенно спокойно и вѣжливо отвѣтилъ Гололобовъ.

— Почему такъ ужъ обязанъ?—кладя локоть на столъ и закладывая ногу на ногу, насмѣшливо спросилъ Владиміръ Ивановичъ, каждую минуту съ удовольствіемъ ожидая, что подпрапорщикъ «сморозитъ» какую-нибудь глупость, что казалось ему обязательнымъ для подпрапорщика.

— Потому что каждый человѣкъ долженъ умереть, — отвѣтилъ тѣмъ же тономъ Гололобовъ.

— Да... ну, это еще недостаточная причина!—возразилъ Владиміръ Ивановичъ и подумалъ: «онъ, должно быть, не русскій, потому что ужъ очень правильно выражается...»

И ему вдругъ почему-то стало непріятно сидѣть здѣсь, противъ безцвѣтнаго вѣжливаго подпрапорщика, и захотѣлось уйти.

— А я думаю, что причина эта—совершенно достаточна, — сказалъ Гололобовъ.

— Не будемъ спорить! — насмѣшливо согласился Владиміръ Ивановичъ, и ему стало непріятно еще и то, что считающійся имъ за глупаго и ограниченнаго человѣка подпрапорщикъ Гололобовъ думалъ и говорилъ о такой серьезной, глубокой и страшной вещи, какъ смерть.

— Спорить не надо, а надо готовиться, — сказалъ Гололобовъ.

— Что? — высоко поднялъ брови Владиміръ Ивановичъ и разсмѣялся, потому что эта послѣдняя фраза подпрапорщика показалась ему именно тою глупостью, которую онъ отъ него ожидалъ.

— Да на кой же чортъ вамъ о ней думать? — уже окончательно небрежно и готовясь встать возразилъ Владиміръ Ивановичъ.

Гололобовъ поднялъ голову, посмотрѣлъ на него и, какъ бы удивляясь, сказалъ:

— Но вѣдь я уже говорилъ, что каждый человѣкъ обязанъ думать о своей смерти.

«Да онъ идіотъ, что ли?» — съ внезапнымъ раздраженіемъ подумалъ Владиміръ Ивановичъ.

— Это почему же? — спросилъ онъ почти сквозь зубы.

— Я уже на этотъ вопросъ отвѣтилъ вамъ,—замѣтилъ подпрапорщикъ.

— Чортъ знаетъ, что вы мнѣ отвѣтили!—съ грубостью самоувѣреннаго человѣка, котораго раздражаетъ непривычное сопротивленіе, и самъ удивляясь своей грубости, возразилъ Владиміръ Ивановичъ. — Будто оттого, что я каждый день непремѣнно долженъ пить и ѣсть, и спать, или оттого, что я непремѣнно состарѣюсь въ свое время и пріобрѣту морщины, лысину и прочее, такъ я и долженъ постоянно думать о ѣдѣ, спаньѣ, лысинѣ и тому подобныхъ глупостяхъ!

— Нѣтъ, — медленно и грустно покачалъ головой подпрапорщикъ. — Вы сами сказали, что все это глупости, а о глупостяхъ думать не надо. Но смерть не глупость.

— Да мало ли о чемъ мы и очень умномъ никогда не думаемъ... Да и что такое смерть? Придетъ смерть—помирать будемъ. Я, напримѣръ, отношусь къ этой непріятности совершенно равнодушно.

— Этого не можетъ бытъ, — качнулъ головой Гололобовъ. — Никто не можетъ относиться равнодушно къ такой ужасной вещи, какъ смерть.

—А вотъ я отношусь!—пожалъ плечами Владиміръ Ивановичъ.

Это означаетъ только то, что вы еще не сознаете своего положенія.

«Ишь ты! Скажите! Ахъ, ты, болванъ гололобый!» — густо краснѣя, подумалъ Владиміръ Ивановичъ.

Хотя онъ зналъ, что каждый человѣкъ считаетъ себя если не умнѣе, то не глупѣе другихъ, но здоровая самоувѣренность его была такъ велика, что, говоря съ человѣкомъ глупѣе себя, а таковыми считалъ онъ всѣхъ, съ кѣмъ говорилъ, онъ безсознательно воображалъ, что всякій сознаетъ его умственное превосходство надъ собою. И теперь, когда изъ словъ и тона Гололобова онъ понялъ, что тотъ не только не признаетъ его превосходства, но даже, напротивъ, убѣжденъ въ своемъ, Владиміръ Ивановичъ почувствовалъ что-то близкое къ оскорбленію. Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ явилось жгучее и досадное желаніе во что бы то ни стало доказать, что онъ — неизмѣримо выше, а подпрапорщикъ прямо дуракъ. Въ эту минуту онъ безсознательно ненавидѣлъ подпрапорщика.

— Почему же я не сознаю? Это интересно, — криво усмѣхнулся онъ, силясь выразить на своемъ лицѣ крайнюю степень презрѣнія, на какую только былъ способенъ.

Но подпрапорщикъ не подымалъ головы и не видѣлъ этого выраженія.

— Почему? Я не знаю, - тихо отвѣтилъ онъ, какъ бы даже извиняясь за то, что не можетъ удовлетворить законнаго желанія собесѣдника.

— А вы сознаете? — еще болѣе краснѣя, спросилъ Владиміръ Ивановичъ.

— Да.

— Это инте-ре-сно...

— Положеніе каждаго человѣка есть положеніе приговореннаго къ смертной казни.

Владиміръ Ивановичъ вполнѣ искренно подумалъ, что подпрапорщикъ высказалъ избитую, давно извѣстную ему, Владиміру Ивановичу, мысль. И отъ этого онъ сразу успокоился и опять почувствовалъ себя неизмѣримо выше подпрапорщика, за новость считающаго то, что ему кажется азбукой.

— Стара штука! — сказалъ онъ и, вынувъ портсигаръ, хотѣлъ закурить и уйти.

— Отъ этого она не перестаетъ быть правдой. Избитыя мысли почти всегда бываютъ самыми правдивыми мыслями, — спокойно возразилъ подпрапорщикъ Гололобовъ и подвинулъ Владиміру Ивановичу спички.

— Что? — переспросилъ Владиміръ Ивановичъ, потому что не могъ сразу уяснить себѣ: умное или глупое сказалъ подпрапорщикъ.

— Я не знаю, почему я обязанъ говорить только новыя, неизбитыя вещи, — поднявъ глаза, сказалъ подпрапорщикъ Гололобовъ. — Я думаю, что я долженъ говорить только правдивыя мысли...

— Гм... да... — сказалъ Владиміръ Ивановичъ, невольно думая о томъ, можно ли въ данномъ случаѣ сказать «правдивыя» мысли.

— Конечно, это такъ, — согласился онъ, не рѣшивъ своего вопроса. — Но къ этому уже давно пора привыкнуть, — докончилъ онъ, неувѣренно чувствуя, что говоритъ не то, что надо, и сердясь за это не на себя, а на подпрапорщика.

— Я думаю, что это плохое утѣшеніе для всякаго приговореннаго къ смертной казни. И навѣрное онъ ни о чемъ не думаетъ, кромѣ какъ о казни.

И съ страннымъ для его неподвижнаго лица выраженіемъ интереса Гололобовъ прибавилъ:

— А вы развѣ думаете, что это не такъ?

Это выраженіе интереса польстило Владиміру Ивановичу. Онъ подумалъ, выпустилъ дымъ изо рта и, закинувъ голову, сказалъ:

— Нѣтъ, я думаю, что это такъ, конечно. Но вѣдь смертная казнь, во-первыхъ, насиліе... грубое и противоестественное, а во-вторыхъ, стоитъ ближе къ человѣку....

— Нѣтъ, и смерть—неестественное явленіе и насиліе,— сейчасъ же, какъ будто онъ только что обдумывалъ этотъ вопросъ, возразилъ подпрапорщикъ.

— Ну, это только красивая фраза и больше ничего!— добродушно-насмѣшливо воскликнулъ Владиміръ Ивановичъ.

— Нѣтъ. Я не хочу умирать, но умру. Во мнѣ есть желаніе жить, и весь я приспособленъ къ жизни, а все-таки я умру. Это и насиліе, и противоестественно. Это было бы красивою фразой, если бы въ дѣйствительности было не такъ... Но оно такъ, а потому это уже не фраза, а фактъ.

Гололобовъ выговорилъ это серьезно и медленно.

— Но это законъ природы! — пожалъ плечами Владиміръ Ивановичъ и почувствовалъ, что у него начинаетъ болѣть голова, и что воздухъ въ комнатѣ очень тяжелъ.

— И смертная казнь есть законъ. А отъ кого исходитъ этотъ законъ — все равно... отъ природы или иной власти. И тѣмъ тяжелѣе, что со всякою иною властью бороться можно, а съ природой и бороться нельзя.

— Ну, да, — съ досадой согласился Владиміръ Ивановичъ. — Но часъ смерти намъ неизвѣстенъ!

— Это правда, — согласился Гололобовъ. — Но зато осужденный на казнь до самой послѣдней минуты, вѣроятно, надѣется на прощеніе, на случай, на чудо. Но никто не надѣется жить вѣчно.

— Но зато всѣ надѣятся жить долго.

— На это нельзя надѣяться. И не долго, потому что жизнь человѣка очень маленькая, а любовь къ жизни у человѣка очень велика.

— У всякаго ли?—съ усмѣшкой спросилъ Владиміръ Ивановичъ, и ему самому было странно, что онъ усмѣхается, когда нѣтъ ничего смѣшного.

— У всякаго. У однихъ сознательно, у другихъ безсознательно. Жизнь человѣка это онъ самъ, а себя самого всякій человѣкъ любитъ больше всего и всегда.

— Ну, такъ что жъ изъ этого?..

— Я не понимаю васъ,—сказалъ Гололобовъ.—О чемъ вы меня спрашиваете?

Владиміръ Ивановичъ вдругъ почувствовалъ, что отъ этого неожиданнаго вопроса подпрапорщика онъ забылъ, что хотѣлъ сказать. Нѣсколько времени онъ тупо и покраснѣвъ смотрѣлъ на подпрапорщика и мучительно старался поймать ускользнувшую мысль; но вмѣсто того онъ подумалъ, что Гололобовъ, должно быть, считаетъ его дуракомъ и издѣвается надъ нимъ. Эта мысль была для него положительно ужасна. Онъ сначала поблѣднѣлъ, а потомъ побагровѣлъ,такъ что даже его толстая и чистая шея налилась кровью. А потомъ мысль эта нашла исходъ въ грубомъ и зломъ взрывѣ: ему неудержимо захотѣлось крикнуть подпрапорщику что-нибудь грубое, отчаянно оскорбительное... нагнуться къ самому его тусклому, прыщеватому лицу и крикнуть.

— Ну, да, къ чему вы всю эту чушь нагородили?—визгливо почти крикнулъ онъ, мучительно сдерживаясь, чтобы не сказать еще большой грубости.

Гололобовъ быстро всталъ, вытянувшись во фронтъ, но прежде чѣмъ Владиміръ Ивановичъ успѣлъ что-либо подумать, опять сѣлъ и сказалъ довольно тихо, но отчетливо:

— Къ тому, что таковы мои чувства и убѣжденія, и я намѣренъ лишить себя жизни.

Владиміръ Ивановичъ широко раскрылъ глаза, пошевелилъ губами и уставился на подпрапорщика. Подпрапорщикъ сидѣлъ передъ нимъ по прежнему неподвижно и въ прежней позѣ, помѣшивая ложечкой въ стаканѣ. Владиміръ Ивановичъ смотрѣлъ на него и, чѣмъ больше смотрѣлъ, тѣмъ въ головѣ его что-то становилось все яснѣе и яснѣе. Какая-то мысль вертѣлась у него въ мозгу. Онъ сдѣлалъ усиліе, и вдругъ все стало ясно. И, не довѣряя себѣ и почти

еще считая свою мысль невѣроятною, Владиміръ Ивановичъ спросилъ:

— А скажите, Гололобовъ, вы, часомъ, не сумасшедшій?

Гололобовъ потупилъ глаза и пошевелилъ своими узкими вздернутыми плечами.

— Я самъ такъ думалъ сначала.

— А теперь?

— А теперь думаю, что я вовсе не сумасшедшій, и что въ томъ намѣреніи лишить себя жизни, которое я имѣю, нѣтъ ничего абсурднаго.

— По вашему самоубійство безъ всякаго повода...

— У меня есть поводъ,—перебилъ его Гололобовъ.

— Какой?—съ любопытствомъ спросилъ Владиміръ Ивановичъ.

— Я уже сказалъ вамъ,—удивленно отвѣтилъ подпрапорщикъ.

Онъ помолчалъ, а потомъ заговорилъ вѣжливо, но, видимо, съ усиліемъ;

— Я сказалъ, что жизнь человѣка нахожу жизнью приговореннаго къ смертной казни. И не желая и не будучи даже въ силахъ дожидаться... я хочу самъ...

— Никакого смысла,—сбивчиво возразилъ Владиміръ Ивановичъ,—совершить насиліе... ради... избавленія отъ насилія...

— Не ради избавленія,—избавиться нельзя, а ради прекращенія жизни приговореннаго къ смерти... Лучше ужъ скорѣе.

Владиміръ Ивановичъ почувствовалъ, какъ что-то холодное и непріятное пробѣжало у него по спинѣ и отозвалось въ колѣняхъ.

— Не все ли равно!—сказалъ онъ.

Гололобовъ молчалъ.

— Послушайте,—заговорилъ Владиміръ Ивановичъ (ему казалось, что очень не трудно разубѣдить подпрапорщика въ справедливости его странныхъ убѣжденій),—развѣ вы не понимаете, что это будетъ насиліемъ надъ самимъ собою...

— Нѣтъ, это будетъ насиліемъ моего духа надъ природой...это прежде всего... а потомъ—да...

— Но развѣ вашъ духъ не то же созданіе природы, что и ваше тѣло, и...

Вдругъ Гололобовъ улыбнулся. Въ первый разъ Владиміръ Ивановичъ видѣлъ его улыбающимся, и улыбка эта его поразила: большой ротъ подпрапорщика растянулся чуть не до ушей, глазки съузились, и все лицо его расплылось въ безсмысленную гримасу добродушнаго пьянаго.

— Я это очень хорошо знаю,—отвѣтилъ онъ:—и то и другое—созданія природы, но не одинаково важныя для меня. Духъ мой есть именно я, а тѣло—только случайное помѣщеніе, не больше.

— Но если ударитъ кто по вашему тѣлу, вамъ будетъ больно?

— Да.

— Значитъ...

— Если бы тѣло мое было именно я, то я бы остался жить,—перебилъ его Гололобовъ.—Смерть не была бы тогда приговоромъ къ казни: вѣдь и послѣ смерти мое тѣло останется. Тѣло есть вѣчно.

Владиміръ Ивановичъ не могъ не улыбнуться.

— Самый оригинальный парадоксъ, который я когда-либо слышалъ.

— Нѣтъ, въ немъ ничего нѣтъ ни оригинальнаго ни парадоксальнаго. Это—фактъ: тѣло есть вѣчно. Я умру, тѣло распадется на атомы, атомы сложатся въ какую-нибудь иную форму, но сами не измѣнятся, и ни одинъ не исчезнетъ. Сколько было въ мірѣ атомовъ, когда было мое тѣло, столько ихъ будетъ и тогда, когда я умру. Можно даже допустить, что комбинація когда-нибудь повторится, и будетъ та же форма. Это пустяки... Духъ умретъ.

Владиміръ Ивановичъ развелъ руками. Онъ уже не считалъ подпрапорщика сумасшедшимъ и вообще не могъ отдать себѣ отчета, имѣетъ ли даже смыслъ то, что онъ, подпрапорщикъ, говоритъ, но въ душѣ у него было тяжело, и какой-то грозный внутренній, еще непонятный смыслъ всего того, что съ нимъ случилось, шевелился во всемъ: и

въ словахъ подпрапорщика, и въ тяжеломъ свѣтѣ лампы, и въ немъ самомъ, и въ безтолковой пустой комнатѣ.

— А, можетъ, и нѣтъ,—все-таки возразилъ онъ:—развѣ вы знаете, что загробной жизни нѣтъ?

— Я этого не могу знать,—отвѣтилъ Гололобовъ и качнулъ головой.—Но это все равно.

— Какъ все равно?

— Все равно: если нѣтъ, то духъ мой исчезнетъ, а если есть, какая бы то ни было, то все-таки мой духъ исчезнетъ,—ударяя на словѣ «мой», подтвердилъ подпрапорщикъ. Я исчезну. Будетъ ли потомъ духъ мой святымъ въ раю или грѣшникомъ въ аду или переселится въ другое существо,—я, именно я, мои пороки, привычки, смѣшныя и прекрасныя особенности, мои сомнѣнія, мой умъ, моя глупость, мой опытъ и мое незнаніе, все то, что было именно подпрапорщикомъ пѣхотнаго полка, человѣкомъ Гололобовымъ, все исчезнетъ. Будетъ что угодно, но не Гололобовъ.

Владиміръ Ивановичъ чувствовалъ себя и физически скверно: ноги дрожали, и голова болѣла, и ему было грустно, досадно, тяжело, страшно и пусто.

«Ну его къ чорту!» подумалъ онъ. «Это сумасшедшій, съ нимъ и самъ съ ума спятишь!»

— Прощайте!—отрывисто сказалъ онъ и всталъ, точно его толкнулъ кто.

Гололобовъ тоже всталъ и попрежнему вѣжливо отвѣтилъ:

— Прощайте.

Владиміръ Ивановичъ надѣлъ пальто, шляпу, калоши, взялъ палку и, не глядя на подпрапорщика, подалъ ему руку.

Они вышли вмѣстѣ въ темныя сѣни, гдѣ все такъ же и еще сильнѣе пахло теплымъ хлѣбомъ и дрожжами, и Гололобовъ отворилъ дверь на улицу.

— Прощайте, — еще разъ сказалъ Владиміръ Ивановичъ.

Подпрапорщикъ изъ темныхъ сѣней отвѣтилъ:

— Прощайте.

Владиміръ Ивановичъ, осторожно ощупывая палкой, грузно спустился съ крыльца.

— Смотрите, не вздумайте и вправду того... отъ скуки! —весело, какъ ему казалось, но на самомъ дѣлѣ вовсе не весело, сказалъ Владиміръ Ивановичъ.

— Я сказалъ, что таковы мои убѣжденія...

— Глупости! Прощайте!—почти со злобой закричалъ Владиміръ Ивановичъ и чуть не бѣгомъ пустился отъ крыльца.

II.

Владиміръ Ивановичъ слышалъ, какъ стукнула дверь, и поспѣшно зашагалъ по улицѣ. Дождь усилился и вѣтеръ тоже. Но Владиміру Ивановичу это было пріятно, и онъ даже сдвинулъ фуражку на затылокъ. Лобъ у него былъ тяжелый и потный.

Разъ онъ оглянулся и уже далеко назади увидѣлъ красноватую точку освѣщеннаго окна, неподвижно стоявшую въ темной мглѣ ночного дождя.

— Чортъ знаетъ, что такое!—недоумѣло повторялъ самъ себѣ Владиміръ Ивановичъ, звучно шлепая по лужамъ и чувствуя, что правый ботинокъ весь въ водѣ.

Владиміръ Ивановичъ самъ не могъ понять, серьезно ли было то, что было, или это была глупость неизвѣстно даже съ чьей стороны. Но все-таки ему почему-то уже не казалось, что если—глупость, то непремѣнно со стороны подпрапорщика. Весь разговоръ представлялся ему тяжелымъ бредомъ и даже не бредомъ, а просто чѣмъ-то въ родѣ ядовитаго, тяжелаго запаха.

Владиміръ Ивановичъ шелъ, глядя себѣ подъ ноги и стараясь успокоиться и прогнать какое-то скверное, сосущее чувство, засѣвшее гдѣ-то въ самой глубинѣ его души.

— Чего я, собственно, такъ огорчился?—съ ироніей спрашивалъ онъ самъ себя, но отъ этого вопроса тяжелое чувство не утихало. но даже усилилось до болѣзненной тоски.

«А что какъ онъ и вправду застрѣлится!»—вдругъ пришло ему въ голову.

И въ первый разъ съ осязательною ясностью Владиміръ Ивановичъ понялъ, что все это были не теоретическія безвредныя разсужденія, а нѣчто неразумно-ужасное, мрачное и давящее живую душу,—душу человѣка, который сейчасъ еще живъ, а черезъ минуту, быть можетъ, исчезнетъ. Впечатлѣніе было такъ сильно, что Владиміръ Ивановичъ даже остановился, какъ вкопанный. Дождь шумѣлъ непрестанно и медленно. Владиміръ Ивановичъ разомъ повернулся всѣмъ тѣломъ и побѣжалъ назадъ, не обращая вниманія на лужу, скользя и сбиваясь въ жидкую грязь. Запыхавшись, весь въ поту, съ фуражкой, сдвинувшейся на затылокъ, онъ добѣжалъ до квартиры Гололобова и остановился, какъ давеча, передъ освѣщеннымъ окномъ. Сначала ему показалось, что онъ видитъ лицо подпрапорщика, но то былъ освѣщенный бокъ самовара. Лампа попрежнему горѣла на томъ же мѣстѣ, и виденъ былъ стаканъ съ недопитымъ чаемъ и блестящею ложечкой. Но самого подпрапорщика не было. Владиміръ Ивановичъ въ нерѣшительности медлилъ передъ окномъ. Ему чудилось, что тамъ въ комнатѣ стоитъ страшная тишина и неподвижность, а посреди комнаты лежитъ убитый подпрапорщикъ. Владиміръ Ивановичъ удивительно живо представилъ себѣ его фигуру, раскинувшуюся на полу, съ блѣднымъ лицомъ, неподвижными глазами, струйкой крови на искѣ и на полу, съ револьверомъ, зажатымъ въ омертвѣвшихъ пальцахъ. Владиміру Ивановичу показалось даже, что надъ столомъ, заволакивая лампу, плыветъ и колыхается дымъ; но въ это время на пристально напряженные глаза его набѣжали слезы, а когда онъ сморгнулъ ихъ, дыма ужъ не было. Владиміръ Ивановичъ простоялъ такъ минутъ пять, не сводя глазъ съ окна и чувствуя, что надо,и какъ можно скорѣе, сдѣлать что-то важное, неизмѣримо важное, и это его мучило. Но что, онъ не зналъ.

— Это, наконецъ, сумасшествіе!—пожалъ плечами, растерянно улыбаясь, Владиміръ Ивановичъ, и ему стало ужасно стыдно, чтобы кто-нибудь, а главное самъ Гололобовъ, не увидѣлъ его передъ окномъ.

«Подпрапорщикъ спитъ навѣрное, а я торчу тутъ, какъ дуракъ!» со злобой подумалъ онъ. «Да и чего я испугался? Всѣ мальчишки собираются застрѣлиться и всѣ, слава Богу, живы остаются! Чортъ бы его побралъ!..»

Владиміръ Ивановичъ рѣшительно повернулся, возмущенно поднялъ воротъ пальто, надвинулъ шляпу и пошелъ обратно; не оборачиваясь, онъ свернулъ въ переулокъ и вошелъ въ свой дворъ. Въ большомъ домѣ у хозяевъ слабо свѣтился огонекъ синей лампадки, а въ окнахъ его флигеля было темно. И эти темныя окна показались ему какими-то жуткими. И только сейчасъ, въ первый разъ, онъ обратилъ вниманіе на свой флигелекъ: это былъ старый, облупившійся домъ, весь задвинутый въ темную неподвижную массу деревьевъ сада. Среди этихъ огромныхъ молчаливыхъ деревьевъ домъ казался маленькимъ, таинственнымъ, и Владиміру Ивановичу вдругъ стало страшно, что онъ живетъ и сегодня будетъ спать ночью въ такомъ домѣ.

— Ну, это ужъ совсѣмъ глупо!—съ полнымъ негодованіемъ, чуть не вслухъ, сказалъ себѣ Владиміръ Ивановичъ.

— До чего можетъ довести себя человѣкъ!

Онъ рѣшительнымъ шагомъ взошелъ на крыльцо, заскрипѣвшее подъ ногами, и постучалъ въ дверь одинъ разъ и другой. За дверью царствовало молчаніе, и тишина нарушалась только медленнымъ непрестаннымъ шорохомъ дождя и журчаніемъ воды, лившейся гдѣ-то съ крыши въ бочку. Владиміръ Ивановичъ постучалъ еще и еще изо всей силы и почти обрадовался, услышавъ за дверью шаги своего Пашки и его сонный голосъ:

— Кто тамъ?

— Я,—отвѣчалъ онъ громко, и какъ будто отъ звука его голоса все пробудилось, и исчезъ оттѣнокъ таинственности, дѣлавшій все такимъ страшнымъ. Шопотъ дождя сталъ обыкновеннымъ шумомъ; вода бойко и даже весело зажурчала въ бочкѣ; въ окнахъ мелькнулъ свѣтъ и разсѣялъ тяжелую тьму, а садъ точно отступилъ назадъ, и Владиміръ Ивановичъ ясно увидѣлъ обыкновенныя добродушныя деревья, покачивающіяся отъ вѣтра.

Владиміръ Ивановичъ пошутилъ о чемъ-то съ Пашкой, приказалъ завтра разбудить себя пораньше, весело раздѣлся и легъ на кровать.

Пашка, зѣвая во весь ротъ, забралъ его сапоги и ушелъ.

Но когда Пашка ушелъ, и Владиміръ Ивановичъ остался одинъ, онъ тотчасъ же почувствовалъ, что то гнетущее, тоскливое чувство, которое возбудилъ въ немъ разговоръ съ Гололобовымъ, не прошло, что оно тутъ, въ немъ, и сейчасъ выйдетъ наружу, и опять будетъ страшно и грустно. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Владиміръ Ивановичъ чувствовалъ, что онъ не можетъ ничѣмъ помѣшать этому, и заметался въ тоскѣ. Онъ подкрутилъ повыше огонь лампы, хотѣлъ читать, не могъ, бросилъ книгу, потушилъ лампу и закурилъ папиросу. Красный огонекъ папиросы тихо тлѣлъ въ его рукахъ и, по временамъ вспыхивая, освѣщалъ часть стѣны, узоръ обоевъ, пальцы и одѣяло, и усы Владиміра Ивановича.

«А все-таки этотъ подпрапорщикъ удивительно странный человѣкъ»,—думалъ Владиміръ Ивановичъ, и ему было немного непріятно, что нашелся въ одномъ съ нимъ городѣ, такъ близко отъ него, человѣкъ, чѣмъ бы то ни было удивительный, и этотъ человѣкъ не онъ, Владиміръ Ивановичъ Солодовниковъ.

«И какъ это я его раньше не замѣчалъ? Чего онъ дурачкомъ прикидывался?» подумалъ Владиміръ Ивановичъ и сейчасъ же поймалъ себя на дурномъ чувствѣ. «И неправда, вовсе онъ не прикидывался, а просто я не могъ его замѣтить... Почему? Неужели же я такъ... глупъ или... что не могъ его понять? Этого не можетъ быть!»—усмѣхнулся Владиміръ Ивановичъ, самъ не зная почему именно не можетъ быть.

«Слишкомъ я, просто, былъ занятъ самимъ собой», — поежился Владиміръ Ивановичъ.—«А отчего? Оттого, что пріучили къ этому окружающіе идіоты: никакъ не ожидалъ, что между ними можетъ найтись... А можетъ и не потому? Почему же я такъ былъ занятъ собой? Вотъ хоть тому же подпрапорщику пришли въ голову такія мысли... конечно,

незрѣлыя»,—съ удовольствіемъ подумалъ Владиміръ Ивановичъ,—«но важныя, а мнѣ не приходили? Чѣмъ же я былъ такъ занятъ въ себѣ? Не наружностью же... И почему же тогда я воображалъ, что я выше всѣхъ? Всякій человѣкъ, положимъ, это воображаетъ. И я, значитъ, такой же человѣкъ, какъ и всѣ? Ну, конечно же! Глупости какія лѣзутъ въ голову...»

Папиросса уже догорала. Владиміръ Ивановичъ пыхнулъ въ послѣдній разъ и отшвырнулъ окурокъ на середину комнаты. Красная точка, описавъ въ темнотѣ полукругъ, упала, разсыпалась искорками и покатилась, а потомъ осталась лежать неподвижно въ темнотѣ. Изъ оранжевой она сдѣлалась красною, потомъ незамѣтно стала дѣлаться все меньше и меньше. Владиміръ Ивановичъ лежалъ неподвижно и смотрѣлъ на огонекъ.

«И почему это я никогда не думалъ о томъ? Т. е. я думалъ, но какъ-то незамѣтно... А вѣдь это, и вправду, ужасно: вотъ живемъ мы всѣ, живемъ, а потомъ умремъ. Такъ зачѣмъ же тогда, не говорю ужъ наши заботы, огорченія и радости, а даже наши идеалы... Вотъ Базаровъ говорилъ, что лопухъ вырастетъ, а въ сущности и еще того хуже: и этого неизвѣстно. Можетъ и лопухъ не вырастетъ, а просто ничего не будетъ. Завтра помрутъ всѣ, кто меня зналъ, бумаги мои, сданныя въ архивъ, съѣдятъ крысы или ихъ сожгутъ, и все будетъ кончено. Никто и не вспомнитъ обо мнѣ. Сколько милліоновъ людей существовало до меня, а гдѣ они? Я вотъ хожу по пыли, а эта пыль вся пропитана остатками тѣхъ людей, которые такъ же были самоувѣренны, какъ и я, и думали, что это очень важно, что они живутъ!»

Огонекъ папиросы вдругъ исчезъ. Владиміръ Ивановичъ моргнулъ глазами, но огонекъ исчезъ окончательно.

«Вотъ огонекъ... горѣлъ и нѣтъ его! Пепелъ остался; можетъ быть, можно опять зажечь, но это ужъ будетъ не то... Того, что горѣлъ, того ужъ не будетъ!.. Меня не будетъ».

И чувствуя какой-то непріятный ознобъ въ ногахъ и спинѣ, Владиміръ Ивановичъ подумалъ:

«Доктора Солодовникова... нѣтъ, не такъ... доктора Владиміра Ивановича Солодовникова уже никогда не будетъ...»

Онъ повторилъ эти слова нѣсколько разъ съ ужасомъ и упорствомъ отчаянія. Сердце билось неровно и быстро, въ груди было невыносимо тяжело, и на лбу явственно выступилъ потъ.

«Меня-то ужъ не будетъ! Неужели же... Ну, конечно! Все будетъ: и деревья, и люди, и чувства,—много пріятныхъ чувствъ, любовь и все такое,—а меня не будетъ. Я даже смотрѣть на это не буду. Не буду даже знать, есть ли это все или нѣтъ! То-есть, даже не то, что «не буду знать», а просто меня совершенно не будетъ! Просто? Нѣтъ, это не просто, а ужасно, жестоко и безсмысленно! Зачѣмъ же я тогда жилъ, старался, считалъ это хорошимъ, а то дурнымъ, думалъ, что я умнѣе другихъ?.. Все равно меня не будетъ».

Владиміръ Ивановичъ почувствовалъ, будто глаза у него стали мокрые; и ему было стыдно этого, и онъ обрадовался этому, думая, что слезы облегчатъ то невыносимо холодное и тяжелое чувство, которое давило его. Но глаза были сухи и широко пялились въ темноту. Владиміръ Ивановичъ тяжело и съ усиліемъ вздохнулъ и весь обомлѣлъ отъ тоски и страха.

«И меня черви съѣдятъ... Долго будутъ ѣсть, а я буду лежать неподвижно. Они будутъ ѣсть, копошиться... бѣлые, склизкіе... Пусть лучше меня сожгутъ... Нѣтъ, это тоже ужасно! Зачѣмъ же я жилъ!»

Владиміръ Ивановичъ почувствовалъ, что онъ все больше и больше судорожно дрожитъ. Вѣтеръ гудѣлъ за окномъ, а въ комнатѣ было тихо и неподвижно.

«И вѣдь я умру скоро... Можетъ быть, я завтра умру... сейчасъ! Вѣдь это такъ просто: заболитъ самымъ невиннымъ образомъ голова, а потомъ все хуже, хуже... и смерть... Я вѣдь самъ знаю, что это просто, знаю, какъ и почему это, а, между тѣмъ, остановить и предупредить не могу! Умру. Можетъ, завтра, можетъ—сейчасъ... Можетъ, я и вправду уже простудился, когда стоялъ подъ окномъ,

и уже умираю... Мнѣ еще кажется, что я здоровъ, а во мнѣ уже начался окончательный процессъ».

Владиміръ Ивановичъ хотѣлъ пощупать себѣ пульсъ, но сейчасъ же бросилъ и съ отчаяніемъ уставился въ потолокъ, котораго не было видно. И вверху надъ нимъ, и съ боковъ, вездѣ была холодная сѣро-черная тьма, среди которой было еще страшнѣе и печальнѣе то, что онъ думалъ.

«Все равно я не могу остановить! Да если бы и остановилъ сейчасъ, все равно рано или поздно умру: вѣдь не буду же я безсмертенъ. И какъ это я, да и всѣ мы думаемъ, что медицина великая наука? Сегодня поможетъ, завтра поможетъ, а въ концѣ концовъ все равно всѣ умрутъ: и здоровый, и больной... и... какъ это ужасно! Я вѣдь не боюсь смерти, но зачѣмъ же непремѣнно смерть? Какой смыслъ, кому нужно?.. Нѣтъ, я боюсь, боюсь...»

Владиміръ Ивановичъ вдругъ притихъ: онъ вспомнилъ о воскресеніи мертвыхъ и загробной жизни. Точно что-то мягкое, тихое и ласкающее опустилось на его измученный мозгъ, и ему стало хорошо и спокойно.

Но сейчасъ же все вспыхнуло со злостью, ненавистью и отчаяніемъ.

«О, глупости. Вѣдь никто, никто не вѣритъ этому, и я не вѣрю и нельзя вѣрить! Какой смыслъ въ этомъ? Кому, на кой чертъ, нужны безтѣлесныя души, лишенныя формы и чувствъ, и индивидуальности, плавающія въ эѳирѣ? Да и все равно, потому что страхъ все-таки остается: все-таки мы ничего не знаемъ, кромѣ факта смерти... А подпрапорщикъ правъ, что, чѣмъ ждать въ этомъ вѣчномъ ужасѣ, лучше самому... Тутъ есть что-то облегчающее, въ томъ, что—самъ. Вотъ, возьмешь и сдѣлаешь... И даже какъ будто займетъ то, что дѣлаешь, и не замѣтишь самаго ужаснаго момента умиранія... А естественнымъ путемъ: до самаго послѣдняго момента будешь надѣяться и глупо надѣяться, потому что все равно, если не умрешь въ этотъ разъ, то умрешь въ другой, а непремѣнно умрешь и... надѣяться не надо! И до послѣдняго мгновенія бояться... даже не бояться, а умирать отъ страха...»

Владиміръ Ивановичъ зажалъ уши ладонями, точно кто-то оглушительно и монотонно кричалъ ему въ ухо безконечное число разъ одно и то же слово:

— Смерть, смерть, смерть, смерть, смерть...

— А-а!—вдругъ завизжалъ Владиміръ Ивановичъ и разомъ вскочилъ на кровати.

Все было темно и неподвижно. Чуть чуть только свѣтилось окно въ садъ смутнымъ синевато сѣрымъ пятномъ. А за окномъ мотались черныя вѣтки.

«Ну его къ черту! О, будь ты проклятъ! Не хочу, не хочу!»—дико думалъ Владиміръ Ивановичъ, охвативъ изо всѣхъ силъ руками колѣни и задерживая дыханіе. И гдѣ-то, еще глубже этой первой мысли, не переставая, шевелилась другая неуловимая, но ужасная своею ясностью и неопровержимостью: «все равно, кричи не кричи, а такъ будетъ... умру... умру!»

Владиміръ Ивановичъ скрипнулъ зубами, схватилъ себя обѣими руками за волосы, упалъ лицомъ въ подушку и застылъ. Въ ушахъ у него невыносимо шумѣло, и сквозь этотъ шумъ прорывался тихій, протяжный, невыносимо-печальный звонъ.

Владиміръ Ивановичъ выпустилъ волосы, повернулся лицомъ кверху и широко раскрылъ глаза. Отчаяніе исчезло, вмѣсто него была пустота. И эта пустота была хуже, невыносимѣе отчаянія; это была пустота мертвеца.

«Лучше самому»,—подумалъ гдѣ-то далеко въ глубинѣ мозга Владиміръ Ивановичъ и почувствовалъ, что лицо у него совершенно неподвижное и холодное, и холодны руки и ноги.

— Лучше самому,—повторилъ онъ мысленно и тихо, точно крадучись, сталъ вставать съ кровати, потихоньку высовывая ноги изъ-подъ одѣяла на холодный полъ.

«И какой идіотъ думаетъ о томъ, какъ лучше и честнѣе и умнѣе жить, когда надо думать о томъ, какъ ужасно умереть!»—со злобой думалъ онъ, вставая и точно въ бреду вглядываясь въ яркое красное пламя, стоящее передъ нимъ, и чье-то ужасное, блѣдное лицо.

Но это лицо было лицомъ Пашки, который со свѣчой въ рукахъ стоялъ передъ нимъ.

— Владиміръ Ивановичъ, за вами пришли! —говорилъ онъ.

Владиміръ Ивановичъ тупо на него смотрѣлъ и удивлялся, чего нужно Пашкѣ среди ночи, и отчего у него такое блѣдное лицо. За спиной Пашки торчала и еще одна знакомая, совершенно вытянутая физіономія.

— А, что? Чего вамъ,—недоумѣло спросилъ Владиміръ Ивановичъ.

— Вы извините, докторъ, пожалуйста, — заговорила другая фигура и, выступивъ впередъ, оказалась большимъ, длиннымъ приставомъ, на которомъ уныло болтались усы и шашка.—Пришлось васъ побезпокоить: тамъ такое происшествіе, а Леонида Григорьевича нѣтъ въ городѣ.

Владиміръ Ивановичъ опустился на кровать, натянулъ одѣяло на голыя ноги и смотрѣлъ на болтающіеся усы, вспоминая съ усиліемъ, что Леонидъ Григорьевичъ его коллега, городской врачъ.

— Тамъ, знаете, вольноопредѣляющійся одинъ застрѣлился,—продолжалъ приставъ, точно извиняясь за безтактность самоубійцы, выбравшаго такое неудобное время.

— Подпрапорщикъ,—машинально поправилъ Владиміръ Ивановичъ.

— Ну, да, т.-е. подпрапорщикъ. Вы, можетъ быть, изволите знать: Гололобовъ... Дознаніе необхо...

Будто что-то ударило по лбу Владиміра Ивановича.

— Гололобовъ?—съ дикимъ любопытствомъ закричалъ онъ.—Такъ-таки застрѣлился?

Приставъ оторопѣло болтнулъ усами.

— Развѣ вы знаете?

— Ну, конечно... онъ мнѣ самъ сказалъ,—торопливо, захлебываясь и не попадая ногой въ сапогъ, весь дрожа, бормоталъ Владиміръ Ивановичъ.

— Какъ? Когда?—вдругъ совсѣмъ другимъ голосомъ заговорилъ приставъ.

— Говорилъ, говорилъ... а впрочемъ, я вамъ послѣ скажу!—сбивчиво бормоталъ Владиміръ Ивановичъ, дрожащими руками натягивая пиджакъ.

III.

За воротами ждалъ извозчикъ, хотя до квартиры подпрапорщика можно было и пѣшкомъ дойти въ пять минутъ. Владиміръ Ивановичъ не замѣтилъ, какъ и когда онъ сѣлъ на дрожки и какъ и когда слѣзъ съ нихъ передъ квартирой подпрапорщика Гололобова. Онъ замѣтилъ только, что дождя нѣтъ, небо было свѣтлѣе, и вверху какъ будто сверкали звѣзды.

Теперь двери въ булочную были отворены. На тротуарѣ стояли городовой и еще какія-то смутныя, волнующіяся фигуры. Въ сѣняхъ, гдѣ попрежнему крѣпко пахло печенымъ хлѣбомъ и кислыми дрожжами, толпились дворники и городовые. Владиміру Ивановичу показалось, что ужасно много городовыхъ и дворниковъ. Была настежь отворена и дверь въ комнату подпрапорщика, гдѣ попрежнему горѣла лампа, и было пусто и тихо.

Владиміръ Ивановичъ вошелъ и съ дикимъ любопытствомъ уставился на убитаго.

Гололобовъ лежалъ, смирно свернувшись калачикомъ, въ совершенно неестественной для застрѣлившагося человѣка позѣ. Лежалъ онъ прямо посрединѣ комнаты, весь освѣщенный лампой. Никакого безпорядка въ комнатѣ не было, и все было такъ же, какъ и часъ тому назадъ.

Гололобовъ, очевидно, застрѣлился сейчасъ же по уходѣ гостя.

И Владиміръ Ивановичъ догадался объ этомъ: въ памяти его совершенно отчетливо выплыло освѣщенное окно, бокъ блестящаго самовара, который онъ принялъ было за лицо подпрапорщика, и что-то похожее на дымъ, тянувшійся передъ лампой.

Владиміръ Ивановичъ грузно опустился на колѣни и осторожно повернулъ къ себѣ голову подпрапорщика. Она послушно повернулась на длинной, мягкой шеѣ.

То мѣсто, гдѣ Владиміръ Ивановичъ еще недавно видѣлъ и ожидалъ увидѣть знакомое тусклое лицо подпрапорщика, его безцвѣтные сѣрые глаза, незначительный носъ и бѣлые усики и брови, представляло одно сплошное, кровавое пятно. Все было разбито, обращено въ мѣсиво, залитое уже запекшейся кровью. Одинъ глазъ вытекъ, а другой былъ неестественно широко открытъ. Но этотъ глазъ уже не былъ похожъ на прекрасный человѣческій глазъ: это было противное, непрозрачное, огромное, мертвое существо, тупо и ужасно глядѣвшее на жизнь.

Владиміръ Ивановичъ вздрогнулъ и выпустилъ голову изъ рукъ.

Голова упала съ мягкимъ звукомъ.

— Изволите видѣть,—сказалъ сзади приставъ, тихо и робко:—изъ ружья застрѣлились... дробью! Утиною дробью чуть не весь стволъ набили, да въ ротъ и... видите! Боже ты мой, Боже...

Владиміръ Ивановичъ все полусидѣлъ на полу, глядя въ бѣлобрысый затылокъ, который уже началъ синѣть.

Приставъ суетился. Подпрапорщика подняли и перенесли на кровать. Городовой, рыжій человѣкъ съ толстымъ краснымъ лицомъ, придерживая шашку, поправилъ подпрапорщику голову и перекрестился; челюсть у него прыгала, и онъ напрасно старался ее удержать.

Владиміръ Ивановичъ былъ какъ въ бреду. Онъ дѣлалъ все то, что надлежало дѣлать, по мнѣнію людей, человѣку его профессіи. Писалъ, подписывалъ, говорилъ вполнѣ ясно, отвѣчая на вопросы пристава, но дѣлалъ это совершенно машинально и съ смутнымъ сознаніемъ ненужности и ничтожества того, что дѣлалъ. Его все тянуло къ кровати, на которой смирно и неподвижно лежалъ подпрапорщикъ Гололобовъ.

Когда всѣ формальности были кончены, Владиміръ Ивановичъ опять подошелъ къ кровати, постоялъ, посмотрѣлъ, зачѣмъ-то протянулъ руку и тронулъ выпученный глазъ. И Владиміру Ивановичу, и городовымъ, и приставу казалось, что глазъ непремѣнно долженъ закрыться, моргнуть.

Но глазъ былъ неподвиженъ. И это было странно, непріятно и страшно такъ, что всѣмъ стало жутко въ этой комнатѣ.

Но Владиміру Ивановичу только теперь съ особенною силой, яркостью и ясностью стало понятно, что подпрапорщикъ Гололобовъ умеръ. То, что было подпрапорщикомъ Гололобовымъ, уже не было ни подпрапорщикомъ, ни Гололобовымъ, ни человѣкомъ, ни существомъ, а было трупомъ. Его можно было трогать, бросать, сжечь, и онъ только покорно и мертво подавался бы на всякое постороннее усиліе. Но въ то же время Владиміръ Ивановичъ видѣлъ, что это именно подпрапорщикъ Гололобовъ. То, что съ нимъ произошло, было совершенно непонятно, совершенно невообразимо и неощутимо, но ужасно, противно и жалко.

Эта жалость вдругъ вынырнула откуда-то, и момента, когда она появилась, Владиміръ Ивановичъ не замѣтилъ. Но она тотчасъ же подавила собою ужасъ, и брезгливость, и недоумѣніе и со страшною силой наполнила, казалось, весь организмъ Владиміра Ивановича. Ему вдругъ припомнилось все, что характеризовало живого подпрапорщика Гололобова: его походка, его позы, его стриженая голова, его глаза, некрасивое лицо, бѣлыя рѣсницы, и все это было такъ неизмѣримо прекрасно, такъ трогательно и мило, въ сравненіи съ тѣмъ, что было сейчасъ. Владиміръ Ивановичъ почему-то посмотрѣлъ на лакированные сапоги, которые недавно, на живыхъ и крѣпкихъ ногахъ подпрапорщика, такъ бойко выступали по лужамъ, а теперь неподвижно, страшно неподвижно лежали на бѣломъ чистомъ одѣялѣ кровати.

Владиміръ Ивановичъ поперхнулся, вздохнулъ и сразу заплакалъ, какъ будто давно зналъ, что только это и надо, и лишь сдерживался.

Усатый приставъ даже отшатнулся отъ него. Съ минуту онъ смотрѣлъ на Владиміра Ивановича съ слегка открытымъ ртомъ, а потомъ усы его вздрогнули, и онъ неожиданно для самого себя широко и неловко улыбнулся.

Но Владиміръ Ивановичъ не видѣлъ этой улыбки; онъ

безпомощно опустился на стулъ возлѣ кровати и зарыдалъ, и задрожалъ.

Приставъ испугался.

— Воды, ты!..—почему-то грозно крикнулъ онъ на городового.

Городовой, зацѣпившись шашкой за косякъ, со стукомъ выскочилъ въ сѣни, а приставъ растерянно сталъ уговаривать доктора.

— Владиміръ Ивановичъ, что вы-съ?! Развѣ можно! конечно, жалко... но что же дѣлать?

И приставъ широко и недоумѣло развелъ руками, а потомъ опять сердито и точно ругаясь крикнулъ.

— Да воды же! Ну...

Воду принесъ въ глиняной чашкѣ большой старый городовой съ испуганнымъ лицомъ.

— Ну, вотъ... выпейте...—докторъ! Пейте—уговаривалъ приставъ, подавая воду.

Владиміръ Ивановичъ, стукаясь зубами о чашку, пилъ теплую воду съ запахомъ хлѣба и дрожжей.

— Ну вотъ, ну вотъ!—обрадованно говорилъ приставъ.—Да и пойдемте отсюда... Богъ съ нимъ!

Владиміръ Ивановичъ пересталъ плакать и оглянулся недоумѣло и смущенно. И его поразило странное выраженіе лицъ, стоявшихъ передъ нимъ: и пристава, и большой старый городовой, что принесъ воду, и другой, красный, рыжій и толстый, такъ смотрѣли, какъ будто его припадокъ былъ неизмѣримо важнѣе и интереснѣе мертвеца, лежавшаго на постели. Всѣ смотрѣли на него, помогали ему, заботились о немъ; а мертвый подпрапорщикъ Гололобовъ лежалъ смирно и одиноко, какъ никому уже ненужная, непріятная и мѣшающая вещь.

— Пойдемте, докторъ, право!—настаивалъ приставъ.

Владиміръ Ивановичъ машинально всталъ, взялъ фуражку, поданную городовымъ и, пройдя сѣни, гдѣ хотя попрежнему пахло теплымъ хлѣбомъ и дрожжами, но стоялъ какой-то свѣжій, бодрый запахъ, занесенный живыми, здоровыми людьми со двора,—вышелъ на крыльцо.

И то, что онъ увидѣлъ, поразило его.

Было утро. Небо было совершенно чисто и прозрачно. Дождь прошелъ; но все было еще мокро и блестѣло, какъ вымытое. Зелень ярко зеленѣла. Прямо противъ Владиміра Ивановича восходило еще невидимое солнце, и это мѣсто неба было ослѣпительно ярко, сіяло, горѣло и искрилось. Воздухъ дрожалъ и лился въ грудь вольными, могучими, чистыми и мягкими волнами.

— А...—удивленно протянулъ Владиміръ Ивановичъ.

— Чудное утро!—сказалъ приставъ, снимая фуражку, и съ удовольствіемъ подставилъ свою лысую голову навстрѣчу живой прохладѣ.

— Столько дней дождь, а тутъ вдругъ этакая благодать! А?—продолжалъ съ наслажденіемъ приставъ.—Какъ хорошо, все равно... тотъ-то бѣдняга и не увидитъ ужъ...

И приставъ, дѣлая значительное и скорбное лицо, кивнулъ головой назадъ. И сейчасъ же Владиміру Ивановичу представилась страшная, молчаливая почему-то, когда вездѣ свѣтло, освѣщенная лампой, комната и неподвижный мертвый подпрапорщикъ. Но приставъ не могъ удержать значительнаго и скорбнаго выраженія, усы его дрогнули, носъ сморщился, и, пріятно улыбаясь, онъ сказалъ:

— И спать даже не хочется... жаль утра! Хорошо бы теперь того... выкупаться и рыбку поудить... Я—охотникъ вѣдь. А вы не ловите?.

И печальная страшная комната пропала. Владиміръ Ивановичъ опять увидѣлъ свѣтъ, небо, людей и услышалъ милый, живой голосъ пристава.

— Да, отчего же!—восторженно отвѣтилъ онъ.

И подумалъ, что приставъ прекрасный, интересный, живой человѣкъ.

— Можетъ, поѣдемъ вмѣстѣ когда-нибудь?.. Я съ вами мало знакомъ, но...

— Конечно, конечно!—отвѣтилъ быстро Владиміръ Ивановичъ. Мимо пролеталъ чирикая воробей, Владиміръ Ивановичъ посмотрѣлъ ему въ слѣдъ и радостно подумалъ:

«Ишь, какъ работаетъ».

— Ну, а пока до свиданья, докторъ,—сказалъ приставъ и, вдругъ съ видимымъ усиліемъ измѣнивъ выраженіе

лица изъ веселаго и легкаго на тяжелое и значительное, неестественнымъ тономъ прибавилъ:—а мнѣ еще того... надо.

Онъ пожалъ руку доктору и, видимо боясь, чтобы тотъ не послѣдовалъ за нимъ, торопливо ушелъ въ домъ.

Владиміръ Ивановичъ снялъ шапку, широко улыбнулся и пошелъ. Проходя мимо открытаго окна, онъ увидѣлъ поблѣднѣвшую слабую лампу, и что-то рѣзкое скользнуло у него по сердцу. Но въ это время кто-то, вѣроятно приставъ, дунулъ и потушилъ лампу. Слабый огонекъ моментально исчезъ, и сталъ виденъ потолокъ комнаты и самоваръ, блестѣвшій отраженіемъ неба.

Владиміръ Ивановичъ шелъ по улицѣ и смотрѣлъ. И все, что было вокругъ, все двигалось, искрилось и жило. Владиміръ Ивановичъ смотрѣлъ на всякое движеніе и чувствовалъ что-то могучее, неразрывное, что связывало его въ одно съ этимъ живымъ, движущимся міромъ. Онъ смотрѣлъ на свои ноги и, точно первый разъ ихъ видя, едва не засмѣялся; такими милыми и прекрасными показались ему онѣ.

«Вотъ, я о нихъ вовсе и не думаю, а онѣ идутъ!»—подумалъ Владиміръ Ивановичъ.

«И это вовсе не такъ обыкновенно, какъ я думалъ всегда... Это удивительно, чудесно и прекрасно... Вотъ я захочу протянуть руку и протяну!»

Владиміръ Ивановичъ протянулъ руку и радостно засмѣялся, глядя на выбѣжавшую на дорогу бѣлую собаченку. Собаченка шарахнулась отъ протянутой руки, тявкнула и озабоченно посмотрѣла, поднявъ ухо, на Владиміра Ивановича.

«Славная собаченка!»—подумалъ Владиміръ Ивановичъ.

И еще никогда въ жизни не испытанное имъ чувство при сознаніи, что онъ и собака смотрятъ другъ на друга, интересуются другъ другомъ и боятся другъ друга, а не лежатъ безразлично и неподвижно среди живущаго, двигающагося міра, нахлынуло на него.

«Все, что угодно!» подумалъ Владиміръ Ивановичъ,—«страхъ, боязнь, злоба, все, все... только бы это было во

мнѣ, потому, что это—я! Я вотъ... я иду, я думаю, я вижу, я чувствую... безразлично что... а не лежу мертвый... Я умру, разумѣется!»

И совершенно спокойно подумавъ эту послѣднюю мысль, Владиміръ Ивановичъ вслухъ проговорилъ:

— А надо когда-нибудь поѣхать рыбу ловить съ этимъ приставомъ!

И широко шагая, двигая руками, ногами и что есть силы набирая воздухъ въ легкія, Владиміръ Ивановичъ пошелъ дальше.

И вдругъ передъ нимъ что-то вспыхнуло, засверкало и засіяло, такъ ослѣпительно ярко, что Владиміръ Ивановичъ зажмурилъ глаза.

Взошло солнце.

В. ВЕРЕСАЕВЪ

И З Д А Л И

О

Съ полудня войска отступали. Въ горячемъ, липкомъ воздухѣ неподвижно стояла пыль, она хрустѣла на зубахъ, забивалась въ глаза. Солнце пылало и жгло.

А справа, въ голубоватой дымкѣ, непрерывными цѣпями тянулись сопки. Казалось, будто на нихъ снова движутся зловѣщія точки, вспыхиваютъ струистые огоньки. Такъ было два часа назадъ: вдругъ оттуда, изъ смутной дали, на отступавшихъ полетѣли шрапнели, и сыпались, и били въ густыя кучи людей, лошадей и повозокъ; медленно двигавшійся потокъ отступавшихъ всколыхнулся и ринулся впередъ, а шрапнели все сыпались и били вслѣдъ... И съ пугливымъ ожиданіемъ всѣ теперь посматривали туда, на эти загадочно-молчавшія сопки. Вполголоса передавался слухъ, что за сопками спѣшитъ впередъ японская колонна, чтобы отрѣзать армію съ сѣвера.

Въ густой, желтовато-сѣрой тучѣ пыли шла по краю дороги кучка солдатъ Пожарскаго полка. Они шли, какъ всѣ, вяло волоча ноги, съ вяло болтающимися на плечахъ винтовками. То одинъ, то другой изъ нихъ забѣгалъ за кустъ, оглядывался и поспѣшно сбрасывалъ съ себя скатанную шинель и вещевой мѣшокъ; потомъ онъ нагонялъ товарищей, радостно расправляя свободную, мокрую отъ пота спину.

Среди нихъ ковылялъ, опираясь на винтовку, рядовой Василій Лобановъ; у него была прострѣлена пулею мякоть бедра. Его тонкое, слегка надменное лицо было угрюмо,

онъ сосредоточенно работалъ винтовкою, держа ее обѣими руками и упираясь прикладомъ въ землю.

Рядомъ развалистою походкой шелъ рябой, приземистый Алешка Семерухинъ. Винтовка на его плечѣ лѣниво ѣздила вправо и влѣво, штыкъ чертилъ по воздуху зигзаги. Ухмыляясь своею потною, широкою рожею, Алешка говорилъ, обращаясь въ воздухъ, неизвѣстно къ кому:

— Знаешь, какъ въ пѣснѣ арестанты поютъ: «Не плачь, матушка родная! Дальше солнца меня не угонятъ, а Сибирь—нашего царя!..» Вотъ то же и мы. Дальше солнца не угонятъ насъ, а въ Сибири мы ужъ были... Раньше Сибирью насъ пугали, а теперь мы тамъ ужъ были!

Лобановъ хмуро косился на Алешку и молчалъ. У него не было въ душѣ смѣха; была глухая, застывшая ненависть къ врагу, былъ стыдъ за себя, а больше всего — гнетущее, томительное недоумѣніе. Онъ по собственной волѣ перевелся изъ Россіи на войну, ждалъ боя съ удалымъ, немного жуткимъ чувствомъ,—и вотъ бой произошелъ. Но что же такое было? Что такое было?

Сначала нѣсколько дней они сидѣли въ окопахъ, среди поля съ наскоро скошеннымъ каоляномъ. Сзади на горкахъ чернѣли хоботы нашихъ батарей, а спереди и съ боковъ было что-то грозное и неизвѣстное; и изъ этого неизвѣстнаго, изъ невидимой дали, изъ ненаходимыхъ мѣстъ, — отовсюду со свистомъ и ревомъ неслись снаряды; они были какъ будто живые, какъ будто съ высоты сами выбирали, куда упасть,—и били въ окопы, били въ батареи, крушили и рвали на куски людей, блиндажи и ящики; кругомъ шипѣло, жгло и пахло. И никого не было видно!.. Наши орудія средь дыма и треска рвавшихся снарядовъ, казалось, безпомощно шевелили своими дулами, недоумѣло выискивали и не находили врага. И когда, сверкнувъ струистыми огнями, батарея давала залпъ, и надъ окопами, свирѣпо завывая, какъ будто проносилась вдаль стая злобныхъ духовъ, — казалось, что стрѣляютъ такъ себѣ, наудачу и ни въ кого тамъ не попадутъ, въ этой неизвѣстной дали.

А они все сидѣли въ окопѣ, блѣдные, серьезные и сосредоточенные. Самое ужасное было сидѣть, ничего не

дѣлая, подъ рвавшимися въ воздухѣ шрапнелями. Когда съ короткимъ стономъ падалъ рядомъ товарищъ, всѣ крѣпко стискивали винтовки, и руки нервно хватались за затворы. День смѣнялся ночью, за ночью приходилъ день, изъ окопа уносили новыхъ раненыхъ, а они все сидѣли, ничего не дѣлая. И никого не было видно.

Ночью полкъ подняли и куда-то повели въ темнотѣ. Всю ночь ихъ передвигали съ мѣста на мѣсто. Въ долинахъ заклубились туманы, небо за сопками побѣднѣло, встало солнце, а ихъ все передвигали, сонныхъ, усталыхъ и голодныхъ. Опять неизвѣстно откуда летѣли снаряды, и отъ ихъ свиста какъ будто завывала метель. Рота пожарцевъ залегла межъ китайскихъ могилъ и за межевымъ валомъ. На равнинѣ, освѣщенной косыми лучами солнца, показались наступающія японскія цѣпи: онѣ шли наискось, по направленію къ ханшинному заводу, сѣрѣвшему за деревьями. Пожарцы встрепенулись, командиръ роты повеселѣлъ и вполголоса послалъ по ротѣ распоряженіе. Пожарцы дали залпъ во флангъ цѣпи, за нимъ—другой, третій... И сразу, на ихъ глазахъ, цѣпи исчезли, какъ будто ушли въ землю; только видно было, какъ земля шевелилась и взлетала на воздухъ подъ быстро работавшими лопаточками. А среди пожарцевъ, сверкнувъ, вдругъ оглушительно взорвалась шимоза, и на нихъ посыпались снаряды. Снаряды прилетали изъ неизвѣстной дали, какъ будто радуясь, что, наконецъ, нашли притаившихся пожарцевъ, и съ грозно-веселымъ аханьемъ рвались среди деревьевъ, кустовъ и людей.

И окровавленные, обожженные люди корчились на землѣ, вскакивали на колѣни и валились обратно. Отъ кустовъ пробѣжалъ, наклонившись, блѣдный адъютантъ и хрипло крикнулъ:

— Капитанъ! Отведите людей назадъ, за фанзы!

И солдаты по одиночкѣ стали перебѣгать назадъ.

Вскорѣ полкъ опять куда-то двинули. У Лобанова была только одна мысль: въ какую минуту придетъ смерть? Стыдно было, но временами охватывалъ дикій, мутящій голову страхъ, и хотѣлось бѣжать, бѣжать подальше, бросивъ все. А между тѣмъ еще завлекательнѣе, еще

радостнѣе было бы бѣжать прямо впередъ, съ штыками на перевѣсъ, съ бѣшенымъ «ура!», не останавливаясь, не прячась за прикрытія. О, тогда, казалось, они все бы впереди разнесли и разбили, и не было бы силы, которая бы ихъ остановила.

И одно такое яркое, жутко-радостное мгновеніе развернулось передъ ними сегодня утромъ. Широкою растянутою цѣпью они наступали на китайскій хуторъ, окруженный окопами. Этотъ хуторъ отбилъ за утро ужъ три русскихъ атаки; поле было усѣяно нашими трупами. Кругомъ свистѣли тучи пуль, люди падали, но пожарцы перешли поле и начали смыкаться.

— Ура!...—коротко и рѣзко крикулъ ротный.

Не «ура», а страшный, громовый вопль вырвался изъ сотенъ глотокъ,—и пожарцы ураганомъ бросились въ штыки. Алешка Семерухинъ бѣжалъ рядомъ съ Лобановымъ и свистѣлъ пронзительнымъ, разбойничьимъ свистомъ. Вокругъ кувыркались и падали раненые, но всѣ неслись впередъ въ томъ же грозно воющемъ ураганѣ. Это былъ мигъ бѣшенаго, яркаго восторга, всѣ были одно цѣлое и могучее, передъ ними несся ужасъ, а за брустверами настала мертвая тишина.

И вотъ, сжимая винтовки, они подбѣжали къ брустверамъ, готовые крушить, колоть, бить прикладами...

Окопы были пусты. Совсѣмъ таки пусты, ни одного японца тамъ не было,—ни живого, ни мертваго. А стояли лужи крови, блестѣли разсыпанные патроны, валялись чугунные стаканы нашихъ шрапнелей и фуражки съ желтыми околышами.

Опять загремѣло «ура», и пожарцы бросились впередъ къ глинянымъ оградамъ съ черными, молчаливыми бойницами.

И тамъ все было пусто.

— Та-та-та!.. Та-та!.. Та-та-та-та!.. — равномѣрно трещало у ракитовой рощи за оврагомъ. Какъ будто большія швейныя машины сосредоточенно работали тамъ свою никого не касавшуюся работу. А кругомъ падали люди, и о стѣны щелкали пули. Остро хлопнуло что-то наверху, словно

воронкообразный дождь коротко ударилъ оттуда, и снова надъ пожарцами пошли лопаться шрапнели.

Была суета. Сзади вливались резервы, солдаты, наклонившись, разбѣжались по хутору, ища прикрытія. Лобановъ впопыхахъ не могъ понять, отчего такъ трудно найти мѣсто, куда залечь. И вдругъ сообразилъ, что всѣ стѣнки, обращенныя на японскую сторону, тщательно срыты. Онъ бросился за кучу щебня, слѣдомъ за нимъ Алешка и еще двое, и они стали стрѣлять въ рощу, по пулеметамъ.

Спереди и съ боковъ на хуторъ сыпались пули и снаряды, вездѣ въ каолянѣ трещали выстрѣлы. И никого не было видно. Чувствовалось, что какая-то зловѣщая невидимая стѣна тѣсно облегаетъ хуторъ, въ этой невидимости было что-то грозно-увѣренное и предательское. И мелькали волнующія мысли: не въ ловушкѣ ли они всѣ на этомъ полуразрушенномъ хуторѣ, съ наклономъ холма въ сторону японцевъ, съ отлого срытыми задними стѣнками окоповъ? То ли дѣлаетъ начальство, что нужно?.. Давя вздымавшіяся мысли, они лихорадочно стрѣляли по рощѣ, стрѣляли въ каолянъ и въ перебѣгавшія вдали темныя фигурки.

По хутору какъ будто крутился кровавый вихрь, полный грохота и сверкающихъ вспышекъ. Изъ-за угла полуснесенной фанзы донесся протяжный крикъ:

— Отступа-ать!..

Кругомъ его подхватили.

— О-отступа-ать!..—жалуясь и зловѣще пугая, понеслось по дворамъ и огородамъ.

По одиночкѣ пожарцы стали выбѣгать изъ хутора. Но когда выбѣжали первые, вдругъ повскакали всѣ и бросились бѣжать. И какъ это случилось—Лобановъ не зналъ; сразу вскочили на ноги Алешка и уцѣлѣвшій ихъ товарищъ; тогда, пугаясь, и Лобановъ быстро вскочилъ, словно отъ толчка. Второй ихъ товарищъ, прижимая руку къ окровавленному боку, мутящимися, скорбными глазами слѣдилъ за ними; безкровныя губы безъ надежды шептали какую-то просьбу. А они, наклонившись, побѣжали во всю мочь, перепрыгивая черезъ трупы и опрокинутыя стѣнки.

И отовсюду толпами выбѣгали солдаты. Опять, какъ часъ назадъ, словно общимъ ураганомъ подхватило ихъ всѣхъ; но ураганъ былъ темный и безумный, мутившій головы безоглядным ужасомъ. Дикими толпами всѣ бѣжали по полю, и земля дрожала отъ ихъ топота. Лобановъ чувствовалъ, какъ сзади въ его ногу ударила пуля, видѣлъ, что лѣвая штанина все больше чернѣетъ отъ крови, но продолжалъ бѣжать со всѣми...

Въ лощинѣ за холмами взволнованные офицеры поспѣшно строили порѣдѣвшія роты. Перевязавъ простр'ѣленную ногу, Лобановъ сталъ въ строй. Алешка, съ блѣднымъ и серьезнымъ лицомъ, вполголоса спросилъ его:

— Слыхалъ?

— Что такое?

— Обошли. Въ тылъ зашелъ японецъ.

— Да что-о ты?!

Лобановъ стоялъ, широко раскрывъ глаза: опять почувствовалось это неуловимое, грозное и таинственное, чему въ бѣшеной злобѣ хотѣлось грозить кулаками.

— Приказъ казакъ привезъ, — отступать.

И вездѣ войска отступали. Тянулись пѣхотныя колонны, обозы, проносились батареи и артиллерійскіе парки. Въ первый разъ теперь Лобановъ видѣлъ, какъ много войскъ было въ бою. Всѣ лица смотрѣли растерянно и недоумѣвающе, никто не понималъ, какъ это вдругъ случилось. А пушки гремѣли сзади, сбоку и гдѣ-то впереди, и чувствовалось, — то грозное и невидимое надвигается на армію, загибается по концамъ и грозитъ охватить кольцомъ.

И колонны шли въ тучахъ сѣро-желтой пыли, поднимались на горы, спускались въ долины. Солнце пылало. Гремѣвшія спереди пушки остались назади, ужъ не было ощущенія, что кольцо замыкается; но все чувствовалось что-то грозно надвигающееся, все что-то ждалось, неожиданное и предательское.

У Лобанова кружилась голова. Нечѣмъ было дышать отъ жары и пыли, хотѣлось пить; болѣла нога, и руки устали работать винтовкою. Ему казалось, что онъ топчется все время на мѣстѣ, а мимо него медленно отходятъ

назадъ кусты, фанзы, вершины сопокъ; и имъ не было конца. Повсюду межъ здоровыхъ ковыляли и тащились раненые, и, казалось, никто о нихъ не зналъ и не думалъ.

Въ лощинѣ протекалъ ручеекъ. Завидѣвъ его, солдаты спѣшными толпами спускались къ нему. Какъ мухи облѣпляютъ кусокъ сахара, такъ со всѣхъ сторонъ люди облѣпляли скудный ручеекъ, впивались въ него черными, потрескавшимися губами и пили теплую, взбаломученную колесами воду.

Напились и пожарцы. Обтирая рукавами рты, они выбрались по откосу изъ оврага и вошли въ рощицу. Въ тѣни солнце не жгло.

— Покуримъ,—коротко предложилъ Лобановъ.

Они сѣли на китайскую могилку, густо поросшую травой, и стали крутить изъ газетной бумаги папироски. Лобановъ сидѣлъ, понуривъ голову, поддерживая руками раненую ногу. Его лицо, покрытое густымъ слоемъ желтовато-сѣрой пыли, выглядѣло, какъ лицо трупа.

Алешка, прищурившись, смотрѣлъ на тянувшіеся по дорогѣ обозы.

— Казенное добро спасаютъ! — иронически замѣтилъ онъ. — А солдатъ для нихъ не казенное добро. Ранили тебя — ложись подъ могилку и издыхай, — все равно, что собака!

У Лобанова все кружилась голова; онъ осторожно легъ бокомъ на могилку и закрылъ глаза. На сосѣдней могилкѣ сидѣлъ ефрейторъ Сергѣевъ съ двумя артиллеристами и тихо, охваченный недоумѣніемъ, разсказывалъ:

— ...Вбѣжали мы въ деревню, видимъ, во рву трое копошатся. Привалили ихъ воротами, — ну, проклятые попались, теперь не уйдете!.. Подняли ворота,—что же это? Братъ мой милый! Никого нѣту...

Артиллеристъ вздохнулъ и молчалъ, думая свою думу.

— Потому, изъ окоповъ онъ никакъ не вылазитъ, — заговорилъ онъ.—Кабы вылѣзъ, его бы въ минуту раздѣлали. А онъ окопы большіе себѣ сдѣлалъ и сидитъ. И окоповъ то не видать, вотъ какое дѣло. А наши батареи на горкахъ стояли. Онъ съ ранняго утра какъ пошелъ крушить,—

Боже мой, что было! На пѣхоту и не смотритъ, — все въ насъ шраннелью, шимозой ихней. Народу сколько побилъ, орудій, а самого не видать. Офицеры въ бинокль всѣ глаза проглядѣли,—не видать, откуда стрѣльба. А то бы мы имъ вотъ какъ бы показали!

И другіе всѣ стали разсказывать. Разсказывали, какъ онъ боится штыка, какъ удираетъ, лишь только дойдетъ до дѣла, вдругъ появляется тамъ, гдѣ его никто не ждалъ, и,—далекій, неуловимый,—засыпаетъ нашихъ пулями и снарядами. И въ голосѣ разсказчиковъ звучало, какъ будто они оправдывались передъ кѣмъ-то невидимымъ, который слушалъ и насмѣшливо улыбался.

Алешка шумно вздохнулъ и, поднявъ брови, почесалъ въ затылкѣ.

— Нѣтъ, турка была куда попридурковатѣе! А эта попалась,—никакимъ средствомъ не возьмешь!

Лобановъ лежалъ бокомъ на могилкѣ и угрюмо смотрѣлъ на дорогу. Безъ конца тянулись батареи, обозы, колонны пѣхоты; сквозь пыль сверкали подъ солнцемъ острыя иглы штыковъ, и въ ихъ грозной щетинѣ было теперь что-то обидно-безсильное.

— Гляди, что это? Никакъ плѣнные... — сказалъ Сергѣевъ.

Отъ ручья поднималась къ рощѣ кучка невысокихъ людей въ черныхъ курткахъ, въ прямыхъ, какъ будто дѣтскихъ, картузикахъ съ желтыми околышами; кругомъ шелъ конвой.

Всѣ повскакали съ могилокъ и поспѣшили къ плѣннымъ.

Солдаты густымъ кольцомъ тѣснились вокругъ плѣнныхъ. Японцы сидѣли на травѣ, худые, маленькіе, какъ мальчики, съ черными отъ загара лицами. Солдаты напирали другъ на друга, вытягивали шеи и съ жаднымъ пожирающимъ любопытствомъ смотрѣли. Пять дней они бились съ японцами—и видѣли ихъ теперь въ первый разъ!.. Плѣнные словно не замѣчали устремленныхъ на нихъ взглядовъ и вполголоса равнодушно перекидывались непонятными словами. И эти грозные, таинственные враги,—такіе они были

маленькіе, ничтожные, съ такими обычными, ничего не выражавшими лицами! Какъ будто изъ темныхъ пучинъ моря часто звучало загадочное, могучее пѣніе, трепетомъ смутнаго ужаса оно охватывало души, и вотъ извлекли кого-то изъ глубины,—и были странно-осязаемы, необычны именно своею обычностью эти маленькія существа, совсѣмъ не подходившія къ представленію о нихъ.

— Да я бы на этакихъ одинъ противъ десятка вышелъ!— въ изумленіи воскликнулъ Алешка.

Лобановъ съ сосредоточенною ненавистью оглядывалъ японцевъ.

— Да нешто онъ валитъ? Пуля валитъ,—угрюмо возразилъ онъ.—Волъ семи четвертей, а и того пуля валитъ... Я бы вотъ всѣхъ этихъ однимъ прикладомъ перебилъ бы и штыка не сталъ бы марать.

И у всѣхъ была одна мысль: если бы только добраться до нихъ, неуловимыхъ и далекихъ...

Проходилъ офицеръ. Онъ на минуту остановился и, засунувъ руки въ карманы, оглядѣлъ японцевъ.

— Теперь видите, сукины дѣти, отъ кого вы бѣгаете?— съ пренебрежительною усмѣшкою обратился онъ къ солдатамъ.

Солдаты встрепенулись и молча оглянулись на офицера. Никто не отдалъ чести, никто изъ курившихъ не спряталъ папироски. Подъ ихъ темными взглядами офицеръ повернулся и развалистою походкою пошелъ дальше.

— Бѣгаемъ-то за вашимъ братомъ слѣдомъ! — громко сказалъ Лобановъ.

Офицеръ слышалъ, но притворился, что не слышитъ, а солдаты дружно и злорадно захохотали вдогонку.

— Да-а, какъ отступать, такъ они всѣ впереди,—протянулъ Алешка.—А въ аттаку бѣжать,—«впередъ, ребята!», а сами за могилку... А мы что? Наше дѣло овечье.

Они побрели дальше. Подъемы стали теперь выше, спуски круче; съ высокихъ мѣстъ видно было, какъ налѣво межъ горъ блистало море. По прежнему тучи пыли стояли надъ дорогою, попрежнему было душно и хотѣлось пить. Солнце садилось. Лобановъ и Алешка шли теперь среди ка-

кихъ-то чужихъ солдатъ. Лобановъ ковылялъ, опираясь на винтовку, и въ мутившейся головѣ ему опять представлялось, что онъ топчется на мѣстѣ, а горы и деревья медленно движутся назадъ.

У дороги, на покатомъ склонѣ горы, стояла большая роща. Они вошли подъ густыя, развѣсистыя деревья. Солнце сѣло, на западѣ сверкалъ подъ зарею краешекъ моря. Въ рощѣ стоялъ непрерывный, смутный шорохъ.

Лобановъ остановился.

— Ну, Алеша, ты... этого... Ты, братъ, иди! А я тутъ посижу, отдохну маленько.

— А съ чего жъ мнѣ-то не посидѣть?—удивился Алешка.—Одинъ останешься—не пойдешь... Чудакъ! Ты думаешь, онъ разговаривать съ тобой станетъ? Сейчасъ кишки выпуститъ, больше ничего.

— Думается, не обидно ли тебѣ будетъ,—нерѣшительно возразилъ Лобановъ.

Алешка беззаботно повелъ плечами.

— Ну, чего тамъ! Какая обида!

Лобановъ медленно опустился на землю. Алеша сѣлъ рядомъ, глубоко вздохнулъ и сталъ крутить папироску.

Съ моря тянуло легкою прохладою; смутные, странные шорохи шевелились и ползали въ густой листвѣ. Гдѣ-то далеко бухали пушки. Съ юга медленно поднималась черная туча. По пустынной, шедшей въ сторону, дорогѣ порывомъ пронесся вѣтеръ, пыль весело и задорно взвилась кверху; роща какъ будто вздохнула, и по ней пошелъ угрюмый ропотъ.

Лобановъ, сидя, прислонился спиною ко пню, закрылъ глаза,—и сразу глубоко заснулъ, какъ будто упалъ въ темную и мягкую яму.

— Василей!.. Вася!!

Алешка осторожно дергалъ Лобанова за рукавъ; голосъ его былъ странно-серьезный и срывался.

— Ва-ася!.. Вставай. Гляди...

— Что такое?!

Лобановъ встряхнулся и сѣлъ. Было темно. Тотъ же смутный, трепещущій шорохъ стоялъ въ рощѣ, и творилось

въ ней что-то странное: въ темнотѣ медленно ползали какія-то голубоватыя полосы, яркія пятна скользили по листвѣ, гасли и вспыхивали опять.

— Что это? Надо быть, молнія,—успокоительно сказалъ Лобановъ, но и самъ этому не повѣрилъ.

— Грому-то не слыхать,—упавшимъ голосомъ возразилъ Алешка.

Было тихо, жутко. И вдругъ въ рощѣ все погасло. Огромный голубой лучъ беззвучно метнулся вверхъ, пробѣжалъ по низкимъ, лохматымъ тучамъ и опустился на дальнюю сопку.

Средь деревьевъ затопали лошади; изъ темноты взвились надъ лежавшими черныя, храпящія тѣни; одна лошадь перепрыгнула черезъ Алешку и шарахнулась въ сторону.

— Черти! На дорогѣ разлеглись!—сердито выругался казакъ, сдерживая испуганную лошадь.

— Земляки! Что это тамъ?—крикнулъ Лобановъ.

— Свѣтъ-то энтотъ? Прожекторъ японскій, съ моря... Канонерки въ бухту вошли,—торопливо отвѣтилъ казакъ.

Разъѣздъ помчался дальше. По дорогѣ сплошнымъ потокомъ двигались черные обозы, слышались хриплые крики и ругательства.

Опять по чернымъ, лохматымъ облакамъ пробѣжалъ лучъ, и опять все кругомъ странно освѣтилось. Изъ темной зловѣщей дали по рощѣ шарилъ какъ будто чей-то загадочный, свѣтящійся взглядъ. Онъ перекидывался на сосѣднія сопки, на перевалы, медленно скользилъ по дорогамъ и опять начиналъ шарить въ рощѣ. По чернымъ мѣшавшимъ другъ другу обозамъ проносился безпокойный трепетъ; крики и ругательства звучали напряженнѣе и озлобленнѣе.

Лобановъ и Алешка сидѣли тѣсно другъ возлѣ друга; въ ихъ душахъ медленно наросталъ острый, сосредоточенный ужасъ. Всего ужаснѣе было то, что лучъ шарилъ такъ зловѣще-молчаливо, что не видно было, откуда онъ идетъ, а между тѣмъ чувствовалось, что гдѣ-то тамъ, въ темной дали кто-то все видитъ,—видитъ все и готовитъ что-то. Что? Объ этомъ мысли не было, было только смутное, без-

конечно-жуткое движеніе. И исчезли изъ памяти видѣнные сегодня маленькіе люди въ дѣтскихъ картузикахъ,—въ недоступной дали таился кто-то огромный, всевидящій и безмѣрно-могучій.

Далеко за рощею чуть слышно бухнулъ выстрѣлъ, въ темнотѣ зародился непрерывно-тянущійся, свистящій звукъ. Какъ будто медленно разрывалась какая-то воздушная завѣса. Звукъ почти не усиливался, онъ только равномѣрно становился все выше, выше, выше...

— Баа-ахъ!..

На отрогѣ сосѣдней сопки ярко блеснулъ огонь и оглушительно треснуло. Лобановъ и Алешка вскочили на ноги и бросились бѣжать. Вдали межъ деревьевъ ярко и жгуче тоже сверкнуло что-то.

— Ба-ахъ!—пронеслось по рощѣ, и роща ахнула въ отвѣтъ. Въ взвившихся клубахъ огненнаго дыма съ трескомъ валились на землю суки деревьевъ.

Лобановъ и Алешка въ слѣпомъ ужасѣ мчались отъ рощи. Лобановъ забылъ про свою рану и бѣжалъ, какъ только мальчишкою бѣгалъ вперегонки. По дорогѣ бѣшено бился и крутился огромный черный потокъ людей, лошадей и повозокъ. Люди съ безумными лицами похлестывали лошадей, фуры мчались и толкались, цѣпляясь другъ за друга. На козлахъ накренившейся повозки мелькнула фигура солдата съ хватающимися за воздухъ руками, раздался отчаянный крикъ:

— Браа-аа...

И крикъ оборвался внизу въ черной гущѣ кативщихся колесъ.

— Ба-ахъ!.. Бахъ! Бахъ!..

Разорвалась еще шимоза, за нею двѣ другія. Откуда-то сзади пронесся протяжный вопль. Лобановъ и Алешка въ толпѣ другихъ солдатъ поспѣшно карабкались вдоль откоса надъ дорогою. Лобановъ цѣплялся за камни и со страхомъ чувствовалъ, что повязка на его ногѣ становится все мокрѣе и горячѣе.

Дорога суживалась, прижимаясь къ откосу, за нею чернѣлъ крутой обрывъ. По дорогѣ мчались гуськомъ повозки,

а сбоку, стараясь врѣзаться въ ихъ рядъ, неслись на трехъ парахъ лошадей артиллеристы съ зарядным ящикомъ. На всемъ скаку они столкнулись съ повозкою, зарядный ящикъ качнулся; лошади вздымались на дыбы на краю обрыва, ѣздовые злобно ругались, и ящикъ, люди, лошади,—все посыпалось съ кручи.

— Братцы!.. Помоги-ите!...—неслись снизу изъ темноты стонущіе крики.

— Пора тамъ!—пробормоталъ Алешка, усмѣхнувшись себѣ подъ носъ.—А ч-чортъ!..—Онъ со злобою отшвырнулъ свою винтовку, и она покатилась въ темноту.

За откосомъ шелъ спускъ, поросшій кустами, потомъ опять подъемъ. Лобановъ взбирался вдоль глубокой промоины, хватаясь слабѣющими руками за траву; повязка на его ногѣ совсѣмъ промокла и по бедру непрерывно бѣжала горячая, липкая струйка. На склонахъ сопокъ сверкали и лопались снаряды. Въ головѣ Лобанова мутилось, смертная тоска охватила сердце; онъ хотѣлъ крикнуть Алешкѣ: «Прощай, братъ!» — вдругъ странно всхлипнулъ, какъ будто икнулъ, и повалился лицомъ въ траву.

Все заволоклось въ сознаніи. Только снаряды словно все продолжали лопаться, чаще, громче; теперь это были непрерывные раскаты, какъ будто сопки вокругъ взлетали на воздухъ, сталкивались и разбивались въ куски. А самъ онъ будто бы несся въ холодной рѣкѣ, мучительно хотѣлось пить и никакъ не удавалось захватить губами воды.

Лобановъ очнулся и медленно поднялъ голову. Лилъ дождь, черное небо бороздили молніи, громъ гремѣлъ непрерывными раскатами. По промоинамъ неслись въ долину пѣнистые потоки.

Кругомъ было пустынно. На дорогѣ при вспышкахъ молніи тоже никого уже не было видно. И зловѣщій лучъ вдали погасъ, какъ будто его залилъ дождь. Лобановъ напился изъ потока и осмотрѣлъ свою рану: она была крѣпко перевязана какою-то тряпкою, и кровь изъ нея ужъ не шла. Одежда его промокла насквозь, его трясла дрожь. На душѣ было чувство одиночества и полнаго безразличія.

Опираясь на винтовку, Лобановъ поднялся и побрелъ къ дорогѣ.

Изъ-подъ куста торчала пола шинели и двѣ скорченныхъ ноги въ стоптанныхъ, намокшихъ сапогахъ. Лобановъ тронулъ ногу прикладомъ. Нога зашевелилась и подтянулась подъ шинель.

— Эй! Землякъ!—хмуро кликнулъ Лобановъ.

Отвѣта не было. Лобановъ заглянулъ въ кустъ. Сверкнула молнія. Подъ вѣтвями, свернувшись калачикомъ, безмятежно спалъ Алешка.

— Алешка! Братъ!—закричалъ Лобановъ и радостно бросился его расталкивать.

Алешка потянулся и, зѣвая, сѣлъ. А Лобановъ, радостно смѣясь и плача, цѣловалъ его милое, рябое, мокрое отъ дождя лицо. Онъ понялъ, кто перевязалъ ему ногу, понялъ, что подъ сыпавшимися снарядами, охваченный ужасомъ, Алешка все-таки не бросилъ его.

— Братъ!.. Бра-атъ!..—всхлипывая, повторялъ Лобановъ, и слезы текли по его безкровному лицу.

Алешка поежился отъ холода и поднялся на ноги.

— Время идти,—сумрачно сказалъ онъ.

Лицо у него было блѣдное, усталое и помятое.

Они поднялись на дорогу. Гроза уходила, сѣялъ мелкій дождь, небо на востокѣ свѣтлѣло.

— Покурить бы раньше, что ли?—вздохнулъ Алешка.

Они сѣли на камень около дороги. По дорогѣ никто ужъ не ѣхалъ. Въ грязи лежала опрокинувшаяся тяжело нагруженная фура, виднѣлась голова солдата, придавленнаго кладью; дождь сѣялъ на его мертвое, грязно-восковое лицо. Дальше, на поворотѣ дороги, чернѣлъ уродливый, втоптанный въ грязь трупъ, исполосованный колесами. Изъ обрыва, куда свалились артиллеристы, все неслись протяжные стоны.

По намокшей, вязкой дорогѣ медленно плелся разъѣздъ казаковъ.

— Землячки, вы чего тутъ разсѣлись? Вставайте! Мы послѣдніе, за нами японецъ идетъ съ пулеметами.

Теперь ихъ это совсѣмъ не испугало. Было все равно. Хотѣлось только согрѣться и спать, спать... Они вяло поднялись и побрели, волоча ноги по вязкой грязи.

На востокѣ становилось все свѣтлѣй.

Н. ГАРИНЪ

РЕВЕККА

Святочная легенда

(Посвящается моему лучшему другу Е. Ю. Подруцкому)

Это было очень давно.

По улицамъ одного большого южнаго города, амфитеатромъ спускающагося къ синему безпредѣльному морю, изо дня въ день, лѣто и зиму, бродила странная фигура сумасшедшаго.

Глаза зрителей привыкали къ сумасшедшему, къ его фантастическому костюму, и никто больше не интересовался, откуда и кто онъ.

Однажды въ рождественскую ночь нашли его замерзшимъ у подножья одного изъ оригинальныхъ полуразрушенныхъ памятниковъ заброшеннаго кладбища.

Оригинальность памятника чувствовалась уже издали. Въ немъ была устроена Эолова арфа, которая, при малѣйшемъ дуновеніи вѣтра, издавала, въ зависимости отъ силы вѣтра, то легкій, слабый, дрожащій не то стонъ, не то жалобу, или мольбу, то даже безумные вопли растерзанной души.

Самый памятникъ состоялъ изъ высокой пирамиды, на верху которой въ синемъ небѣ нѣжно вырисовывалось чудное изваяніе изъ каррарскаго мрамора женской фигуры.

Въ застывшей позѣ тоски и сомнѣнія, съ наклоненной головой, изваяніе, казалось, всматривалось или искало что-то потерянное тамъ на землѣ.

Короткая надпись: «Я разбилъ ея счастье»; пустота и безмолвіе заброшеннаго кладбища, — все вмѣстѣ тоскливо

останавливало въ этомъ преддверіи вѣчности взглядъ рѣдкаго посѣтителя, въ безполезномъ усиліи проникнуть въ потерявшуюся тайну этого конца какой-то тяжелой драмы жизни.

I.

Не надо было больше старому Бену его толстыхъ книгъ, высокой конторки, всѣхъ тѣхъ людей, которые столько лѣтъ ходили и, казалось, не могли жить безъ него.

Въ пустыхъ безъ него комнатахъ сразу воцарился безпорядокъ, и большія внушительныя книги его счетовъ никому больше не были нужны. Старые черепаховые очки лежали на конторкѣ и напрасно своими запыленными стеклами уныло смотрѣли на дверь, откуда появлялась бывало маленькая чистая фигура въ своемъ національномъ костюмѣ стараго Бена.

Онъ уже прошелъ послѣдній разъ въ свою спальню.

На большой, розоваго дерева, кровати онъ лежалъ въ широкой бѣлой рубахѣ; пожелтѣвшая старая борода тихо шевелилась на костлявой высохшей груди; глаза ввалились и не смотрѣли больше въ книгу; неподвижный взглядъ былъ обращенъ вверхъ и, казалось, пронизывалъ и рвался изъ тлѣнныхъ рамокъ земной обстановки.

Ревекка смотрѣла на своего дѣдушку сквозь слабый сумракъ пробивающагося дня и тоскливо думала. Съ нимъ лежало и отходило куда-то въ вѣчность все ея дѣтство, всѣ 16 лѣтъ прожитыхъ нераздѣльно со старымъ дѣдомъ, съ его легкими шагами, его конторкой, очками и толстыми книгами были связаны всѣ ея воспоминанія, всѣ мелочи жизни. Теперь эти мелочи живо вставали и больно сжимали сердце своей отлетѣвшей прелестью. Онъ любилъ ее всегда, даже въ минуты, когда сердился на свою упрямую, горячую внучку.

Старый Бенъ отвелъ глаза и смотрѣлъ на Ревекку. Казалось, впервые свободный навсегда отъ поглотившихъ всю

его жизнь занятій, онъ замѣчалъ нѣжную прелесть и красоту своей заплаканной, разстроенной любимицы.

Старый Бенъ тихо заговорилъ:

— Люди, Ревекка, думаютъ только передъ смертью, и когда они думаютъ, тогда понимаютъ и говорятъ себѣ, что жили не такъ, какъ надо жить людямъ...

Онъ на мгновеніе закрылъ глаза:

— Тогда они вспоминаютъ законъ Бога, котораго никто не хочетъ исполнять...

Старый Бенъ тяжело вздохнулъ.

— Въ тебѣ кровь нашего рода. Ты мнѣ напоминаешь мою молодость, то время, когда я былъ женихомъ твоей бабки, а моей двоюродной сестры. Я люблю тебя и тебѣ оставляю всѣ мои богатства. Богъ тебѣ далъ, сверхъ того, красоту, умъ, голосъ, отъ котораго ангелы плачутъ на небѣ. Когда я умру... не плачь Ревекка, — я много жилъ, много видѣлъ неправды, я усталъ и радъ буду уйти туда, гдѣ отецъ мой Іегова... Тамъ ждетъ меня не послѣднее мѣсто, Ревекка... Нашъ царственный родъ отъ колѣна Давида...

Ты одна изъ тѣхъ, кто подаритъ міру Мессію. Твоя сестра не подаритъ... Когда я умру, приходи на могилу и пой мнѣ свои пѣсни, чтобы я зналъ, что не забываешь ты своего стараго дѣда. Пой, чтобъ могъ я позвать весь свой родъ и показать имъ тебя... Ревекка, ты не посрамила родъ, и не жаль мнѣ оставить тебѣ все мое богатство. Господь наградитъ тебя больше, и прославится родъ твой въ родъ. Ты одна осталась на землѣ отъ всего нашего рода. Не говори о сестрѣ твоей! Пусть красота ея ядомъ изсушитъ проклятаго гоя! Пусть онъ проклятый измѣнитъ ей и раздавитъ ей жизнь, какъ измѣнила она своей вѣрѣ, своимъ предкамъ, своимъ братьямъ, которыхъ бросила, когда Господь отвернулъ отъ нихъ лицо свое... О, нѣтъ казни той, которою не накажетъ Онъ ее за это! Нѣтъ, Ревекка, не плачь! Не стоитъ она твоихъ слезъ. Не смотри и на мои слезы... Я простилъ бы ей всѣ грѣхи... измѣну... убійство... Но ея грѣхъ хуже... я не могу ее простить — не въ моей это власти: всѣмъ измѣнила... И ты, Ревекка, не смѣешь... Слышишь, Ревекка?! Слышишь ты Бога своего? Слышишь народъ свой? Слышишь

ты стоны его? Видишь ты пытки, костры и мученія... Видишь и слышишь ты наглый ихъ смѣхъ, издѣвательство ихъ надъ народомъ... Ревекка?! Кровью пусть сердце твое...

Старый Бенъ захлебнулся и упалъ мертвый на подушку.

II.

Молодой художникъ Антоній встрѣтилъ на старомъ кладбищѣ и страстно полюбилъ 17-ти лѣтнюю, хрупкую тѣломъ, но сильную духомъ, нѣжную Ревекку.

Все плѣняло его въ Ревеккѣ: ея голосъ, когда она пѣла свои пѣсни дѣду, непринужденныя движенія ея гибкаго стана, синіе большіе глаза, ея страстная рѣчь, густая волна каштановыхъ волосъ.

Ревекка не знала, что Антоній любитъ ее, и не боялась съ нимъ встрѣчъ у могилы своего дѣдушки, мирно спавшаго на старомъ кладбищѣ, подъ мраморной плитой съ таинственнымъ изображеніемъ на ней двухъ раскрытыхъ ладонями вверхъ соприкоснувшихся рукъ.

Антоній говорилъ ей о своихъ путешествіяхъ, о прекрасной веснѣ, которая окружала ихъ; говорилъ о ея голосѣ и о тѣхъ голосахъ, которые слышалъ.

Молодой воздухъ былъ такъ чистъ и прозраченъ, такъ нѣженъ былъ ароматъ млѣющей въ яркихъ лучахъ теплаго солнца травы; такъ уютно было среди безмолвныхъ мавзолеевъ, вѣчнымъ сномъ спавшихъ владѣльцевъ ихъ; такъ не мѣшали они смотрѣть въ чудные глаза Ревекки, — что Антоній и не замѣтилъ, какъ однажды сладко и нѣжно прозвучало первое слово любви. Вспыхнула Ревекка и вдругъ отразила въ своихъ глазахъ и синее небо, и яркое солнце, и всѣ чары юной весны.

Но она поборола себя сильной волей, потушила огонь, обжегшій ее, и тихо, твердо покачала головой.

— Нѣтъ, нѣтъ,—не надо...

— Ревекка, твой языкъ говоритъ не то, что говорятъ твои глаза.

— Мои глаза, — загадочно проговорила она, подымая ихъ на Антонія, написанная на непонятномъ для тебя языкѣ книга, Антоній.

— Я изучилъ этотъ языкъ, Ревекка, и читаю теперь эту книгу...

— Ты не можешь читать книгу Талмуда...

— Наша вѣра, вѣра вашихъ предковъ... Христосъ отъ васъ пришелъ, Ревекка,

— Но ты не можешь жениться на мнѣ?

— Могу. Ты примешь вѣру своихъ предковъ.

— Нѣтъ.

— Но что же дѣлать, Ревекка, противъ законовъ?

Если нельзя противъ законовъ людей, во власти которыхъ и мѣнять ихъ, то нельзя и противъ вѣры, которую Боги даютъ и не даютъ власти ее мѣнять.

— Но Ревекка...

— Нѣтъ, нѣтъ!! Я чужая для тебя книга... Ты вѣдь не перемѣнишь вѣру отцовъ своихъ?

— Ревекка...

— Ни за что!!

И глаза ея сверкнули дикимъ огнемъ воли, охвативъ съ новой силой Антонія.

— О, Ревекка! я тебя полюбилъ и отнынѣ нѣтъ жизни безъ тебя!

Онъ страстно схватилъ ея руку.

— Пусти!!

И Ревекка, сдвинувъ энергично брови, устремила такой властный взглядъ своихъ молодыхъ глазъ на Антонія, что тотъ выпустилъ ея руку.

Ревекка ушла и больше не приходила. Напрасно Антоній писалъ ей и проводилъ дни въ ожиданіи ея прихода.

Наконецъ, Антоній узналъ, что Ревекка совсѣмъ исчезла изъ города. Напрасно онъ искалъ ея слѣдовъ: родные Ревекки скрыли все такъ искусно, что Антоній ничего не узналъ.

«Ревекка, это письмо передадутъ тебѣ твои родные, я уѣзжаю. Знай, что вся жизнь моя принадлежитъ тебѣ: ты

можешь никогда не придти, но когда бы ты ни пришла, ты найдешь меня своимъ. Вѣрь, я не умѣю лгать, и, когда ты захочешь, ты убѣдишься въ этомъ».

III.

Прошло нѣсколько лѣтъ.

Въ одной изъ столицъ, въ большомъ театрѣ шли «Гугеноты». Въ роли Валентины дебютировала Ревекка, превратившаяся въ обаятельную артистку. Театръ сверкалъ, залитый огнями.

Успѣхъ Ревекки былъ полный.

Уже извѣстный художникъ Антоній, потрясенный, смотрѣлъ въ знакомыя черты, и нѣсколько лѣтъ разлуки превращались въ одинъ быстро промчавшійся день. Ничего не забыла память. Антоній умѣлъ любить и помнить. Онъ вновь переживалъ то, что было пережито, что оставило свой вѣчный слѣдъ и въ душѣ, и въ работѣ художника. Цѣлая отдѣльная мастерская, цѣлый рядъ картинъ, его святая святыхъ, куда первая должна была войти Ревекка, или никто, были слѣдомъ случайной встрѣчи. Оскорбленный тогда, онъ уѣхалъ, но жилъ и вѣрилъ и съ окончаніемъ своей задуманной работы ждалъ ту, которая поглотила всѣ его чувства и мысли. Ревекка была его Беатриче, и холодный страхъ проникалъ иногда въ его душу отъ мысли, что нѣтъ больше на свѣтѣ его Беатриче или живетъ она давно для другого.

Теперь Беатриче во всемъ блескѣ прелести, силы обаянія и царственной красоты была передъ нимъ непередаваемымъ инстинктомъ, и въ ней онъ чувствовалъ слѣдъ ихъ встрѣчи. Онъ говорилъ ей тогда о сценѣ, искалъ и указывалъ въ ней слѣды артистки, онъ бросилъ первую искру въ то, что вспыхнуло и горѣло теперь такимъ чуднымъ огнемъ.

Въ очарованномъ видѣніи проносились въ жгучей фантазіи Антонія дѣйствія сцены. Музыка, игра, неземной голосъ Ревекки уносили его въ потокѣ чудныхъ звуковъ въ

далекій прошлый міръ, въ нѣкогда живое мучительное мгновеніе Варѳоломеевской ночи.

Казалось ему, что это онъ былъ съ ней въ этотъ страшный канунъ неотразимо надвигавшейся ночи, съ жгучей тревогой слушая эту больную музыку больного народа, больного чувства, то бурно, грозно рвущагося наружу, то сладко нѣмѣющаго въ больной мелодіи танца цыганокъ.

Но когда въ четвертомъ дѣйствіи безсильная въ цѣпяхъ человѣческихъ оковъ заметалась Валентина, и въ смертельной тоскѣ театръ замеръ, осыпанный страстнымъ каскадомъ серебряныхъ непередаваемыхъ звуковъ страданій, въ грудь Антонія, охваченную огнемъ личныхъ ощущеній, проникли тонкіе крючья этихъ страданій и рвали мучительно и сладко его сердце.

Не было больше смысла въ жизни безъ Ревекки: можно было еще жить, пока она была далека. Но мысль, что она здѣсь, въ одномъ городѣ съ нимъ, и нѣтъ ея около него, что другіе окружали ее, другіе заботились о ней, другимъ дарила она свои слова, улыбку, ласку, — жгла, рвала его сердце и тянула къ ней съ тою силою чувства, предъ которою и сама смерть была бы ничтожнымъ доказательствомъ этого поглотившаго весь его міръ чувства.

Жажда свиданія и страхъ этого свиданія мучили Антонія, и все кончилось тѣмъ, что онъ рѣшился написать ей. Но всевозможныя опасенія сковали его чувство, и письмо вышло сдержанное, короткое и ничего не передало изъ того, что съ нимъ происходило.

Мучительный отвѣтъ не замедлилъ.

«Разговоръ на кладбищѣ никогда не сотрется въ моемъ сердцѣ: я осталась та же и останусь навсегда. И моя, и людская воля безсильны здѣсь. Если васъ утѣшитъ это, то узнайте, что вы причина того, что я стала артисткой: безъ дѣда и васъ скучно и пусто было, и, спасаясь тогда отъ васъ, чтобъ забываться, я рѣшила заняться своимъ голосомъ. Я въ своей пѣснѣ, вы въ своемъ искусствѣ—забудемъ о томъ, что невозможно. Высшее счастье въ жизни—право уважать себя, и увы! нѣтъ той жизни, при которой мы могли бы сблизиться безъ нарушенія этого права. Про-

щайте! Прошу и приказываю вамъ, и говорю: при малѣйшей попыткѣ сблизиться со мной, я брошу все и навсегда скроюсь».

Антоній не умѣлъ брать,—онъ умѣлъ только страстно желать, страдать и чувствовать себя безсильнымъ ребенкомъ передъ препятствіями. Оскорбленный, страдающій, съ задатками наслѣдственной иппохондріи, онъ рѣзко прекратилъ свое общеніе со всѣми и заперся въ своей мастерской. Онъ даже не могъ ходить въ театръ. Смотрѣть безъ всякихъ правъ на ту, которая безраздѣльно владѣла всей его жизнью, было для него источникомъ все новыхъ и непосильныхъ мученій. Были и другія страданія. Ревниво боготворя Ревекку, онъ видѣлъ ее, окруженную жадной до наслажденій толпой театра, которой и дарила она это неземное наслажденіе. Взамѣнъ, отъ толпы она получала презрительную кличку «жидовка». Это унизительное чуьство за толпу страстный Антоній переживалъ до потери самообладанія.

IV.

Ревекка узнала, что Антоній заболѣлъ, и рѣшила пріѣхать къ нему. Она не боялась за себя и свое рѣшеніе.

Антоній сидѣлъ, углубленный въ работу, когда вдругъ вошла въ мастерскую Ревекка.

Мрачные, безжизненные глаза Антонія остановились на ней и, узнавъ ее, вспыхнули и загорѣлись.

И этотъ рѣзкій переходъ, и этотъ жгучій взглядъ охватили Ревекку сильнымъ порывомъ.

— Что съ тобою, Антоній?

Это прежнее забытое обращеніе не удивило Антонія.

— Я не знаю...—отвѣтилъ онъ.—Говорятъ, что я сойду съ ума...

Антоній угрюмо оборвался.

— Отъ любви?—спросила Ревекка, и вмѣстѣ съ опасеньемъ зазвучала въ ея голосѣ дразнящая насмѣшка.

— Отъ любви не сходятъ, Ревекка,—грустно и спокойно отвѣтилъ Антоній,—сходятъ отъ негодныхъ нервовъ.

Онъ замолчалъ и замеръ.....

Наступило стѣснявшее Ревекку молчаніе.

— Это все твои картины, Антоній?—спросила она, подходя къ одной изъ нихъ.

— Мои, Ревекка.

— Ахъ, какая это прелесть, — воскликнула Ревекка, всматриваясь въ этюдъ прозрачнаго голубого неба, съ шестомъ и бѣлой тряпкой, привязанной къ нему.

— Антоній, вѣдь это воздухъ... имъ можно дышать... это прозрачное небо... и бѣлый платокъ... ты нарочно или нечаянно сдѣлалъ вонъ ту точку... Ахъ, это птица паритъ... Антоній, вѣдь это — сама жизнь!

— Тебѣ нравится?—спросилъ Антоній съ горькимъ удовлетвореннымъ чувствомъ, больно зазвучавшимъ въ его голосѣ.

И опять наступило молчаніе.

Антоній не хотѣлъ говорить, и у Ревекки оборвалось желаніе вести безсодержательный разговоръ.

Антоній, зачѣмъ ты встрѣтилъ меня!? — тоскливо, не зная, что дѣлать, проговорила Ревекка.

Я покажу тебѣ, зачѣмъ я встрѣтилъ тебя...—вспыхнулъ Антоній, и глаза его гордо и вдохновенно загорѣлись.

Онъ взялъ ее за руку и повелъ къ задрапированнымъ картинамъ. Онъ отдергивалъ, объяснялъ, переходилъ съ Ревеккой отъ одной къ другой, еще болѣе чудной картинѣ.

Онъ говорилъ, ставилъ Ревекку на такое разстояніе, какое нужно было, и Ревекка смотрѣла и слушала странный, убѣжденный, наболѣвшій голосъ Антонія, и чѣмъ больше слушала, тѣмъ больше проникалась она безконечной силой его любви къ ней, безъ одного слова объ этой любви. Въ каждомъ звукѣ его голоса, въ каждомъ движеніи, въ каждой картинѣ была эта любовь, было сознаніе, что она для него все, вся цѣль его жизни.

— Ты сама артистка, Ревекка, и муки искусства и сила его обаянія тебѣ должны быть понятны...

Антоній остановился нерѣшительно передъ задернутой картиной.

Ревекка инстинктивно почувствовала, что тамъ ея судьба.

— Открой,—проговорила она, и глаза ея ушли далеко въ глубь.

— Ревекка... эта картина все горе и радость моей жизни. Говорятъ, лицо самаго близкаго сердцу человѣка у нѣкоторыхъ не воспроизводитъ ихъ фантазія... черты только мелькаютъ, скользятъ, но сейчасъ же расплываются, и не въ силахъ собрать ихъ вся воля любви. Я счастливъ въ этомъ отношеніи, Ревекка...

Антоній отдернулъ занавѣску, и Ревекка молча отступила шагъ назадъ.

Передъ ней во всю величину стояла, вся залитая солнцемъ, другая Ревекка у памятника дѣда на старомъ кладбищѣ. Глаза юной Ревекки съ картины вдумчиво и грустно смотрѣли въ живую Ревекку, и этотъ взглядъ, кольнувшій упрекомъ живую, наполнилъ сердце Ревекки какой-то гнетущей пустотой безсодержательной жизни. Нѣжный, млѣющій, будто дрожащій, прозрачный воздухъ, голубое небо, бѣлые мавзолеи, зелень деревьевъ, дорожка, возлѣ которой стояла Ревекка, съ взрытымъ на одномъ мѣстѣ свѣжимъ, желтымъ пескомъ—все, все вызывало въ ней связь съ этимъ умчавшимся прошлымъ.

— Какое блаженство, Антоній, въ живописи: что передъ ней пѣснь? Споешь, и гдѣ она? а твое искусство вѣчно, Антоній.

Антоній горько усмѣхнулся.

— Ты говоришь объ искусствѣ?! Безсильно даже между нами, служителями этого искусства, сбросить мѣшающія жить тяжелыя цѣпи людского рабства... Къ чему тогда это искусство?!

Глаза Антонія загорѣлись мрачнымъ огнемъ.

— Будь проклято, оно, заманивающее въ соблазнительную даль недостижимыхъ иллюзій!

Блѣдный Антоній дрожалъ, и глаза его дико сверкали.

Ревекка съ испугомъ смотрѣла на него.

— Нѣтъ, не хочу!—съ воплемъ тоски и отчаянія рванулся Антоній къ кинжалу и, схвативъ его, замахнулся надъ картиной.

Понявъ, что онъ хочетъ сдѣлать, Ревекка, охваченная уже не ей принадлежавшей силой, страстно закрыла картину собою.

Антоній смотрѣлъ на Ревекку и отъ прилившей къ головѣ крови не видѣлъ ее. Будто вѣки закрылись, и онъ напрасно силился снова открыть ихъ.

— Ревекка... только два слова... два слова правды... освѣти мнѣ мракъ души моей... Если не любишь, я покорюсь и до послѣдней минуты буду работать... Я защищу свой трудъ отъ безумныхъ порывовъ... но правду скажи... Правду, Ревекка... Я узнаю то, какъ бы глубоко ни старалась ты спрятать ее въ своей душѣ.. Ревекка, я знаю ее!.—вскрикнулъ вдругъ, не помня себя отъ счастья, Антоній, почувствовавъ въ освѣтившемся мракѣ его души взглядъ глубокихъ замершихъ глазъ Ревекки...

— Безумство, Антоній! Сладкія чары первыхъ порывовъ быстро пройдутъ... я связалъ свою жизнь... жизнь съ жидовкой, ты никуда не войдешь рядомъ со мною...

— Я вездѣ войду, и не найду, и не пущу къ себѣ людей, для которыхъ звукъ ихъ слова дороже счастья ихъ братьевъ.

— Это огонь словъ... Общество...

Какое общество? которое посягаетъ на священное право любви? Я не пойду въ это общество.

— Оно запутаетъ насъ въ своихъ искусныхъ лабиринтахъ. Оно владѣетъ страшнымъ оружіемъ... оно умѣетъ смѣяться... и зло...

— Нѣтъ, Ревекка, нѣтъ!—страстно заговорилъ Антоній,—надъ чѣмъ смѣяться?! Надъ тѣмъ, надъ чѣмъ мое сердце обливается кровью? Смѣяться?! За то, что я не могу ненавидѣть страдающихъ въ безвыходной нуждѣ, Ревекка?

Антоній подвелъ ее къ картинѣ, на которой изображена была нищая многочисленная еврейская семья съ

отцомъ этой семьи, сидящимъ на своемъ табуретѣ и низко нагнувшимся надъ заплаткой дыряваго сапога.

— Надъ этимъ смѣяться? Пусть смѣются, Ревекка, если имъ не больно будетъ отъ ихъ смѣха. Смѣхъ страшенъ для убѣжденнаго человѣка. Но для того, кто цѣною жизни готовъ заплатить за свою любовь, не страшенъ и безсиленъ смѣхъ. Вездѣ и всегда былъ смѣхъ, но не удержалъ онъ людей отъ лучшихъ страницъ ихъ исторіи. Есть другой смѣхъ, Ревекка.

Антоній подошелъ къ другой картинѣ.

Зелено-прозрачный жидокъ, весь въ пуху, грязный, съ рыжей, клиномъ бородкой, сидѣлъ на столѣ и смѣялся.

— Ты видишь, всѣ десять лицъ его семьи смѣются тѣмъ же добрымъ веселымъ смѣхомъ. Этотъ смѣхъ нищаго жидка, поддерживающій бодрость духа обездоленной горсти людей, поддерживающій тяжелый, треснувшій сводъ ихъ жизни,—этотъ смѣхъ отъ Бога, Ревекка. И этотъ смѣхъ, какъ камень изъ праща Давида...

Ревекка закрыла ротъ Антонію горячимъ поцѣлуемъ.

— Ты—мой Давидъ. Ты дѣйствительно любишь меня и мой бѣдный народъ... я твоя, Антоній, вся твоя на вѣки...

Солнце играло въ высокой мастерской, на картинахъ, на яркихъ драпировкахъ, тамъ, вверху, играло въ разноцвѣтномъ граненомъ фонарѣ.

Тамъ, за громаднымъ окномъ, былъ большой городъ, рѣка и даль рѣки, была весна, нѣжная, чудная, неуловимая, какъ ажурная паутина только что пробивающейся листвы, съ воздухомъ, полнымъ аромата, съ стихающимъ вечеромъ.

Гдѣ-то вдали протяжно и долго звучала высокая нота шарманки.

Замиралъ шумъ большого города, въ позолотѣ заката, въ мирной дали тонула рѣка и тамъ, дальше, просторъ полей, и такъ прекрасенъ былъ кончающійся первый день ихъ счастья.

Антоній и Ревекка стояли у этого окна взволнованные, счастливые, полные огня и прелести очарованія первыхъ порывовъ любви, когда все,—все въ себѣ и кругомъ, и весь

міръ вдругъ становится новымъ, такимъ неизвѣданнымъ и прекраснымъ, когда отъ счастія захватывается въ груди дыханіе, и чувствуется неземная сила порыва.

— Антоній, какое чудное мгновеніе!... — шептала Ревекка.

— Вся наша жизнь, Ревекка, будетъ однимъ такимъ мгновеніемъ!—страстно отвѣтилъ Антоній.

V.

Не вся.

Прошло три года, и Антоній измѣнилъ Ревеккѣ.

«Милая Лія, писала Ревекка,—пріѣзжай помогать мнѣ. Я потеряла сына, голосъ и мужа. Ты одна осталась у меня на землѣ; я иду по слѣдамъ моей сестры, и ошибки другихъ никого не учатъ. Моя жизнь разбита, и я не вынесла даже утѣшенія, что этой цѣной узнала ее. Все та же ночь вокругъ меня.

Мнѣ одно ясно: мракъ моего ума, и я проклинаю этотъ унизительный мракъ. Это горе, Лія, больше личнаго горя. Мы приходимъ на праздникъ жизни и поздно узнаемъ, что это бой, а не праздникъ. Праздныя мы живемъ въ жалкой роли безсильныхъ рабовъ любви и право наше одно: погибать отупѣлыми, когда властители наши пожелаютъ этого. Все мое состояніе отдаю я, Лія, на знаніе. Если не я, пусть другія идутъ съ этимъ факеломъ въ жизни.

Знаніе истинное, Лія, истинное пониманіе тамъ у мірового источника этого знанія. Я устрою дворецъ, Лія, чудный настоящій дворецъ, и имя владыки дворца я жемчугомъ выбью на входѣ: «Истинное знаніе». О, Лія, какъ тяжело сознавать, чѣмъ могла бы быть жизнь и какъ ничтожно проходитъ она у людей!»

VI.

Еще два года прошло.

— Все кончено,—проговорила Ревекка, и горькія слезы закапали по ея блѣднымъ щекамъ.

Горькіе, какъ эти слезы, одинъ за другимъ, послѣдніе дни молодой жизни закапали въ вѣчность.

Ревекка лежала на кровати и говорила:

— Что такое, Лія, еще одна растоптанная жизнь... Пусть и она пропадетъ, и пусть каждый въ свою очередь повторяетъ передъ смертью слова дѣда.

Ревекка закрыла глаза.

— Лія! Умирая и этого не стоитъ говорить... Тѣ, кто умиралъ подъ колесницами побѣдителей, молчали. Будемъ молчать, Лія.

Однажды Ревекка лежала въ застывшей позѣ, свѣсивъ голову съ подушки, и ея большіе, ввалившіеся глаза смотрѣли на ярко блестѣвшій полъ.

— Милая Ревекка, проговорила чуткая сердцемъ, съ добрыми ласковыми глазами, Лія, — онъ искалъ и нашелъ тебя... онъ здѣсь, онъ хочетъ тебя видѣть.

— Къ чему—проговорила Ревекка, смотря все также въ полъ,—трогательную сцену разыграть: поздно, Лія!.,

— О, Ревекка, онъ хочетъ самъ все объяснить тебѣ. Онъ такъ страдаетъ!

Ревекка молчала.

— Что сказать ему, Ревекка?

— Скажи ему, что когда-то сказалъ онъ мнѣ: я умираю не отъ любви, а отъ негоднаго сердца.

Но вдругъ съ безумной тоской закричала:

— Ахъ, нѣтъ, не надо! Ничего не говори.

И, рыдая, она спрятала лицо въ подушку.

Но Антоній уже осыпалъ ее страстными поцѣлуями.

— Ревекка, прости...

Не вынесло и разорвалось наболѣвшее сердце.

Антоній продолжалъ цѣловать уже непод ижную голову своей Ревекки, ея мягкіе волосы, чувствуя въ нихъ еще искру той, которая на вѣкъ оставила землю...

VII.

На какой-то странной больной почвѣ усиленно стала работать мысль Антонія: Ревекка не умерла и снова скоро придетъ къ нему.

Смутное сознаніе заставляло его скрывать отъ всѣхъ свою тайну. Можетъ быть, какъ всякій сумасшедшій съ предвзятой мыслью прежде выполненія этой мысли искусно маскируетъ свое сумасшествіе, такъ и Антоній, задумавъ увѣковѣчить память Ревекки памятникомъ, который выразилъ бы его мысль, до изготовленія памятника, упорно скрывалъ свой секретъ о томъ, что Ревекка не умерла. Онъ нарисовалъ самъ высокій мавзолей съ слетающей на землю радостной и чудной Ревеккой, съ надписью: «Тебя ждетъ твой Антоній» и отправилъ его для выполненія въ Италію. Когда готовое изваяніе было прислано на старое кладбище и поставлено, Антоній, вмѣсто веселой, слетающей радостно Ревекки, увидѣлъ вдругъ въ ясной синевѣ неба чудное, но чужое ему далекое изваяніе изъ каррарскаго мрамора съ опущенной головой, точно застывшее въ выраженіи тоски и тревоги.

Тогда Антоній уничтожилъ уже сдѣланную надпись и замѣнилъ ее словами: «я разбилъ ея жизнь».

VIII.

Вскорѣ въ расплывшейся пустотѣ его разума всѣ мысли погасли. Онъ ходилъ вѣчно спѣшащій, сосредоточенный, молчаливый и страшный по улицамъ большого города.

И только въ рѣдкія мгновенія, когда вдругъ доносился скорбный зовъ Эоловой арфы, возвращалась къ нему память о Ревеккѣ.

Съ крикомъ «зоветъ» бросался несчастный на зовъ.

Но вѣтеръ стихалъ или, за поворотомъ улицы, больше не было слышно зова, Антоній забывалъ и снова спѣшилъ куда-то по улицамъ города.

Иногда сочетаніе дѣйствительной жизни съ чѣмъ-нибудь прошлымъ, случайно и рѣдко бросавшееся ему въ глаза, на мгновеніе воскрешало въ немъ былое.

Такъ, однажды, онъ увидѣлъ въ окно кареты жестъ, махнувшей кому-то женской руки въ черной перчаткѣ, и лицо его вдругъ задрожало, глаза жалобно уставились въ

исчезавшій экипажъ и съ дѣтскимъ воемъ онъ бросился за нимъ.

Когда раздавались звуки шарманки, онъ останавливался, вытягивалъ шею и напряженно, съ безсмысленно бѣгавшими глазами замиралъ и прислушивался къ какому-то нѣжному эху души, какихъ-то чудныхъ воспоминаній.

Однажды, ярко сверкнулъ блестѣвшій на солнцѣ пустой нарядный катафалкъ, стоявшій у подъѣзда.

Смерть и похороны промелькнули въ больномъ сознаніи Антонія и безжалостно рванули его сердце.

Съ безумнымъ воплемъ тоски и отчаянія бросился онъ на катафалкъ въ дикой надеждѣ найти забвеніе своимъ страданіямъ въ бѣшеномъ срываніи блестящихъ украшеній катафалка.

Всѣ привыкли къ этой странной фигурѣ и, когда она вырисовывалась вдругъ въ перспективѣ улицы, то въ сіяніи жаркихъ лучей лѣтняго солнца, то въ сѣромъ полумракѣ гнилой зимы,—никто ужъ не думалъ и не интересовался, и всѣ только спѣшили подальше обойти его.

IX.

Была исключительная для юга холодная зима.

Короткій день подходилъ къ концу. Вѣтеръ уныло завывалъ, рвалъ въ узкихъ и пустыхъ улицахъ. Рѣдкій прохожій торопливо спѣшилъ къ своему очагу.

Антоній шелъ по улицѣ, по обыкновенію не замѣчая ни холода, ни надвигавшейся ночи.

Въ воздухѣ пронесся жалобный протяжный стонъ. Антоній вздрогнулъ и насторожился.

Новый требовательный вопль огласилъ пустую улицу.

— Зоветъ!—вскричалъ Антоній и рванулся впередъ.

Неясно вырисовывалась безконечная кладбищенская ограда.

Здѣсь, на просторѣ, злѣе бушевала вьюга и, срываясь со скалистыхъ обрывовъ, неслась съ воемъ въ темную бездну грохотавшаго тамъ внизу необъятнаго моря.

Антоній направился къ знакомому пролому въ оградѣ кладбища.

Сквозь голыя деревья въ вихряхъ снѣга бѣлѣли неподвижные мавзолеи, колонны и плиты.

Вдали показался тяжелый мавзолей, а его стоны и мольбы точно превратились въ страшный надрывающійся ревъ.

— Здѣсь!—прохрипѣлъ радостно безумный и, присѣвъ, вперилъ свой горящій взоръ вверхъ.

Холодная буря леденила его ноги и руки, холодъ проникалъ подъ легкую одежду, голова тяжелѣла и падала, но онъ опять поднималъ ее и смотрѣлъ туда, откуда звали его ужасные вопли, гдѣ въ туманѣ неясно вырисовывалась, словно качающаяся во мглѣ бури, фигура, и, замирая, Антоній радостно шепталъ, повторяя кому-то свою завѣтную тайну:

— Она придетъ.

Онъ сталъ медленно впадать въ тяжелое и сладкое забытье. По замерзавшему тѣлу несчастнаго разливалось послѣднее мучительное и жгучее томленіе.

— Пришла!

Уже въ отлетавшемъ сознаніи воспоминаніе о блаженствѣ и счастіи пронеслось въ головѣ успокоившагося на вѣки Антонія.

А оттуда, изъ мрака ночи, съ далекой высоты, казалось, еще тревожнѣе, еще тоскливѣе, испуская ужасные вопли, всматривалось чудное изваяніе въ уродливую чуждую ей фигуру безумца.

Всю ночь бушевала и стонала буря, завывая тысячами дикихъ страшныхъ голосовъ; точно все горе земли всколыхнулось и заметалось въ тосклиеомъ просторѣ.

Все громче стонала Эолова арфа, точно стараясь осилить поднявшійся вой, но могучѣе подхватывалъ свистъ урагана, и новыя силы летѣли къ нему на подмогу. Дрогнуло чудное изваяніе, уступивъ, наконецъ, дружному натиску бури. Тихо качнулось оно, съ тяжелымъ вздохомъ упало на землю и въ прахѣ поверглось передъ страдальцемъ земли.

Къ утру стихла буря. Далекое голубое небо нѣжно об-

няло нарядную землю. Милліонами искръ въ отвѣтъ въ праздничномъ блескѣ свѣжаго снѣга сверкала земля.

Все исчезло въ этомъ праздникѣ природы подъ яркимъ покровомъ, и только пустое жерло обвалившагося мавзолея уродливо, безмолвно смотрѣло темнымъ глазомъ въ голубой эфиръ далекаго неба...

А. КУПРИНЪ

КАКЪ Я БЫЛЪ АКТЕРОМЪ

Эту печальную и смѣшную исторію—болѣе печальную, чѣмъ смѣшную—разсказывалъ мнѣ какъ-то одинъ пріятель, человѣкъ, проведшій самую пеструю жизнь, бывавшій, что называется, и на конѣ и подъ конемъ, но вовсе не утратившій подъ хлыстомъ судьбы ни сердечной доброты, ни ясности духа. Лишь одна эта исторія отразилась на немъ нѣсколько страннымъ образомъ: послѣ нея онъ разъ на всегда пересталъ ходить въ театръ и до сихъ поръ не ходитъ, какъ бы его ни уговаривали.

Я постараюсь передать разсказъ моего пріятеля, хотя и боюсь, что мнѣ не удастся это сдѣлать въ той простой формѣ, съ той мягкой и грустной насмѣшкой, какъ я его слышалъ.

I.

Ну вотъ. Представляете ли вы себѣ скверный южный уѣздный городишко? Посрединѣ эдакая огромная колдобина, гдѣ окрестные хохлы, по поясъ въ грязи, продаютъ съ телѣгъ огурцы и картофель. Это базаръ. Съ одной его стороны соборъ и, конечно, Соборная улица, съ другой—городской скверъ, съ третьей—каменные городскіе ряды, у которыхъ желтая штукатурка облупилась, а на крышѣ и на карнизахъ сидятъ голуби; наконецъ, съ четвертой стороны, впадаетъ главная улица, съ отдѣленіемъ какого-то банка, съ почтовой конторой, съ нотаріусомъ и съ парикмахеромъ Теодоромъ изъ Москвы. В- -ностяхъ города, въ раз-

ныхъ тамъ Засельяхъ, Замостьяхъ, Зарѣчьяхъ былъ расквартированъ пѣхотный полкъ, въ центрѣ города стоялъ драгунскій. Въ городскомъ скверѣ возвышался лѣтній театръ. Вотъ и все.

Впрочемъ, надо еще прибавить, что и самый городъ, съ его думой и реальнымъ училищемъ, а также скверъ, и театръ, и мостовая на главной улицѣ—все это существуетъ благодаря щедротамъ мѣстнаго милліонера и сахарозаводчика Харитоненко.

II.

Какъ я попалъ туда—длинная исторія. Скажу вкратцѣ. Я долженъ былъ встрѣтиться въ этомъ городкѣ съ однимъ моимъ другомъ, съ настоящимъ, царство ему небесное, истиннымъ другомъ, у котораго, однако же, была жена, которая по обыкновенію всѣхъ женъ нашихъ истинныхъ друзей, терпѣть меня не могла. И у него и у меня было по нѣскольку тысячъ, скопленныхъ тяжелымъ трудомъ: онъ, видите ли, служилъ много лѣтъ педагогомъ и въ то же время страховымъ инспекторомъ, а я цѣлый годъ счастливо игралъ въ карты. Однажды мы съ нимъ набрели на весьма выгодное предпріятіе съ южнымъ барашкомъ и рѣшили рискнуть. Я поѣхалъ впередъ, онъ долженъ былъ пріѣхать двумя-тремя днями позже. Такъ какъ мое ротозѣйство было уже давно извѣстно, то общія деньги хранились у него, хотя въ разныхъ пакетахъ, ибо мой другъ былъ человѣкъ аккуратности нѣмецкой.

И вотъ начинается градъ несчастій. Въ Харьковѣ на вокзалѣ, пока я ѣлъ холодную осетрину соусъ провансаль, у меня вытащили изъ кармана бумажникъ. Пріѣзжаю въ С. (это тотъ самый городишко, о которомъ идетъ рѣчь) съ той мелочью, что была у меня въ кошелькѣ и съ тощимъ, но хорошимъ англійскимъ чемоданомъ. Останавливаюсь въ гостинницѣ—конечно Петербургской—и начинаю посылать телеграмму за телеграммой. Гробовое молчаніе. Да, да, именно гробовое, потому что въ тотъ самый часъ, когда воръ тащилъ мой бумажникъ—представьте, какія шутки шутитъ

судьба!—въ этотъ часъ мой другъ и компаньонъ умеръ отъ паралича сердца, сидя на извощикѣ. Всѣ его вещи и деньги были опечатаны, и по какимъ-то дурацкимъ причинамъ эта волокита съ судейскими чинами продолжалась полтора мѣсяца. Знала ли убитая горемъ вдова, или не знала о моихъ деньгахъ — мнѣ неизвѣстно. Однако, телеграммы мои она всѣ получила, до одной, но молчала упорно, молчала изъ мелочной, ревнивой и глупой женской мести. Впрочемъ, эти телеграммы сослужили мнѣ впослѣдствіи большую пользу. Уже по снятіи печатей, совсѣмъ незнакомый мнѣ человѣкъ, присяжный повѣренный, ведшій дѣло о вводѣ въ наслѣдство, обратилъ случайно на нихъ вниманіе, пристыдилъ вдову и на свой страхъ перевелъ мнѣ прямо на театръ пятьсотъ рублей. Да и то сказать—это были не телеграммы, а трагическіе вопли моей души по двадцать и по тридцать словъ.

II.

Итакъ я сижу въ Петербургской гостинницѣ уже десятый день. Вопли души совершенно истощили портмонэ. Хозяинъ—мрачный, заспанный, лохматый хохолъ съ лицомъ убійцы—уже давно не вѣритъ ни одному моему слову. Я ему показываю нѣкоторыя письма и бумаги, изъ которыхъ онъ могъ бы и т. д... но онъ пренебрежительно отворачиваетъ лицо и сопитъ. Подъ конецъ мнѣ приносятъ обѣдать, точно Ивану Александровичу Хлестакову: «хозяинъ сказалъ, что это въ послѣдній разъ»...

И, вотъ, наступилъ день, когда въ моемъ карманѣ остался одинъ сиротливый, позеленѣлый двугривенный. Въ это утро хозяинъ грубо сказалъ мнѣ, что ни кормить меня, ни держать больше не станетъ, а пойдетъ къ господину приставу и пожалится. По тону его я понялъ, что этотъ человѣкъ рѣшился на все.

Я вышелъ изъ гостинницы и весь день блуждалъ по городу. Помню, заходилъ я въ какую-то транспортную контору и еще куда-то просить мѣста. Понятно, мнѣ отказали съ перваго же слова. Иногда я присаживался на одну

изъ зеленыхъ скамеекъ, что стояли вдоль тротуара главной улицы, между высокими пирамидальными тополями. Голова у меня кружилась, меня тошнило отъ голоду. Но ни на секунду мысль о самоубійствѣ не приходила мнѣ въ голову. Сколько, сколько разъ въ моей путаной жизни бывалъ я на краю этихъ мыслей, но глядишь, прошелъ годъ, иногда мѣсяцъ, а то и просто десять минутъ, и вдругъ все измѣнилось, все опять пошло удачно, весело, хорошо... И въ этотъ день, бродя по жаркому, скучному городу, я только говорилъ самому себѣ: «да-съ, дорогой Павелъ Андреевичъ, попали мы съ вами въ переплетъ».

Хотѣлось ѣсть. Но по какому-то тайному предчувствію я все берегъ мои двадцать копѣекъ. Уже вечерѣло, когда я увидѣлъ на заборѣ красную афишу. Мнѣ все равно нечего было дѣлать. Я машинально подошелъ и прочиталъ, что сегодня въ городскомъ саду даютъ трагедію Гуцкова «Уріэль Акоста» при участіи такихъ-то и такихъ-то. Два имени были напечатаны большимъ чернымъ шрифтомъ: артистка петербургскихъ театровъ г-жа Андросова и извѣстный харьковскій артистъ г. Лара-Ларскій; другіе были помельче: г-жи Вологодская, Медвѣдева, Струнина-Дольская, гг. Тимофѣевъ-Сумскій, Акименко, Самойленко, Нелюбовъ-Ольгинъ, Духовской. Наконецъ самымъ меньшимъ наборомъ стояло: Петровъ, Сергѣевъ, Ивановъ, Сидоровъ, Григорьевъ, Николаевъ и др. Режиссеръ г. Самойленко. Директоръ-распорядитель г. Валерьяновъ.

На меня снизошло внезапное, вдохновенное, отчаянное рѣшеніе. Я быстро перебѣжалъ напротивъ, къ парикмахеру Теодору изъ Москвы и на послѣдній двугривенный велѣлъ сбрить себѣ усы и остренькую бородку. Боже праведный! Что за угрюмое, босое лицо взглянуло на меня изъ зеркала! Я не хотѣлъ вѣрить своимъ глазамъ. Вмѣсто тридцатилѣтняго мужчины не слишкомъ красивой, но во всякомъ случаѣ порядочной наружности, тамъ, въ зеркалѣ, напротивъ меня сидѣлъ, обвязанный по горло парикмахерской простыней,—старый, прожженный, заматерѣлый провинціальный комикъ, со слѣдами всяческихъ пороковъ на лицѣ и къ тому же явно нетрезвый.

— Въ нашемъ театрѣ будете служить?—спросилъ меня парикмахерскій подмастерье, отрясая простыню.

— Да!—отвѣтилъ я гордо.—Получи!

IV.

По дорогѣ къ городскому саду я размышлялъ:

— Нѣтъ худа безъ добра. Они сразу увидятъ во мнѣ стараго опытнаго воробья. Въ такихъ маленькихъ лѣтнихъ театрикахъ каждый лишній человѣкъ полезенъ. Буду на первый разъ скроменъ... рублей пятьдесятъ... ну сорокъ въ мѣсяцъ. Будущее покажетъ... Попрошу авансъ... рублей въ двадцать... нѣтъ, это много... рублей въ десять... Первымъ дѣломъ пошлю потрясающую телеграмму... пятью пять—двадцать пять, да ноль—два съ полтиной, да пятнадцать за подачу—два рубля шестьдесятъ пять... На остальные какъ-нибудь продержусь, пока не пріѣдетъ Илья... Если они захотятъ испытать меня... ну что жъ... я имъ произнесу что-нибудь...—вотъ хотя бы монологъ Пимена.

И я началъ вслухъ, вполголоса, торжественнымъ утробнымъ тономъ:

Еще одно-о послѣ-ѣднее сказа-анье.

Прохожій отскочилъ отъ меня въ испугѣ. Я сконфузился и крякнулъ. Но я уже подходилъ къ городскому саду. Тамъ игралъ военный оркестръ; по дорожкамъ, шаркая ногами, ходили тоненькія мѣстныя барышни въ розовомъ и голубомъ, безъ шляпокъ, а за ними увивались съ непринужденнымъ смѣхомъ, заложивъ руки за бортъ кителя, съ бѣлыми фуражками на бекрень, мѣстные писцы, телеграфисты и акцизники.

Ворота были открыты настежь. Я вошелъ. Кто-то пригласилъ меня получить изъ кассы билетъ, но я спросилъ небрежно: гдѣ здѣсь распорядитель г. Валерьяновъ? Мнѣ тотчасъ же указали на двухъ бритыхъ молодыхъ господъ, сидѣвшихъ неподалеку отъ входа на скамейкѣ. Я подошелъ и остановился въ двухъ шагахъ.

Они не замѣчали меня, занятые разговоромъ, но я успѣлъ разсмотрѣть ихъ: одинъ въ легкой панамѣ и въ

свѣтломъ фланелевомъ костюмѣ съ синими полосками имѣлъ притворно благородный видъ и гордый профиль перваго любовника и слегка поигрывалъ тросточкой; другой, въ сѣренькой одеждѣ, былъ необыкновенно длинноногъ и длиннорукъ, ноги у него какъ будто бы начинались отъ середины груди, и руки, вѣроятно, висѣли ниже колѣнъ,—благодаря этому, сидя, онъ представлялъ изъ себя причудливую ломанную линію, которую, впрочемъ, легко изобразить при помощи складного аршина. Голова у него была очень мала, лицо въ веснушкахъ и живые черные глаза.

Я скромно откашлялся. Они оба повернулись ко мнѣ.

— Могу я видѣть г. Валерьянова — спросилъ я ласково.

— Это я,—отвѣтилъ рябой,—что вамъ угодно?

— Видите ли, я хотѣлъ...—у меня что-то запершило въ горлѣ—я хотѣлъ предложить вамъ мои услуги въ качествѣ... въ качествѣ тамъ второго комика или... вотъ... третьяго простака... Также и характерныя...

Первый любовникъ всталъ и удалился, насвистывая и помахивая тросточкой.

— А вы гдѣ раньше служили?—спросилъ г-нъ Валерьяновъ.

Я только одинъ разъ былъ на сценѣ, когда игралъ Макарку въ любительскомъ спектаклѣ, но я судорожно напрягъ воображеніе и отвѣтилъ:

— Собственно ни въ одной солидной антрепризѣ, какъ напримѣръ, ваша, я до сихъ поръ не служилъ... Но мнѣ приходилось играть въ маленькихъ труппахъ въ юго-западномъ краѣ... Онѣ такъ же быстро распадались какъ и создавались... напримѣръ Мариничъ... Соколовскій... и еще тамъ другіе...

— Слушайте, а вы не пьете? вдругъ огорошилъ меня г. Валерьяновъ.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ я безъ запинки. — Иногда передъ обѣдомъ, или въ компаніи, но совсѣмъ умѣренно.

Г. Валерьяновъ поглядѣлъ, щуря свои черные глаза на песокъ, подумалъ и сказалъ:

— Ну хорошо... я беру васъ. Пока что двадцать пять

рублей въ мѣсяцъ, а тамъ посмотримъ. Да, можетъ быть, вы и сегодня будете нужны. Идите на сцену и спросите помощника режиссера Духовского. Онъ васъ представитъ режиссеру.

Я пошелъ на сцену и дорогой думалъ: почему онъ не спросилъ моей театральной фамиліи. Вѣроятно забылъ? А можетъ быть просто догадался, что у меня никакой фамиліи нѣтъ? Но на всякій случай я тутъ же по пути изобрѣлъ себѣ фамилію—не особенно громкую, простую и красивую—Осининъ.

V.

За кулисами я разыскалъ Духовского—вертляваго мальчугана съ испитымъ воровскимъ лицомъ. Онъ въ свою очередь представилъ меня режиссеру—Самойленкѣ. Режиссеръ игралъ сегодня въ пьесѣ какую-то героическую роль и потому былъ въ театральныхъ золотыхъ латахъ, въ ботфортахъ и въ гримѣ молодого любовника. Однако, сквозь эту оболочку я успѣлъ разобрать, что Самойленко толстъ, что лицо у него совершенно кругло, и на этомъ лицѣ два маленькихъ острыхъ глаза и ротъ, сложенный въ вѣчную баранью улыбку. Меня онъ принялъ надменно и руки мнѣ не подалъ. Я уже хотѣлъ отойти отъ него, какъ онъ сказалъ:

— Постойте-ка... какъ васъ... я не разслышалъ фамиліи.

— Васильевъ!—услужливо подскочилъ Духовской.

Я смутился, хотѣлъ поправить ошибку, но было уже поздно.

— Вы вотъ что, Васильевъ... Вы сегодня не уходите... Духовской, скажите портному, чтобы Васильеву дали куту.

Такимъ-то образомъ изъ Осинина я и сдѣлался Васильевымъ и остался имъ до самаго конца моей сценической дѣятельности, въ ряду съ Петровымъ, Ивановымъ, Николаевымъ, Григорьевымъ, Сидоровымъ и др. Неопытный актеръ—я лишь спустя недѣлю догадался, что среди этихъ громкихъ именъ лишь одно мое прикрывало реальное лицо. Проклятое созвучіе погубило меня!

Пришелъ портной—тощій, хромой человѣкъ, надѣлъ на меня черный длинный саванъ съ рукавами и заметалъ его съ верху до низу. Потомъ пришелъ парикмахеръ. Я въ немъ узналъ того самаго подмастерья отъ Теодора, который только что меня брилъ, и мы дружелюбно улыбнулись другъ другу. Парикмахеръ надѣлъ на мою голову черный парикъ съ пейсами. Духовской вбѣжалъ въ уборную и крикнулъ: «Васильевъ, гримируйтесь же!» Я сунулъ палецъ въ какую-то краску, но сосѣдъ слѣва, суровый мужчина съ глубокомысленнымъ лбомъ, оборвалъ меня:

— Развѣ не видите, что лѣзете въ чужой ящикъ? Вотъ общія краски.

Я увидѣлъ большой ящикъ съ ячейками, наполненными смѣшавшимися грязными красками. Я былъ какъ въ чаду. Хорошо было Духовскому кричать «гримируйтесь!», а какъ это дѣлается? Но я мужественно провелъ вдоль носа бѣлую черту и сразу сталъ похожъ на клоуна. Потомъ навелъ себѣ жестокіе брови. Сдѣлалъ подъ глазами синяки. Потомъ подумалъ: что бы мнѣ еще сдѣлать? Прищурился и устроилъ между бровей двѣ вертикальныя морщины. Теперь я походилъ на предводителя команчей.

— Васильевъ, приготовьтесь!—крикнули сверху.

Я поднялся изъ уборной и подошелъ къ полотняным сквозящимъ дверямъ задней стѣнки. Меня ждалъ Духовской.

— Сейчасъ вамъ выходить. Фу, чортъ, на кого вы похожи. Какъ только скажутъ: «нѣтъ, онъ вернется»—идите! Войдете и скажите... Онъ назвалъ какое-то имя собственное, которое я теперь забылъ... «Такой-то требуетъ свиданья»...—и назадъ. Поняли?

— Да.

... Нѣтъ онъ вернется!—слышу я и, оттолкнувъ Духовского, стремлюсь на сцену. Чортъ его побери, какъ зовутъ этого человѣка? Секунда, другая молчанія... Зрительный залъ, точно черная шевелящаяся бездна. Прямо предо мной на сценѣ ярко освѣщены лампой незнакомыя мнѣ, грубо намазанныя лица. Всѣ смотрятъ на меня напряженно. Духовской шепчетъ что-то сзади, но я ничего не могу разо-

брать. Тогда я вдругъ выпаливаю голосомъ торжественнаго укора:

— Да! Онъ вернулся!

Мимо меня проносится, какъ ураганъ, въ своемъ золотомъ панцырѣ Самойленко. Слава Богу! Я скрываюсь за кулисы.

Въ этомъ спектаклѣ меня употребляли еще два раза. Въ той сценѣ, гдѣ Акоста громитъ еврейскую рутину и потомъ падаетъ, я долженъ былъ подхватить его на руки и волочить за кулисы. Въ этомъ дѣлѣ мнѣ помогалъ пожарный солдатъ, наряженный въ такой же черный саванъ, какъ и я. (Почемъ знать, можетъ быть, онъ у публики сошелъ за Сидорова?) Уріэлемъ Акостой оказался тотъ самый актеръ, что сидѣлъ давеча съ Валерьяновымъ на скамейкѣ; онъ же былъ и извѣстный харьковскій артистъ Лара-Ларскій. Подхватили мы его довольно неловко—онъ былъ мускулистъ и тяжелъ,—но, къ счастію, не уронили. Онъ только сказалъ намъ шепотомъ: «чтобъ васъ чертъ, олухи!» Также благополучно мы его протащили сквозь узкія двери, хотя долго потомъ вся задняя стѣна древняго храма раскачивалась и волновалась.

Въ третій разъ я присутствовалъ безъ словъ при судѣ надъ Акостой. Тутъ случилось маленькое происшествіе, о которомъ не стоило бы и говорить. Просто, когда вошелъ Бенъ-Акиба, и всѣ передъ нимъ встали, я, по ротозѣйству, продолжалъ сидѣть. Но кто-то больно щипнулъ меня выше локтя и зашипѣлъ:

— Вы съума сошли. Это Бенъ-Акиба! Встаньте!

Я поспѣшно всталъ. Но ей-Богу я не зналъ, что это Бенъ-Акиба Я думалъ: такъ себѣ, старичекъ.

По окончаніи пьесы Самойленко сказалъ мнѣ:

— Васильевъ, завтра въ одиннадцать на репетицію.

Я возвратился въ гостинницу, но, узнавъ мой голосъ, хозяинъ захлопнулъ дверь. Ночь я провелъ на одной изъ зеленыхъ скамеечекъ между тополями. Спать мнѣ было тепло, и во снѣ я видѣлъ славу. Но холодный утренникъ и ощущеніе голода разбудили меня довольно рано.

VI.

Ровно въ половинѣ одиннадцатаго я пришелъ въ театръ. Никого еще не было. Только по саду бродили кое-гдѣ заспанные лакеи изъ лѣтняго ресторана въ бѣлыхъ передникахъ. Въ зеленой рѣшетчатой бесѣдкѣ, затканной дикимъ виноградомъ, для кого-то приготовляли завтракъ или утренній кофе.

Потомъ я узналъ, что здѣсь каждое утро завтракали на свѣжемъ воздухѣ—распорядитель театра г. Валерьяновъ и старая бывшая актриса Булатова-Черногорская, дама лѣтъ 65-ти, которая содержала какъ театръ, такъ и самого распорядителя.

Была постлана свѣжая блестящая скатерть, стояли два прибора, и на тарелкѣ лежали двѣ горки нарѣзаннаго хлѣба, бѣлаго и ситнаго..

Тутъ идетъ щекотливое мѣсто. Я въ первый и въ послѣдній разъ сдѣлался воромъ. Быстро оглянувшись кругомъ, я юркнулъ въ бесѣдку и растопыренными пальцами схватилъ нѣсколько кусковъ хлѣба. Онъ былъ такой мягкій! такой прекрасный! Но когда я выбѣжалъ наружу, то вплотную столкнулся съ лакеемъ. Не знаю, откуда онъ взялся, должно быть, я его не замѣтилъ сзади бесѣдки. Онъ несъ судокъ съ горчицей, перцемъ и уксусомъ. Онъ строго поглядѣлъ на меня, на хлѣбъ въ моей рукѣ и сказалъ тихо:

— Это что же такое?

Какая-то жгучая, презрительная гордость колыхнулась во мнѣ. Глядя ему прямо въ зрачки, я отвѣтилъ тихо:

— Это то... что съ третьяго дня, съ четырехъ часовъ... я ровно ничего не ѣлъ.

Онъ вдругъ повернулся и, не говоря ни слова, поспѣшно побѣжалъ куда-то. Я спряталъ хлѣбъ въ карманъ и сталъ ждать. Сразу стало мнѣ жутко и весело! «Чудесно!—думалъ я, вотъ сейчасъ прибѣжитъ хозяинъ, соберутся лакеи, засвистятъ полицію... подымется гамъ, ругань, свалка... О, какъ великолѣпно буду я бить эти самые тарелки и судки объ ихъ головы. Я искусаю ихъ до крови».

Но вотъ, я вижу, мой лакей бѣжитъ ко мнѣ... и одинъ. Немного запыхался. Подходитъ ко мнѣ бокомъ, не глядя. Я тоже отворачиваюсь... И вдругъ онъ изъ-подъ фартука суетъ мнѣ въ руки большой кусокъ вчерашней говядины, заботливо посоленный, и умоляюще шепчетъ:

— Пожалуйста... прошу васъ... кушайте.

Я грубо взялъ у него мясо, пошелъ съ нимъ за кулисы, выбралъ мѣстечко, гдѣ было потемнѣе, и тамъ, сидя между всякимъ бутафорскимъ хламомъ, съ жадностью разрывалъ зубами мясо и сладко плакалъ.

Я потомъ часто, почти ежедневно, видѣлъ этого человѣка. Его звали Сергѣемъ. Когда не случалось никого изъ посѣтителей, онъ издали глядѣлъ на меня ласковыми, преданными, просящими глазами. Но я не хотѣлъ портить ни себѣ, ни ему перваго теплаго впечатлѣнія, хотя—признаюсь—и бывалъ иногда голоденъ, какъ волкъ зимой.

Онъ былъ такой маленькій, толстенькій, лысенькій, съ черными тараканьими усами и съ добрыми глазами въ видѣ узенькихъ лучистыхъ полукруговъ. И всегда онъ торопился, присѣдая на одну ножку. Когда я получилъ, наконецъ, мои деньги, и моя театральная кабала осталась позади, какъ сонъ, и вся эта сволочь лакала мое шампанское и льстила мнѣ, какъ я тосковалъ о тебѣ, мой дорогой, смѣшной, трогательный Сергѣй! Я не посмѣлъ бы, конечно, предложить ему денегъ—развѣ можно такую нѣжность и любовь человѣческую расцѣнивать на деньги? Мнѣ просто хотѣлось оставить ему что-нибудь на память... Какую-нибудь бездѣлицу... Или подарить что-нибудь его женѣ, или ребятишкамъ—у него ихъ была цѣлая куча, и иногда по утрамъ они прибѣгали къ нему... суетливые и крикливые, какъ воробьята.

Но за недѣлю до моего чудеснаго превращенія, Сергѣя уволили со службы, и я даже зналъ за что. Ротмистру фонъ Брадке поднесли бифштексъ, поджаренный не по вкусу. Онъ закричалъ:

— Какъ подаешь, прохвостъ? Не знаешь, что я люблю съ кровью...

Сергѣй осмѣлился замѣтить, что это не его вина, а повара, и что онъ сейчасъ пойдетъ, перемѣнитъ и даже прибавилъ робко:

— Извините, сударь.

Это извиненіе совсѣмъ взбѣсило офицера. Онъ ударилъ Сергѣя по лицу горячимъ бифштексомъ и, весь багровый, заоралъ:

— Что-о? Я тебѣ сударь? Я тебѣ сударь? Я тебѣ не сударь, а государю моему штабсъ-ротмистръ! Хозяинъ! Позвать сюда хозяина! Иванъ Лукьянычъ, чтобъ сегодня же убрали этого идіота! Чтобъ его и духу не было! Иначе моя нога въ вашемъ кабакѣ не будетъ!

Штабсъ-ротмистръ фонъ Брадке широко кутилъ, и потому Сергѣя разсчитали въ тотъ же день. Хозяинъ цѣлый вечеръ уговаривалъ офицера. И я самъ, выходя во время антракта въ садъ освѣжиться, долго еще слышалъ негодующій, раскатистый голосъ, шедшій изъ бесѣдки.

— Нѣтъ, каковъ мерзавецъ! Сударь! Если бы не дамы, я бы ему такого сударя показалъ!

VII.

Между тѣмъ понемногу собрались актеры, и въ половинѣ перваго началась репетиція. Ставили пьесу «Новый Міръ», какую-то нелѣпую, балаганную сказку изъ романа Сенкевича «Quo Vadis». Духовской далъ мнѣ литографскій листикъ съ моими словами. Это была роль центуріона изъ отряда Марка Великолѣпнаго. Тамъ были отличныя громкія слова, вродѣ того, что «твои приказанія, о, Маркъ Великолѣпный, исполнены въ точности!» или: «она будетъ ждать тебя у подножія Помпеевой статуи, о, Маркъ Великолѣпный!» Роль мнѣ понравилась, и я уже готовилъ про себя мужественный голосъ этакого стараго рубаки, суроваго и преданнаго...

Но по мѣрѣ того, какъ шла репетиція, со мной стала происходить странная исторія: я, неожиданно для себя самого, началъ дробиться и множиться. Напримѣръ: матрона

Вероника кончаетъ свои слова. Самойленко, который слѣдилъ за пьесой по подлиннику, хлопаетъ въ ладоши и кричитъ:

— Вошелъ рабъ.

Никто не выходитъ.

— Господа, кто же рабъ? Духовской, поглядите, кто рабъ?

Духовской поспѣшно роется въ какихъ-то листкахъ. Раба не оказывается.

— Вымарать, что тамъ! — лѣниво совѣтуетъ Боевъ — тотъ самый резонеръ съ глубокомысленнымъ лбомъ, въ краски котораго я залѣзъ наканунѣ пальцемъ.

Но Маркъ Великолѣпный (Лара-Ларскій) вдругъ обращается:

— Нѣтъ, ужъ пожалуйста... Тутъ у меня эффектный входъ... Я эту сцену безъ раба не играю.

Самойленко мечется глазами по сценѣ и натыкается на меня.

— Да, вотъ, позвольте.. позвольте... Васильевъ, вы въ этомъ актѣ заняты?

Я смотрю въ тетрадку.

— Да. Въ самомъ концѣ...

— Такъ вотъ вамъ еще одна роль, — раба Вероники. Читайте по книгѣ. — Онъ хлопаетъ въ ладоши,—господа, прошу потише. Рабъ входитъ... «Благородная госпожа...» Громче, громче, васъ въ первомъ ряду не слышно...

Черезъ нѣсколько минутъ не могутъ сыскать раба для божественной Мерціи (у Сенкевича она—Лигія), и эту роль затыкаютъ мною. Потомъ не хватаетъ какого-то домоправителя. Опять я. Такимъ образомъ, къ концу репетиціи у меня, не считая центуріона, было еще пять добавочныхъ ролей.

Сначала у меня не ладилось. Я выхожу и говорю мои первыя слова:

О, Маркъ Великолѣпный...

Тутъ Самойленко раздвигаетъ врозь ноги, нагибается впередъ и прикладываетъ ладони къ ушамъ.

— Что-съ? Что вы такое бормочете? Ничего не понимаю.

— О, Маркъ Великолѣпный...

— Виноватъ. Ничего не слышу... Громче! Онъ подходитъ ко мнѣ вплотную. — Вотъ какъ надо это произносить... — и горловымъ козлинымъ голосомъ онъ выкрикиваетъ на весь лѣтній садъ:

— О, Маркъ Великолѣпный, твое повелѣніе... Вотъ какъ надо... Помните, молодой чаловѣкъ, безсмертное изреченіе одного изъ великихъ русскихъ артистовъ: «На сценѣ не говорятъ, а произносятъ, не ходятъ, а выступаютъ».—Онъ самодовольно оглядѣлся кругомъ.—Повторите...

Я повторилъ, но еще неудачнѣе. Тогда меня стали учить поочередно и учили до самаго конца репетиціи положительно всѣ: и гордый Лара-Ларскій съ пренебрежительнымъ и брезгливымъ видомъ, и старый оплывшій благородный отецъ Гончаровъ, у котораго дряблыя щеки въ красныхъ жилкахъ висѣли ниже подбородка, и резонеръ Боевъ, и простакъ Акименко съ искусственно наигранной миной Иванушки Дурачка... Я походилъ на задерганную дымящуюся лошадь, вокругъ которой собралась уличная толпа спеціалистовъ, а также и на слабаго новичка, попавшаго прямо изъ теплой семьи въ кругъ опытныхъ, продувныхъ и безжалостныхъ школяровъ.

На этой же репетиціи я пріобрѣлъ себѣ мелочнаго, но безпощаднаго врага, который потомъ отравлялъ каждый день моего существованія. Вотъ какъ это произошло.

Я произносилъ одну изъ своихъ безпрерывныхъ репликъ: «О, Маркъ Великолѣпный», какъ вдругъ ко мнѣ торопливо подбѣжалъ Самойленко.

— Позвольте, голуба, позвольте, позвольте, позвольте. Не такъ, не такъ. Вѣдь вы къ кому обращаетесь? Къ самому Марку Великолѣпному? Ну, стало быть, вы не имѣете ни малѣйшаго представленія о томъ, какъ въ древнемъ Римѣ подчиненные говорили съ главнымъ начальникомъ. Глядите: вотъ, вотъ жестъ.

Онъ подвинулъ правую ногу впередъ на полъ шага, нагнулъ туловище подъ прямымъ угломъ, а правую руку свѣсилъ внизъ, сдѣлавъ ладонь лодочкой.

— Видите, каковъ жестъ? Поняли? Повторите.

Я повторилъ, но жестъ вышелъ у меня такимъ глупымъ и некрасивымъ, что я рѣшился на робкое возраженіе:

— Извините... но мнѣ кажется, что военная выправка... она вообще какъ-то избѣгаетъ согбеннаго положенія... и кромѣ того... вотъ тутъ ремарка... выходитъ въ латахъ... а согласитесь, что въ латахъ...

— Извольте молчать! — крикнулъ гнѣвно Самойленко и сдѣлался пурпурнымъ. — Если вамъ режиссеръ велитъ стоять на одной ногѣ, высунувъ языкъ, вы обязаны исполнить безпрекословно. Извольте повторить.

Я повторилъ. Вышло еще безобразнѣе. Но тутъ за меня вступился Лара-Ларскій.

— Оставь, Борисъ,—сказалъ онъ нехотя Самойленкѣ,— видишь, у него не вытанцовывается. И кромѣ того, какъ ты самъ знаешь, исторія намъ не даетъ прямыхъ указаній... Вопросъ спорный...

Самойленко оставилъ меня въ покоѣ со своимъ классическимъ жестомъ. Но съ этихъ поръ онъ не пропускалъ ни одного случая, когда можно было меня оборвать, уязвить и обидѣть. Онъ ревниво слѣдилъ за каждымъ моимъ промахомъ. Онъ такъ меня ненавидѣлъ, что, я думаю, даже видѣлъ меня во снѣ каждую ночь. Что касается меня... Видите ли, съ тѣхъ поръ прошло уже десять лѣтъ, но до сего дня, какъ только я вспомню этого человѣка, злоба подымается у меня изъ груди и душитъ меня за горло. Правда, передъ отъѣздомъ... Впрочемъ, объ этомъ скажу потомъ, иначе придется повредить стройности разсказа.

Передъ самымъ концомъ репетиціи, на сцену вдругъ явился высокій длинноносый худой господинъ въ котелкѣ и съ усами. Онъ пошатывался, задѣвалъ за кулисы, и глаза у него были совсѣмъ, какъ двѣ оловянныя пуговицы. Всѣ глядѣли на него съ омерзѣніемъ, но замѣчанія ему никто не сдѣлалъ.

— Кто это? — спросилъ я шопотомъ Духовского.

Э, пьяница! — отвѣтилъ тотъ небрежно. — Нелюбовъ-Ольгинъ, нашъ декораторъ. Талантливый человѣкъ — онъ

иногда и играетъ, когда трезвъ—но совсѣмъ, окончательно пропойца. А замѣнить его некѣмъ: дешевъ и пишетъ очень скоро.

VIII.

Репетиція кончилась. Расходились. Актеры острили, играя словами: Мерція-Коммерція; Лара-Ларскій многозначительно звалъ Боева «туда». Я догналъ въ одной изъ аллей Валерьянова и, едва поспѣвая за его длинными шагами, сказалъ:

— Викторъ Викторовичъ... я бы очень попросилъ у васъ денегъ... хоть немножко.

Онъ остановился и едва могъ притти въ себя отъ изумленія.

— Что? Какихъ денегъ? Зачѣмъ денегъ? Кому?

Я сталъ объяснять ему мое положеніе, но онъ, не дослушавъ меня, нетерпѣливо повернулся спиной и пошелъ впередъ. Потомъ вдругъ остановился и подозвалъ меня.

— Вы вотъ что... Вы подите къ этому... къ своему хозяину и скажите ему, чтобы онъ навѣдался сюда, ко мнѣ. Я здѣсь пробуду въ кассѣ еще съ полчаса. Я съ нимъ переговорю.

Я не пошелъ, а полетѣлъ въ гостинницу! Хохолъ выслушалъ меня съ мрачной недовѣрчивостью, однако, надѣлъ коричневый пиджакъ и медленно поплелся въ театръ. Я остался ждать его. Черезъ четверть часа онъ вернулся. Лицо его было, какъ грозовая туча, а въ правой рукѣ торчалъ пучекъ красныхъ театральныхъ контромарокъ. Онъ сунулъ мнѣ ихъ въ самый носъ и сказалъ глухимъ басомъ.

— Бачите! Ось! Я думалъ, онъ мнѣ гроши дасть, а онъ мнѣ — якись гумажки. На що воны мини!

Я стоялъ сконфуженный! Однако, и бумажки принесли нѣкоторую пользу. Послѣ долгихъ увѣщеваній, хозяинъ согласился на раздѣлъ: онъ оставилъ себѣ въ видѣ залога мой прекрасный новый англійскій чемоданъ изъ желтой кожи, а я взялъ бѣлье, паспортъ и, что было для меня всего дороже, мои записныя книжки. На прощанье, хохолъ спросилъ меня:

— А що, и ти тамъ будешь дурака валять?

— Да, и я — подтвердилъ я съ достоинствомъ.

— Ого! Держись. Я какъ тебе забачу, заразъ скричу: а гдѣ мои двадцять карбованцивъ!

Три дня подрядъ я не смѣлъ безпокоить Валерьянова и ночевалъ на зеленой скамеечкѣ, подложивъ себѣ подъ голову узелокъ съ бѣльмъ. Двѣ ночи, благодареніе Богу, были теплыя; я даже чувствовалъ, лежа на скамейкѣ, какъ отъ каменныхъ плитъ тротуара, нагрѣвшихся за день, исходитъ сухой жаръ. Но на третью шелъ мелкій, долгій дождикъ, и, спасаясь отъ него подъ навѣсами подъѣздовъ, я не могъ заснуть до утра. Въ восемь часовъ отворили городской садъ. Я забрался за кулисы и на старой занавѣси сладко заснулъ на два часа. И, конечно, попался на глаза Самойленкѣ, который долго и язвительно внушалъ мнѣ, что театръ — это храмъ искусства, а вовсе не дортуаръ, и не будуаръ, и не ночлежный домъ. Тогда я опять рѣшился догнать въ аллеѣ распорядителя и попросить у него хоть немного денегъ, потому что мнѣ негдѣ ночевать.

— Позвольте-съ,—развелъ онъ руками—да мнѣ то какое дѣло? Вы, кажется, не малолѣтній, и я не ваша нянька.

— Я промолчалъ. Онъ побродилъ прищуренными глазами по яркому солнечному песку дорожки и сказалъ въ раздумьѣ.

— Развѣ... вотъ что... Хотите, ночуйте въ театрѣ? Я говорилъ объ этомъ сторожу, но онъ, дуракъ, боится.

Я поблагодарилъ.

— Только одинъ уговоръ: въ театрѣ не курить. Захотите курить—выходите въ садъ.

Съ тѣхъ поръ у меня былъ обезпеченъ ночлегъ подъ кровлей. Иногда днемъ я ходилъ за три версты на рѣчку, мылъ тамъ въ укромномъ мѣстечкѣ свое бѣлье и сушилъ его на вѣткахъ прибрежныхъ ветелъ. Это бѣлье мнѣ было большимъ подспорьемъ. Время отъ времени я ходилъ на базаръ и продавалъ тамъ рубашку, или что-нибудь другое. На вырученныя 20—30 копѣекъ я бывалъ сытъ два дня. Обстоятельства принимали явно благопріятный оборотъ для меня. Однажды даже мнѣ удалось въ добрую минуту вы-

просить у Валерьянова рубль, и я тотчасъ же послалъ Ильѣ телеграмму:

«Умираю голоду переведи телеграфомъ С. театръ Леонтовичу».

IX.

Вторая репетиція была и генеральной. Тутъ кстати мнѣ подвалили еще двѣ роли: древняго христіанскаго старца и Тигеллина. Я взялъ ихъ безропотно.

Къ этой репетиціи пріѣхалъ и нашъ трагикъ: Тимофѣевъ-Сумской. Это былъ плечистый мужчина, вершковъ 14-ти ростомъ, уже не молодой, курчавый, рыжій, съ вывороченными бѣлками глазъ, рябой отъ оспы—настоящій мясникъ или, скорѣе, палачъ. Голосъ у него былъ непомѣрный, и игралъ онъ въ старой, воющей манерѣ.

И дикимъ звѣремъ завывалъ
Широкоплечій трагикъ.

Роли своей онъ не зналъ совершенно (онъ игралъ Нерона), да и читалъ-то ее по тетрадкѣ съ трудомъ, при помощи сильныхъ старческихъ очковъ. Когда ему говорили:

— Вы бы, Ѳедотъ Памфилычъ, хоть немного рольку-то подучили.

Онъ отвѣчалъ низкой октавой:

— Наплевать. Сойдетъ. Пойду по суфлеру. Не въ первой. Публика все равно ничего не понимаетъ. Публика дура.

Съ моимъ именемъ у него все выходили нелады. Онъ никакъ не могъ выговорить—Тигеллинъ, а звалъ меня то Тигелиніемъ, то Тинегиломъ. Каждый разъ, когда его поправляли, онъ рявкалъ:

Плевать. Ерунда. Стану я мозги засаривать.

Если ему попадался трудный оборотъ, или нѣсколько иностранныхъ словъ подъ рядъ, онъ просто ставилъ карандашемъ у себя въ тетрадкѣ зэтъ и произносилъ:

— Вымарываю.

Впрочемъ, вымарывали всѣ. Отъ пьесы-ботвиньи осталась только гуща. Изъ длинной роли Тигеллина получилась всего одна реплика.

Неронъ спрашиваетъ:

— Тилигинъ! Въ какомъ состояніи львы?

А я отвѣчаю, стоя на колѣняхъ:

— Божественный Цезарь! Римъ никогда не видалъ такихъ звѣрей. Они голодны и свирѣпы.

Вотъ и все.

Наступилъ и спектакль. Зрительный открытый залъ былъ полонъ. Снаружи вокругъ барьера густо чернѣла толпа безплатныхъ зрителей. Я волновался.

Боже мой, какъ они всѣ отвратительно играли! Точно они заранѣе сговорились словами Тимофѣева: «наплевать, публика дура». Каждое ихъ слово, каждый жестъ напоминали что-то старенькое, старенькое, давно примелькавшееся десяткамъ поколѣній. Мнѣ все время казалось, что въ распоряженіи этихъ служителей искусства имѣется всего-на-всего десятка два заученныхъ интонацій и десятка три зазубренныхъ жестовъ, вродѣ того, напримѣръ, которому безплодно хотѣлъ меня научить Самойленко. И мнѣ думалось: какимъ путемъ нравственнаго паденія могли дойти эти люди до того, чтобы потерять стыдъ своего лица, стыдъ голоса, стыдъ тѣла и движенія!

Тимофѣевъ-Сумской былъ великолѣпенъ. Склонившись на правый бокъ трона, причемъ его лѣвая вытянутая нога вылѣзала на половину сцены, съ шутовской короной набекрень, онъ вперялъ вращающіеся бѣлки въ суфлерскую будку и такъ ревѣлъ, что мальчишки за барьеромъ взвизгивали отъ восторга. Моего имени онъ, конечно, не запомнилъ. Онъ просто заоралъ на меня, какъ купецъ въ банѣ:

— Телентинъ! Подай сюда моихъ львовъ и тигровъ. Живо!

Я покорно проглотилъ мою реплику и ушелъ. Конечно, всѣхъ хуже былъ Маркъ Великолѣпный—Лара-Ларскій, потому что былъ безстыднѣе, разнузданнѣе, пошлѣе и самоувѣреннѣе всѣхъ остальныхъ. Изъ пасоса у него выходилъ крикъ, изъ нѣжныхъ словъ—сладкая тянушка, изъ повелительныхъ репликъ римскаго воина-патриція выглядывалъ русскій брандъ-маіоръ. Зато поистинѣ была прекрасна Андросова. Все въ ней было очаровательно: вдохновенное

лицо, прелестныя руки, гибкій музыкальный голосъ, даже длинныя волнистыя волосы, которыя она въ послѣднемъ дѣйствіи распустила по спинѣ. Играла она такъ же просто, естественно и красиво, какъ поютъ птицы.

Я съ настоящимъ художественнымъ наслажденіемъ, иногда со слезами, слѣдилъ за нею сквозь маленькія дырочки въ холстѣ декорацій. Но я не предчувствовалъ, что черезъ нѣсколько минутъ она растрогаетъ меня, но уже совсѣмъ инымъ образомъ, не со сцены.

Я въ этой пьесѣ былъ такъ многообразенъ, что, право, дирекціи не худо было бы на афишѣ къ именамъ Петрова, Сидорова, Григорьева, Иванова и Васильева присоединить еще Дмитріева и Александрова. Въ первомъ актѣ я сначала явился старцемъ въ бѣломъ балахонѣ, съ капюшономъ на головѣ, потомъ побѣжалъ за кулисы, сбросилъ куту и уже выступилъ центуріономъ, въ латахъ и шлемѣ, съ голыми ногами, потомъ опять исчезъ и опять вылѣзъ христіанскимъ старцемъ. Во второмъ актѣ я былъ центуріономъ и рабомъ. Въ третьемъ—двумя новыми рабами. Въ четвертомъ центуріономъ и еще двумя чьими-то рабами. Въ четвертомъ—домоуправителемъ и новымъ рабомъ. Наконецъ, я былъ Тигеллиномъ и, въ заключеніе, безгласнымъ воиномъ, который повелительнымъ жестомъ указываетъ Мерціи и Марку дорогу на арену, на съѣденіе львамъ.

Даже простакъ Акименко потрепалъ меня по плечу и сказалъ благодушно:

— Чортъ васъ возьми! Вы какой-то трансформистъ.

Но мнѣ дорого стоили эти похвалы. Я едва держался на ногахъ отъ усталости.

Спектакль окончился. Сторожъ тушилъ лампы. Я ходилъ по сценѣ, въ ожиданіи, когда послѣдніе актеры разгримируются, и мнѣ можно будетъ лечь на мой старый театральный диванъ. Я также мечталъ о томъ кускѣ жареной трактирной печенки, который висѣлъ у меня въ уголкѣ между бутафорской комнатой и общей уборной. (Съ тѣхъ поръ, какъ у меня однажды крысы утащили свиное сало, я сталъ съѣстное подвѣшивать на веревочку). Вдругъ я услышалъ сзади себя голосъ:

— До свиданья, Васильевъ.

Я обернулся. Андросова стояла съ протянутой рукой. Ея прелестное лицо было утомлено.

Надо сказать, что изо всей труппы только она, не считая маленькихъ, Духовского и Нелюбова-Ольгина, подавала мнѣ руку. (Остальные гнушались). И я даже до сихъ поръ помню ея пожатіе: открытое, нѣжное, крѣпкое—настоящее женственное и товарищеское пожатіе.

Я взялъ ея руку. Она внимательно посмотрѣла на меня и сказала:

— Послушайте, вы не больны? У васъ плохой видъ.— И добавила тише:—Можетъ быть, вамъ нужны деньги?... взаймы...

— О, нѣтъ, нѣтъ, благодарю васъ!—перебилъ я искренно. И вдругъ, повинуясь безотчетному воспоминанію только что пережитаго восторга, я воскликнулъ только:

— Какъ вы были прекрасны сегодня!

Должно быть, комплиментъ по искренности былъ не изъ обычныхъ. Она покраснѣла отъ удовольствія, опустила глаза и легко разсмѣялась.

— Я рада, что доставила вамъ удовольствіе.

Я почтительно поцѣловалъ ея руку. Но тутъ какъ разъ женскій голосъ крикнулъ снизу:

— Андросова! Гдѣ вы тамъ? Идите, васъ ждутъ ужинать.

— До свиданья, Васильевъ,—сказала она просто и ласково, потомъ покачала головой и, уже уходя, чуть слышно произнесла:

— Ахъ, бѣдный, вы, бѣдный...

Нѣтъ, я себя вовсе не чувствовалъ бѣднымъ въ эту минуту. Но мнѣ казалось, что если бы она на прощанье коснулась губами моего лба, я бы умеръ отъ счастья.

X.

Скоро я приглядѣлся ко всей труппѣ. Признаюсь, я и до моего невольнаго актерства никогда не былъ высокаго мнѣнія о провинціальной сценѣ. Но, благодаря Островскому, въ моемъ воображеніи все-таки засѣли грубые по внѣш-

ности, но нѣжные и широкіе въ душѣ Несчастливцевы, шутоватые, но по своему преданные искусству и чувству товарищества Аркашки... И вотъ я увидѣлъ, что сцену заняли просто-на-просто безстыдникъ и безстыдница.

Всѣ они были безсердечны, предатели и завистники по отношенію другъ къ другу, безъ малѣйшаго уваженія къ красотѣ и силѣ творчества,—прямо какія-то хамскія, дублёныя души! И вдобавокъ, люди поражающаго невѣжества и глубокаго равнодушія, притворщики, истерически-холодные лжецы съ бутафорскими слезами и театральными рыданіями, упорно-отсталые рабы, готовые всегда радостно пресмыкаться передъ начальствомъ и передъ меценатами... Недаромъ Чеховъ сказалъ какъ-то: «Болѣе актера истеричнъ только околоточный. Посмотрите, какъ они оба въ царскій день стоятъ передъ буфетной стойкой, говорятъ рѣчи и плачутъ».

Но театральныя традиціи хранились у насъ непоколебимо. Какой-то Митрофановъ-Козловскій, какъ извѣстно, передъ выходомъ на сцену всегда крестился. Это всосалось. И каждый изъ нашихъ главныхъ артистовъ передъ своимъ выходомъ непремѣнно продѣлывалъ то же самое и при этомъ косилъ глазомъ вбокъ: смотрятъ или нѣтъ? и если смотрятъ, то навѣрно ужъ думаютъ: какъ онъ суевѣренъ!.. вотъ оригиналъ!..

Какой-то изъ этихъ проститутовъ искусства, съ козлинымъ голосомъ и жирными ляжками, прибилъ однажды портного, а въ другой разъ парикмахера. И это также вошло въ обычай. Часто я наблюдалъ, какъ Лара-Ларскій метался по сценѣ съ кровавыми глазами и съ пѣной на губахъ и кричалъ хрипло:

— Дайте мнѣ этого портного! Я убью этого портного!

А потомъ, уже ударивъ этого портного и въ тайнѣ души ожидая и побаиваясь крѣпкаго отвѣта, онъ простиралъ назадъ руки, дрожалъ и вопилъ:

— Держите меня! Держите! Иначе я въ самомъ дѣлѣ сдѣлаюсь убійцей!..

Но зато какъ проникновенно они говорили о «святомъ искусствѣ» и о сценѣ! Помню одинъ свѣтлый, зеленый

іюньскій день. У насъ еще не начиналась репетиція. На сценѣ было темновато и прохладно. Изъ большихъ актеровъ пришли раньше всѣхъ Лара-Ларскій и его театральная жена—Медвѣдева. Нѣсколько барышенъ и реалистовъ сидятъ въ партерѣ. Лара-Ларскій ходитъ взадъ и впередъ по сценѣ. Лицо его озабочено. Очевидно, онъ обдумываетъ какой-то новый глубокій типъ. Вдругъ жена обращается къ нему:

— Саша, насвисти, пожалуйста, этотъ вчерашній мотивъ изъ «Паяцевъ».

Онъ останавливается, мѣряетъ ее съ ногъ до головы ыразительнымъ взглядомъ и произноситъ, косясь на партеръ, бархатнымъ актерскимъ баритономъ.

— Свистать? на сценѣ? Ха-ха-ха! (онъ смѣется горькимъ, актерскимъ смѣхомъ). Ты ли это гвоpишь? Да развѣ ты не знаешь, что сцена—это хра-амъ, это алтарь, на который мы кладемъ всѣ свои лучшія мысли и желанія. И веругъ—свистать! Ха-ха-ха.

Однако, въ этотъ же самый алтарь, въ дамскія уборныя, ходили мѣстные кавалеристы и богатые бездѣльники-помѣщики совершенно такъ же, какъ въ отдѣльные кабинеты публичнаго дома. На этотъ счетъ мы, вообще, не были щепетильны. Сколько разъ бывало: внутри виноградной бесѣдки свѣтился огонь, слышенъ женскій хохотъ и лязганье шпоръ и звонъ бокаловъ, а театральный мужъ, точно дозорный часовой, ходитъ взадъ и впередъ по дорожкѣ около входа, въ темнотѣ и ждетъ, не пригласятъ ли его. И лакей, пронося на высоко поднятомъ подносѣ судака о-гратенъ, толкнетъ его локтемъ и скажетъ сухо:

— Посторонитесь, сударь.

А когда его позовутъ, онъ будетъ кривляться, пить водку съ пивомъ и уксусомъ и разсказывать похабные анекдоты изъ еврейскаго быта.

Но все-таки объ искусствѣ они говорили горячо и гордо. Тимофѣевъ-Сумской не разъ читалъ лекцію объ утерянномъ «классическомъ жестѣ ухода».

— Утерянъ жестъ классической трагедіи!—говорилъ онъ мрачно—Прежде какъ актеръ уходилъ? Вотъ!—Онъ вытягивался во весь ростъ и подымалъ кверху правую ру-

ку со сложенными въ кулакъ пальцами, кромѣ указательнаго, который торчалъ крючкомъ.—Видите?—И Тимофѣевъ огромными медленными шагами начиналъ удаляться къ двери.—Вотъ что называлось «классическимъ жестомъ ухода»! А что теперь? Заложилъ ручки въ брючки и фить домой. Такъ-то батеньки.

Иногда они любили и новизну, отсебятину. Лара-Ларскій такъ, напримѣръ, передавалъ о своемъ исполненіи роли Хлестакова.

— Нѣтъ, позвольте. Я эту сцену съ городничимъ вотъ какъ веду. Онъ говоритъ, что номеръ темноватъ. А я отвѣчаю: «Да. Захочешь почитать что нибудь, *напримѣръ, Максима Горькаго*, нальзя, темыно, тем-мыно!» И всегда... аплодисменты!

Хорошо было послушать, какъ иной разъ разговариваютъ въ подпитіи старики, напримѣръ, Тимофѣевъ-Сумской съ Гончаровымъ.

— Да, братъ Ѳедотушка, не тотъ нонѣ актеръ пошелъ. Нѣтъ, братъ, не тотъ.

— Вѣрно, Петряй. Не тотъ. Помнишь, братъ, Чарскаго, Любскаго!.. Э-ххъ, братъ.

— Завѣты не тѣ.

Вѣрно, Петербургъ. Не тѣ. Не стало уваженія къ святости искусства. Мы съ тобой, Пека, все-таки жрецами были, а эти... Э-ххъ. Выпьемъ, Пекаторисъ.

— А помнишь, братъ Ѳедотушка, Иванова-Козельскаго?

— Оставь, Петроградъ, не береди. Выпьемъ. Куда теперешнимъ?

— Куда!

— Ку-уда!

И вотъ среди этой мѣшанины пошлости, глупости, пройдошества, альфонсизма, хвастовства, невѣжества и разврата—поистинѣ служила искусству Андросова, такая чистая, нѣжная, красивая и талантливая. Теперь, ставъ старѣе, я понимаю, что она такъ же не чувствовала этой грязи, какъ бѣлый, прекрасный вѣнчикъ цвѣтка не чувствуетъ, что его корни питаются черной тиной болота.

XI.

Пьесы ставились, какъ на курьерскихъ. Небольшія драмы и комедіи шли съ одной репетиціи, «Смерть Іоанна Грознаго» и «Новый Міръ» съ двухъ, «Измаилъ», сочиненіе господина Бухарина, потребовалъ трехъ репетицій, и то благодаря тому, что въ немъ участвовало около сорока статистовъ изъ мѣстныхъ командъ: гарнизонной, конвойной и пожарной.

Особенно памятно мнѣ представленіе «Смерти Іоанна Грознаго»—памятно по одному глупому и смѣшному происшествію. Грознаго игралъ Тимофѣевъ-Сумской. Въ парчевой длинной одеждѣ, въ островерхой шапкѣ изъ собачьяго мѣха,—онъ походилъ на движущійся обелискъ. Для того, чтобы придать грозному царю побольше свирѣпости, онъ все время выдвигалъ впередъ нижнюю челюсть и опускалъ внизъ толстую губу, причемъ вращалъ глазами и рычалъ, какъ никогда.

Конечно, роли онъ не зналъ и читалъ ее такими стихами, что даже у актеровъ, давно привыкшихъ къ тому, что публика дура и ничего не понимаетъ, становились волосы дыбомъ. Но особенно отличился онъ въ той сценѣ, гдѣ Іоаннъ въ покаянномъ припадкѣ становится на колѣни и исповѣдуется передъ боярами. «Острупился мой умъ» и т. д.

И вотъ онъ доходитъ до словъ: «аки песъ смердящій...» Нечего и говорить, что глаза его были все время въ суфлерской будкѣ. На весь театръ онъ произноситъ: «Аки!» и умолкаетъ.

— Аки песъ смердящій... шепчетъ суфлерша.

— Паки!—рветъ Тимофѣевъ.

— Аки песъ...

— Каки!

— Аки песъ смердящій...

Наконецъ, ему удается справиться съ текстомъ. При этомъ онъ не обнаруживаетъ ни замѣшательства, ни смущенія. Но со мной—я въ это время стоялъ около трона—

вдругъ случился неудержимый припадокъ смѣха. Вѣдь всегда такъ бываетъ: когда знаешь что *нельзя* смѣяться—тогда именно овладѣваетъ тобою этотъ сотрясающій, болѣзненный смѣхъ. Я быстро сообразилъ, что лучше всего спрятаться за высокой спинкой трона и тамъ высмѣяться вдоволь. Поворачиваюсь; иду торжественной боярской походкой, едва удерживаясь отъ хохота; захожу за тронъ и... вижу, что тамъ прижались къ спинкѣ и трясутся и давятся отъ беззвучнаго смѣха двѣ артистки, Волкова и Богучарская. Это было выше моего терпѣнія. Я выбѣжалъ за кулисы, упалъ на бутафорскій диванъ, на *мой* диванъ, и сталъ по нему кататься... Самойленко, всегда ревниво слѣдившій за мною, оштрафовалъ меня за это на пять рублей.

Да и вообще этотъ спектакль изобиловалъ приключеніями. Я забылъ сказать, что у насъ былъ актеръ Романовъ, очень красивый, высокій, представительный молодой человѣкъ на громкія и величественныя второстепенныя роли. Къ сожалѣнію, онъ отличался чрезвычайною близорукостью, такъ что даже носилъ стекла по какому-то особенному заказу. На сценѣ онъ вѣчно натыкался на что-нибудь, опрокидывалъ колонны, вазы и кресла, путался въ коврахъ и падалъ. Онъ уже былъ давно извѣстенъ тѣмъ, что въ другомъ городѣ и въ другой труппѣ, играя въ «Принцессѣ Грезѣ» зеленаго рыцаря, онъ упалъ и покатился въ своихъ жестяныхъ латахъ къ рампѣ, громыхая, какъ огромный самоваръ. Въ «Смерти Іоанна Грознаго» Романовъ, однако, превзошелъ самого себя. Онъ ворвался въ домъ Шуйскаго, гдѣ собрались заговорщики, съ такой стремительностью, что опрокинулъ на насъ длинную скамью вмѣстѣ съ сидѣвшими на ней боярами.

Эти бояре были очаровательны. Всѣ они были набраны изъ молодыхъ караимчиковъ, служившихъ на мѣстной табачной фабрикѣ. Я выводилъ ихъ на сцену. Я небольшого роста, но самый высокій изъ нихъ приходится мнѣ по плечо. Притомъ половина изъ этихъ родовитыхъ бояръ была въ кавказскихъ костюмахъ съ газырями, а другая половина въ кафтанахъ, взятыхъ на прокатъ изъ мѣст-

наго архіерейскаго хора. Прибавьте еще къ этому мальчишескія лица съ подвязанными черными бородами, блестящіе черные глаза, восторженно-раскрытые рты и застѣнчиво-неловкія движенія. Публика привѣтствовала нашъ торжественный выходъ дружнымъ ржаніемъ.

Благодаря тому, что мы ставили ежедневно новыя пьесы, театръ нашъ довольно охотно посѣщался. Офицеры и помѣщики ходили изъ-за актрисъ. Кромѣ того, ежедневно посылался Харитоненко билетъ на ложу. Самъ онъ бывалъ рѣдко—не болѣе двухъ разъ за весь сезонъ, но каждый разъ присылалъ сто рублей. Вообще, театръ дѣлалъ недурныя дѣла, и если младшимъ актерамъ не платили жалованья, то тутъ у Валерьянова былъ такой же тонкій разсчетъ, какъ у того извощика, который вѣшалъ впереди морды своей голодной клячи кусокъ сѣна, для того чтобы она скорѣе бѣжала.

XII.

Однажды—не помню почему—спектакля не было. Стояла скверная погода. Въ девять часовъ вечера я уже лежалъ на моемъ диванѣ и въ темнотѣ прислушивался, какъ дождь барабанитъ въ деревянную крышу.

Вдругъ гдѣ-то за кулисами послышался шорохъ, шаги, потомъ грохотъ падающихъ стульевъ. Я засвѣтилъ огарокъ, пошелъ на встрѣчу и увидѣлъ пьянаго Нелюбова-Ольгина, который безпомощно шарашился въ проходѣ между декораціями и стѣной театра. Увидѣвъ меня, онъ не испугался, но спокойно удивился:

— К'кого ч-черта вы тутъ дѣлаете?

Я объяснилъ ему въ двухъ словахъ. Заложивъ руки въ карманы панталонъ и кивая длиннымъ носомъ, онъ нѣкоторое время раскачивался съ носковъ на каблуки. Потомъ вдругъ потерялъ равновѣсіе, но удержался, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ впередъ, и сказалъ:

— А п'чему не ко мнѣ?

— Мы съ вами такъ мало знакомы...

— Чепуха. Пойдемъ!

Онъ взялъ меня подъ руку, и мы пошли къ нему. Съ этого часа и до самаго послѣдняго дня моего актерства я раздѣлялъ съ нимъ его крошечную полутемную комнатенку, которую онъ снималъ у бывшаго С—аго исправника. Этотъ пьяница и скандалистъ, предметъ лицемѣрнаго презрѣнія всей труппы, оказался кроткимъ, тихимъ человѣкомъ, съ большимъ запасомъ внутренней деликатности, и отличнымъ товарищемъ. Но у него была въ душѣ какая-то болѣзненная, незалѣчимая трещина, нанесенная женщиной. Я никогда впрочемъ не могъ понять, въ чемъ суть его неудачнаго романа. Будучи пьянымъ, онъ часто вытаскивалъ изъ своей дорожной корзинки портретъ какой-то женщины, не очень красивой, но и недурной, немного косенькой, со вздернутымъ вызывающимъ носикомъ, нѣсколько провинціальной наружности. Онъ то цѣловалъ эту фотографію, то швырялъ ее на полъ, прижималъ ее къ сердцу и плевалъ на нее, ставилъ ее въ уголъ на образъ и потомъ капалъ на нее стеариномъ. Я не могъ также разобраться, кто изъ нихъ кого бросилъ и о чьихъ дѣтяхъ шла рѣчь: его, ея, или кого-то третьяго.

Ни у него, ни у меня денегъ не было. Онъ уже давно забралъ у Валерьянова круглую сумму, чтобы послать ей, и теперь находился въ состояніи крѣпостной зависимости, порвать которую ему мѣшала простая порядочность. Изрѣдка онъ подрабатывалъ нѣсколько копѣекъ у мѣстнаго живописца вывѣсокъ. Но этотъ заработокъ былъ большимъ секретомъ отъ труппы: помилуйте, развѣ Лара-Ларскій вытерпѣлъ бы такое надруганіе надъ искусствомъ!

Нашъ хозяинъ—отставной исправникъ—толстый, румяный мужчина въ усахъ и съ двойнымъ подбородкомъ—былъ человѣкомъ большого благодушія. Каждое утро и вечеръ послѣ того, когда у него отпивали чай, намъ приносили вновь долитый самоваръ, чайникъ съ жидкимъ чаемъ и сколько угодно чернаго хлѣба. Мы были сыты.

Послѣ послѣобѣденнаго сна отставной исправникъ выходилъ на улицу въ халатѣ и съ трубкой и садился на крылечко. Передъ тѣмъ, какъ идти въ театръ, и мы подсаживались къ нему. Разговоръ у насъ шелъ всегда

одинъ и тотъ же — о его служебныхъ злоключеніяхъ, о несправедливости высшаго начальства и о гнусныхъ интригахъ враговъ. Онъ все совѣтовался съ нами, какъ бы это ему написать такое письмо въ столичныя газеты, чтобы его невинность восторжествовала, и чтобы губернаторъ съ вице-губернаторомъ, съ нынѣшнимъ исправникомъ и съ подлецомъ-приставомъ II части, который и былъ главной причиной всѣхъ бѣдъ, полетѣли со своихъ мѣстъ. Мы давали ему разные совѣты, но онъ только вздыхалъ, морщился, покачивалъ головой и твердилъ:

— Эхъ, не то... Не то, не то... Вотъ если бы мнѣ найти человѣка съ перомъ! Никакихъ денегъ бы не пожалѣлъ.

А у него — канальи — были деньги. Войдя однажды къ нему въ комнату, я засталъ его за стрижкой купоновъ Онъ немного смутился, всталъ и загородилъ бумаги спиной и распахнутымъ халатомъ. Я твердо увѣренъ, что во время службы за нимъ водились и взяточничество, и вымогательство, и превышеніе власти и другіе поступки.

По ночамъ, послѣ спектакля мы иногда бродили съ Нелюбовымъ по саду. Въ тихой освѣщенной огнями зелени повсюду уютно стояли бѣлые столики, свѣчи горѣли не колеблясь въ стеклянныхъ колпачкахъ. Женщины и мужчины какъ-то по праздничному, кокетливо и значительно улыбались и наклонялись другъ къ другу. Шуршалъ песокъ подъ легкими женскими ножками...

— Хорошо бы намъ найти карася! — говорилъ иногда сиплымъ баскомъ Нелюбовъ и поглядывалъ на меня лукаво, сбоку.

Меня сначала коробило. Я всегда ненавидѣлъ эту жадную и благородную готовность садовыхъ актеровъ примазываться къ чужимъ обѣдамъ и завтракамъ, эти собачьи, ласковые, влажные и голодные глаза, эти неестественно-развязные баритоны за столомъ, это гастрономическое всезнайство, эту усиленную внимательность, эту привычно фамильярную повелительность съ прислугой. Но потомъ, ближе узнавъ Нелюбова, я понялъ, что онъ шутилъ. Этотъ чудакъ по своему гордъ и очень щекотливъ.

Но вышелъ одинъ смѣшной и чуть-чуть постыдный случай, когда самъ карась поймалъ меня съ моимъ другомъ въ кулинарную сѣть. Вотъ это какъ было.

Мы съ нимъ выходили послѣдними изъ уборной послѣ представленія, и вдругъ откуда-то изъ-за кулисъ выскочилъ на сцену нѣкто Альтшиллеръ... мѣстный Ротшильдъ, этакій молодой, но уже толстый, румяный, горбатый мужчина, сладострастнаго типа, весь въ кольцахъ, цѣпяхъ и брелокахъ. Онъ бросился къ намъ.

— Ахъ Боже мой... я уже вотъ полчаса вездѣ бѣгаю... сбился съ ногъ... Скажите, ради Бога, вы не видѣли Волкову и Богучарскую?

Мы, дѣйствительно, видѣли, какъ эти артистки сейчасъ же послѣ спектакля уѣхали кататься съ драгунскими офицерами, и любезно сообщили объ этомъ Альтшиллеру. Онъ схватился за голову и заметался по сценѣ.

— Но это же безобразіе! У меня заказанъ ужинъ! Нѣтъ, это просто Богъ знаетъ что такое: дать слово, обѣщаться и... Какъ это называется, господа, я васъ спрашиваю?

Мы молчали.

Онъ еще покрутился по сценѣ, потомъ остановился, помялся, почесалъ нервно високъ, почмокалъ въ раздумьи губами и вдругъ сказалъ рѣшительно:

— Господа, я васъ покорнѣйше прошу отужинать со мной.

Мы отказались.

Но не тутъ-то было. Онъ прилипъ къ намъ, какъ клей синдетиконъ. Онъ забѣгалъ то къ Нелюбову, то ко мнѣ, трясъ намъ руки, заглядывалъ умильно въ глаза и съ жаромъ увѣрялъ, что онъ любитъ искусство. Нелюбовъ первый дрогнулъ.

— А, чортъ! Пойдемъ въ самомъ дѣлѣ. Чего тамъ!

Меценатъ повелъ насъ на главную эстраду и засуетился. Выбралъ наиболѣе видное мѣсто, усадилъ насъ, а самъ все время вскакивалъ, бѣгалъ вслѣдъ за прислугой, размахивая руками, и, выпивъ рюмку доппель-кюммеля, притворялся

отчаяннымъ кутилой. Котелокъ у него былъ для лихости на боку.

— Можетъ быть огуречика? Какъ это по русски говорится? Значится, эфто безъ огуречика никакая пишшыя не проходитъ. Такъ? А водочки? Пожалуйста, кушайте... кушайте до конца, прошу васъ. А, можетъ быть, бефъ-строгановъ? Здѣсь отлично готовятъ... Псст! Человѣкъ!

Отъ большого куска горячаго, жаренаго мяса я опьянѣлъ, какъ отъ вина. Глаза у меня смыкались. Веранда съ огнями, съ синимъ табачнымь дымомъ и съ пестрой скачкой болтовни, плыла куда-то въ бокъ, мимо меня, и я, точно сквозь сонъ, слышалъ:

— Пожалуйста, кушайте еще, господа... Не стѣсняйтесь. Ну, что я могу съ собой подѣлать, когда я такъ люблю искусство!..

XIII.

Но приближался моментъ развязки. Питаніе однимъ чаемъ съ чернымъ хлѣбомъ отзывалось на мнѣ болѣзненно. Я сталъ раздражителенъ и часто, чтобы сдержать себя, убѣгалъ съ репетицій куда-нибудь подальше въ садъ. Кромѣ того, я давно уже распродалъ все свое бѣлье.

Самойленко продолжалъ терзать меня. Знаете, иногда бываетъ въ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ, что учитель вдругъ ни съ того ни съ сего возненавидитъ какого-нибудь замухрышку-ученика: возненавидитъ за блѣдность лица, за торчащія уши, за непріятную манеру дергать плечомъ, — и эта ненависть продолжается цѣлые года. Такъ именно относился ко мнѣ Самойленко. Онъ уже успѣлъ оштрафовать меня въ общей сложности на 15 рублей и на репетиціяхъ обращался со мною, по крайней мѣрѣ, какъ начальникъ тюрьмы съ арестантомъ. Иногда, слушая его грубыя замѣчанія, я опускалъ вѣки и видѣлъ у себя передъ глазами огненные круги. Валерьяновъ теперь уже совсѣмъ не разговаривалъ со мною и при встрѣчахъ убѣгалъ отъ меня со скоростью страуса. Я служилъ уже полтора мѣсяца и до сихъ поръ получилъ всего-на-всего 1 рубль.

Однажды утромъ я проснулся съ больной головой, съ металлическимъ вкусомъ во рту и съ тяжелой, черной, безпричинной злобой въ душѣ. Въ такомъ настроеніи я пошелъ на репетицію.

Не помню, что мы ставили, но помню хорошо, что въ моей рукѣ была толстая, сложенная трубкой тетрадь. Роль свою я зналъ, какъ и всегда, безукоризненно. Въ ней между прочимъ стояли слова: «я это заслужилъ».

И вотъ пьеса доходитъ до этого мѣста.

— Я это заслужилъ — говорю я.

Но Самойленко подбѣгаетъ ко мнѣ и вопитъ:

— Ну кто же такъ говоритъ по-русски? Кто такъ говоритъ? Я это заслужилъ! Надо говорить: я на это заслужилъ? Без-здарность!

Поблѣднѣвъ, я протянулъ, было, къ нему тетрадку со словами:

— Извольте справиться съ текстомъ...

Но онъ выкрикнулъ горломъ:

— Плевать я на вашъ текстъ! Я самъ для васъ текстъ! Не хотите служить—убирайтесь къ чорту!

Я быстро поднялъ на него глаза. Онъ вдругъ понялъ все, поблѣднѣлъ такъ же, какъ и я, и быстро отступилъ на два шага. Но было уже поздно. Тяжелымъ сверткомъ я больно и громко ударилъ его по лѣвой щекѣ и по правой, и потомъ опять по лѣвой, и опять по правой, и еще и еще. Онъ не сопротивлялся, даже не нагнулся, даже не пробовалъ бѣжать, а только при каждомъ ударѣ дергалъ туда и сюда головой, какъ клоунъ, разыгрывающій удивленіе. Затѣмъ я швырнулъ тетрадь ему въ лицо и ушелъ со сцены въ садъ. Никто не остановилъ меня.

И вотъ, случилось чудо. Первый, кого я увидѣлъ въ саду, былъ мальчишка разсыльный изъ мѣстнаго отдѣленія Волжско-Камскаго банка. Онъ спрашивалъ, кто здѣсь Леонтовичъ, и вручилъ мнѣ повѣстку на 500 рублей...

Черезъ часъ я и Нелюбовъ были уже опять въ саду и заказывали себѣ чудовищный завтракъ, а черезъ два часа вся труппа чокалась со мною шампанскимъ и поздравляла меня. Честное слово, это не я, а Нелюбовъ пустилъ слухъ,

что мнѣ досталось наслѣдство въ шестьдесятъ тысячъ. Я не опровергалъ его. Валерьяновъ шопотомъ клялся, что дѣла съ антрепризой ужасно плохи, и я подарилъ ему сто рублей.

Въ пять часовъ вечера я садился въ поѣздъ. Въ карманѣ у меня, кромѣ билета до Москвы, было не болѣе семидесяти рублей, но я чувствовалъ себя Цезаремъ. Когда послѣ второго звонка, я поднимался въ вагонъ, ко мнѣ подошелъ Самойленко, который до сихъ поръ держался въ отдаленіи.

— Простите меня, я погорячился, — сказалъ онъ театрально.

Я пожалъ протянутую руку и отвѣтилъ любезно:

— Простите: я тоже погорячился.

Мнѣ прокричали ура на прощанье. Послѣднимъ теплымъ взглядомъ я обмѣнялся съ Нелюбовымъ. Пошелъ поѣздъ, и все ушло назадъ, навсегда, безвозвратно. И когда стали скрываться изъ глазъ послѣднія голубыя избенки Зарѣчья, и потянулась унылая, желтая выгорѣвшая степь—странная грусть сжала мнѣ сердце. Точно тамъ, въ этомъ мѣстѣ моихъ тревогъ, страданій, голода и униженій, осталась навѣки частица моей души.

В МУЙЖВЛЬ

КОШМАРЪ

I.

Они пошли къ старому кладбищу, расположенному за рѣкой, забытому и заброшенному, на которомъ давно никого не хоронили. Тамъ были старые покосившіеся кресты, расли густые кусты сирени и жимолости, никѣмъ не подрѣзаемые, не окапываемые и оттого сильные и красивые дикой лѣсной красотой. Иногда сквозь ихъ переплетающуюся зелень холоднымъ твердымъ блескомъ бѣлѣли мраморные памятники богатыхъ могилъ, и лучъ закатывающагося солнца, мѣстами проникая къ нимъ, золотилъ старыхъ позеленѣвшихъ мѣдныхъ херувимовъ со сложенными руками и лицами, устремленными къ небу, и придавалъ бѣлому холодному мрамору живую розовую теплоту. На кладбищѣ была церковь — небольшая, каменная, своей короткой колокольней похожая на согнувшуюся отъ старости старушку. Вокругъ нея подымалась зелень кустовъ и деревьевъ, темная плотная зелень, отъ которой вѣяло свободой и жизнью,— и среди нея церковь выглядѣла одиноко и грустно. Большіе неуклюжіе замки, привѣшанные къ ея низкой двери, въ своей неподвижности и массивности казались эмблемой покоя и молчанія, въ которые были погружены старая церковь, полусгнившіе кресты и красивые памятники богатыхъ могилъ. Здѣсь все молчало, было тихо и безмятежно и жило особой таинственной жизнью, свойственной давно необитаемымъ домамъ и заброшеннымъ кладбищамъ...

Отъ восторга, отъ счастья, отъ того большого, широкаго чувства, которое дрожало въ груди и дѣлало ихъ гордыми

и мощными, они хотѣли уединенія, тишины и нѣжной мягкой грусти, въ которой еще больше бы ощущалась близость другъ друга. И когда Лопатинъ шелъ рядомъ съ Валей по заросшимъ, давно нечищеннымъ дорожкамъ стараго кладбища, когда солнце, какъ огромный налитый кровью глазъ какого-то чудовища, пряталось за подернутыми синей дымкой строеніями дальняго города, и послѣдніе лучи его, тусклые и кроваво-красные, были, какъ умирающій аккордъ прощальной пѣсни,—ему чудилось, что на всей землѣ, старой и такой огромной, есть только два человѣка: онъ и Валя—нѣжная и чистая, шедшая рядомъ съ нимъ. Онъ слушалъ мягкій и строгій шелестъ ея платья, цѣплявшагося за сухіе опавшіе листья на дорогѣ, слушалъ размѣренный, сообразно шагамъ, шорохъ этихъ листьевъ и, не глядя на нее, глядя прямо передъ собою затуманеннымъ, видящимъ и не запоминающимъ взглядомъ, — тонкой и неуловимо-чуткой нитью, протянувшеюся между нимъ и идущей рядомъ дѣвушкой, чувствовалъ крѣпкую и трогательную связь съ ней и наслаждался полнымъ, грустнымъ и прекраснымъ одиночествомъ вдвоемъ.

Небо горѣло расплавленнымъ золотомъ, и по этому золоту, большія и воздушно-легкія, двигались розовыя облака. По мѣрѣ того, какъ они приближались къ западу—они дѣлались плотнѣе и краснѣе и собирались гуще, какъ будто ихъ влекло къ себѣ умирающее, красное, какъ кровь, солнце. Такая была безпредѣльняя ширь въ небѣ, такая красота и нѣжность, и такъ много было тамъ свѣта и простора, что было странно, какъ можетъ быть въ природѣ такъ много красокъ, силы и чувства, чтобы создать все это. И моментами Лопатину хотѣлось остановиться и, оглянувшись на небо, на начинающую темнѣть землю, сказать тысячи разъ повторявшіяся тысячами людей, полныя огромнаго, какъ природа, смысла и оттого вѣчныя слова:

— Я люблю тебя!..

И пристально, упорно и настойчиво посмотрѣть въ строгіе глаза Вали.

Но они шли, листья равномѣрно—сообразно шагамъ — шуршали подъ ногами, и въ ихъ пріостанавливающемся за

каждымъ шагомъ шарканьи, смѣшанномъ съ шелестомъ плотной матеріи платья, было тоже что-то вѣчное и полное смысла.

Они шли и говорили другъ о другѣ и о себѣ, вспоминали исторію своего знакомства и улыбались, когда передавали о тѣхъ ощущеніяхъ, которыя свидѣтельствовали объ ихъ зарождающемся чувствѣ. Было удивительно, какъ могли они жить раньше, не зная одинъ другого, жить тускло, одиноко и холодно, и почему жизнь не казалась имъ тогда сѣрой и безрадостной, какъ могли они смѣяться, быть веселыми и довольными безъ того огромнаго и важнаго, что было сейчасъ. И когда они говорили объ этомъ—имъ казалось, что это было страшно давно, такъ что они почти забыли то время и вспоминали съ такимъ же чувствомъ, какъ вспоминали эпизоды отдаленнаго дѣтства, хотя въ сущности это было очень недавно. Но было такое впечатлѣніе, будто они любятъ другъ друга много времени и давно уже знаютъ объ этомъ. Припоминая же числа и мѣсяцы, когда они встрѣтились, и сегодняшнее утро, когда они сказали другъ другу о своей любви, — они изумлялись, какъ могли они въ такое короткое время пережить такую массу ощущеній, большихъ и серьезныхъ мыслей, сказать другъ другу такъ много важныхъ, полныхъ глубочайшаго смысла словъ и —главное—почувствовать такую прочную и великую связь между собою, какую чувствовали теперь. Это было такъ же удивительно и странно, какъ роскошное потухающее небо, въ которое природа собрала такую бездну красокъ, чувства и мощи...

Налитое кровью око на западѣ закрылось, облака сбѣжались къ нему, какъ бы желая утаить послѣдній отблескъ его, и сразу все стало инымъ. Ночь еще не наступила, но она уже чувствовала свою власть надъ землей и, незамѣтно, осторожно, тщательно скрывая глубокую тайну своего движенія, выплывала изъ-за горизонта отъ чернѣющей полосы дальняго лѣса, подымалась съ широкаго вспаханнаго поля за кладбищемъ — большого просторнаго поля, чернаго и рыхлаго, только что приготовленнаго для посѣва.

Прямыя, глубоко прорѣзанныя плугомъ борозды параллельными рядами пересѣкали это поле, чернѣя развороченной землей, и тамъ, гдѣ встрѣчалось углубленіе, они сливались въ общее темное пятно, похожее на глубокую черную яму. Ихъ было много, этихъ пятенъ, и мѣстами они сливались одно съ другимъ; и можно было подумать, что изъ этихъ темныхъ ямъ и идетъ незамѣтная, окутывающая собою все кругомъ тьма. Она ползла, какъ клубы стелющагося по землѣ чернаго дыма, соединяла глубокія борозды, и въ ея упорномъ и незамѣтномъ для глаза движеніи намѣчалось что-то осторожное и злое. Чудилось, что на этомъ широкомъ и пустомъ полѣ произошло или произойдетъ какое-то страшное бѣдствіе, что тутъ страдали и будутъ страдать люди, и скорбь ихъ, какъ черный, стелющійся по землѣ дымъ, подымалась къ холодному безстрастному небу, на которомъ потухла послѣдняя улыбка заката, и все было темно и чисто, и незамѣтная, блѣдная, трусливо прятавшаяся раньше луна, теперь стала яснымъ и рѣзкимъ серебрянымъ пятномъ.

И все стало засыпать. Дремала старая, похожая на согнувшуюся старушку, церковь, засыпали въ молчаливомъ покоѣ деревянные кресты, спали деревья, застывъ вѣтвями и листьями, и, какъ бѣлые смутные призраки, спали среди нихъ холодные мраморные памятники богатыхъ могилъ. А тамъ, за кладбищемъ спало большое изрытое поле, черное и молчаливое, спало осторожно, чутко и выжидательно, словно вспоминая бывшее когда-то бѣдствіе или ожидая того, которое должно быть здѣсь. Оно было тихо и безлюдно, и густой пріятный запахъ мокрой отъ росы развороченной земли—запахъ могилы—плылъ въ сыромъ, холодѣвшемъ воздухѣ.

Валя вздрогнула и повела плечами. Лопатинъ посмотрѣлъ на нее, и сырая знобкая дрожь пробѣжала по его тѣлу. Онъ оправилъ свою синюю рубашку и застегнулъ тужурку.

— Здѣсь сыро, пойдемъ!—сказалъ онъ и повернулся.

— Да, холодно, — отвѣтила Валя, и они пошли назадъ по тѣмъ же усыпаннымъ опавшими листьями дорожкамъ къ

полуразвалившимся воротамъ, на которыхъ штукатурка облупилась и опала, и, какъ оскаленные зубы черепа, изъподъ нея смотрѣлъ рядъ ровныхъ, обтесанныхъ кирпичей. И всю дорогу до воротъ они молчали.

Но когда они вышли, и передъ ними на той сторонѣ рѣки, отражаясь въ ней ломаными дрожащими линіями, мелькнули огни города, они опять заговорили и опять стали вспоминать свое знакомство, первые смутные намеки на чувство—всю исторію своей молодой и сильной любви—и имъ казалось, что эта исторія—есть исторія всего міра, огромнаго и прекраснаго, полнаго таинственнаго смысла. Жажда уединенія, котораго они искали на старомъ кладбищѣ, замѣнилась жаждой жизни, дѣятельности, движенія и шума, всего того, чего было такъ много тамъ, по ту сторону рѣки, гдѣ горѣли подмигивающіе огоньки, стучали экипажи, доносилась мягкими упругими темпами музыка, и жили люди.

Валя жила на берегу рѣки у большой каменной мельницы, и къ ея дому прямѣе было пройти черезъ плотину. Они пошли къ этой плотинѣ, и по мѣрѣ того, какъ подходили—говорить становилось труднѣе. Глухой и мало замѣтный раньше шумъ падающей непрерывнымъ каскадомъ воды, служившій прежде мягкимъ далекимъ фономъ для всѣхъ остальныхъ звуковъ, теперь разростался, дѣлался сильнѣе и громче и все собой заглушалъ. Говоря, Лопатинъ усиливалъ голосъ, и когда подошли къ самой плотинѣ, то кричалъ. Но крикъ его, заглушенный грохотомъ воды, Валя слышала тусклымъ и слабымъ отзвукомъ,—..ержись крѣпче!—разобрала она, когда оперлась на его руку, чтобы войти на два бревна, служившія переходомъ.

Онъ говорилъ еще что-то, но нельзя было разслышать—что. Грохотъ воды заполнялъ собою все, каждый атомъ воздуха былъ наполненъ имъ и напряженно дрожалъ отъ него, какъ дрожали старыя бревна, по которымъ они шли. Бушующей, бѣлой, бѣшено-быстрой массой падала вода, вздымала тысячи мелкихъ брызгъ, кружившихся въ воздухѣ, и осаживалась на лицѣ, на волосахъ, на платьѣ мелкой холодной росой. Вода ревѣла, и, какъ бы въ подмогу ей, на мель-

ницѣ что-то ухало и бубнило, какъ будто тамъ сидѣлъ кто-то огромный и сильный и хрипло кричалъ въ одну ноту:

— Гу-гу-гу-гу!..

Разъ Валѣ показалось, что она слышитъ голосъ Лопатина. Она оглянулась — онъ, дѣйствительно, говорилъ, но слова тонули въ шумѣ воды, и, глядя на его широко открытые глаза, на напряженное отъ крика лицо и беззвучно шевелящіяся губы, ей стало смѣшно.

— Я ничего не слышу!—крикнула она, и, вѣроятно, лицо у нея стало тоже напряженнымъ и смѣшнымъ, — онъ разсмѣялся, но самъ продолжалъ говорить, махая рукой и указывая на что-то. Она посмотрѣла въ ту сторону и остановилась.

Высоко въ темномъ небѣ плыла большая серебряная луна, и ломающееся отраженіе легло столбомъ черезъ всю рѣку. По этому столбу, мгновенно и часто, какъ большія черныя змѣи, мелькали волны, и весь онъ дрожалъ и искрился брызгами сталкивающихся валовъ. Дальше, гдѣ заводь кончалась, вода была покойна и тиха и, отражая черный берегъ, сонныя деревья, дома и заборы, спала безмятежно и сладко. А выше, по берегу, лѣпились домики — маленькіе, уютные, тихо спящіе. Кое-гдѣ въ окнахъ мелькалъ красноватый огонекъ, такой маленькій и скромный, что около него чувствовалась скромная, чистая и уютная жизнь, полная спокойствія и ласки. И было странно, что въ то время, когда здѣсь на плотинѣ бушуетъ цѣлый хаосъ звуковъ, когда въ бѣшеномъ бѣгѣ, отъ котораго дрожатъ толстыя старыя бревна, съ оглушительнымъ грохотомъ стремится внизъ вода, когда все здѣсь дышетъ злобою и страстью стихіи противъ поставленной людьми преграды,—тамъ все такъ мирно, спокойно и молчаливо. Въ этомъ было что-то тупое и сонное, и берегъ съ его уютными домиками и привѣтливыми огоньками начиналъ казаться безучастнымъ и холоднымъ, какъ мертвый...

Лопатинъ толкнулъ Валю и махнулъ рукой впередъ. Она двинулась и, перебѣжавъ плотину, спрыгнула съ груды наваленныхъ около нея камней. И едва только она ступила на землю, какъ грохотъ воды мгновенно погасъ, какъ будто

кто-то въ тихой комнатѣ закрылъ форточку, сквозь которую доносился сложный шумъ улицы. Только направо въ высокомъ темномъ зданіи мельницы все тотъ же сильный и огромный по прежнему неутомимо бубнилъ своимъ густымъ басомъ:

Гу-гу-гу-гу!!!..

— Развѣ можно такъ бѣгать по плотинѣ?—догоняя ее, говорилъ Лопатинъ; онъ запыхался, и лицо его горѣло оживленіемъ: — ты вѣдь упасть могла!..

Валя улыбнулась и, опять важная и спокойная, какою была на кладбищѣ, пошла впередъ.

То ощущеніе, которое испытали они, стоя на плотинѣ, измѣнило тему ихъ разговора. Теперь они говорили о будущей жизни, красивой и сильной, объ идеалахъ этой жизни и о тѣхъ формахъ, въ которыя эти идеалы выльются. Жизнь представлялась имъ широкой и свѣтлой дорогой, долгой и, можетъ быть, трудной, но они пройдутъ ее смѣло и бодро, поддерживая другъ друга, борясь со всѣмъ злымъ, нечистымъ и несправедливымъ. Они были молоды и вѣрили въ себя, были здоровы и сильны, и молодыя крѣпкія тѣла ихъ, полныя упругихъ не износившихся мускуловъ и горячей свѣжей крови, требовали труда и жертвы.

Проходя мимо распахнутыхъ воротъ мельницы, изъ которыхъ на улицу легла длинная, ровная полоса свѣта, на моментъ озаренные ею, они видѣли тамъ бѣлыхъ отъ мучной пыли людей, ворочавшихъ большіе, тяжелые мѣшки, видѣли какіе-то колеса и ремни, прыгавшіе и дрожавшіе въ непрерывномъ движеніи—и все это, вмѣстѣ съ глухимъ гуломъ и стукомъ, показалось имъ эмблемой жизни и труда.

И такъ, гордые своею чистотой и любовью, сильные молодостью, шли они по темной спящей улицѣ мимо молчаливыхъ въ своемъ глубокомъ снѣ маленькихъ домиковъ, мимо уныло-длинныхъ заборовъ, изъ-за которыхъ выдвигались черныя неподвижныя вѣтви деревьевъ, шли и говорили о двухъ полныхъ великаго смысла предметахъ: любви и жизни.

У калитки того дома, гдѣ жила Валя, они остановились и, стоя близко одинъ къ другому, продолжали говорить. Иногда они прерывали себя, прощались и опять говорили, и, вдругъ спохватившись, опять прощались и смѣялись надъ этимъ. Передъ ними была большая, долгая жизнь, но имъ жалко было каждой минуты этого вечера и трудно было разстаться, чтобы пробыть нѣсколько часовъ въ одиночествѣ другъ безъ друга. И они опять говорили и смѣялись, и все — и этотъ смѣхъ, и чувство неудовлетворенности и молодой силы, которая трепетала въ ихъ тѣлахъ — было для нихъ полно значенія.

Наконецъ, они подали другъ другу руки въ послѣдній разъ и умолкли. Тогда Лопатину показалось, что онъ еще что-то долженъ сдѣлать, но тотчасъ же онъ почувствовалъ мгновенный испугъ и вмѣстѣ съ тѣмъ приливъ необузданной смѣлости. И, протянувъ къ себѣ ея руку, онъ робко, по дѣтски, отчего стало смѣшнымъ и дѣтски-наивнымъ его энергичное, обросшее молодымъ пухомъ лицо,—сказалъ:

— Ты... позволишь мнѣ поцѣловать тебя?

Она наклонилась слегка и съ тѣмъ же строгимъ и яснымъ лицомъ, не глядя на него, а глядя прямо передъ собою, подставила ему щеку. Онъ прикоснулся къ ней робкимъ поцѣлуемъ, какъ будто боялся разбить прикосновеніемъ своихъ губъ эту мягкую, атласистую щеку, и склонился къ рукѣ. Потомъ разогнулся, снялъ фуражку и отступилъ назадъ. Она повернулась лицомъ къ нему, медленно и важно отвѣтила наклоненіемъ головы и пошла во дворъ. И было похоже, будто это были не студентъ и дѣвушка, учившаяся въ художественномъ училищѣ, пріѣхавшіе на лѣто въ свой родной городъ, а какіе-то средневѣковые вѣжливые маркизъ и его дама, ходившіе всегда въ парикахъ и фижмахъ, носившіе шпаги и жабо...

II.

Всѣ собрались, и рѣшено было идти къ Дѣвичьей Балкѣ, потому что это мѣсто считалось самымъ красивымъ изъ окрестностей города. Пока были въ комнатахъ — народу

казалось немного, но когда вышли на улицу—всѣмъ стало смѣшно, что незамѣтно набралась такая большая толпа.

— Куча мала, подваливай еще!—кричалъ толстый бѣлокурый студентъ Герасимовъ, стоя у крыльца въ распахнутой тужуркѣ, подъ которой мягкимъ тяжелымъ оваломъ круглилась его широкая жирная грудь и большой животъ, плотно обтянутый красной кумачной рубашкой.

— Боже мой, какъ насъ много, я никогда не думала, чтобы набралось столько народу!—удивлялась Фанни Эльснеръ, и было видно по ея чернымъ блестѣвшимъ глазамъ и вспыхнувшему яркимъ румянцемъ смуглому лицу, что это обиліе молодыхъ, жазнерадостныхъ и веселыхъ людей дѣйствовало на нее возбуждающе-весело.

— Да идите же, господа, что вы тамъ застряли!—торопилъ медикъ Ѳедоровъ:—вѣдь поздно уже, успѣете дорогой наговориться!

Наконецъ, всѣ вышли, и смѣющаяся, перебрасывающаяся отдѣльными фразами и шутками толпа двинулась по улицѣ, растянулась вдоль забора по досчатому тротуару, пошла по пыльной дорогѣ — весело, бодро и шумно.

— О, да-ай мнѣ забвенья-а, родна-а-а-я!
Явись легкой тѣнью-ю-у-у на ми-и-игъ!

Полнымъ и неожиданно звучнымъ голосомъ запѣлъ вдругъ Герасимовъ, и всѣ невольно умолкли. Но въ наступившей внезапно тишинѣ онъ самъ умолкъ и разсмѣялся.

— Ну, дальше, дальше, Герасимовъ, ну, пожалуйста! — закричала Фанни, и глаза ея заблестѣли, — пожалуйста! — повторила она.

— Нельзя, нельзя, ибо мы идемъ по стогнамъ града, гдѣ суть серьезные мужи, вооруженные саблями и принципомъ тащить и не пущать всякаго, замыслившаго нарушить общественную тишину и спокойствіе, — тяжело пыхтя и отдуваясь (благодаря толщинѣ, ему трудно было ходить),— отвѣчалъ Герасимовъ.—Вонъ, видите, подобный мужъ уже подозрительно шевелитъ своими тараканьими усами,—указалъ онъ на стоящаго у винной лавки городового, съ

любопытствомъ и какъ бы нѣкоторымъ безпокойствомъ смотрѣвшаго на толпу молодежи.

— Ну, вотъ пустяки, вѣдь мы почти за городомъ, и, потомъ, вѣдь вы ничего такого не дѣлаете... ну, пойте! — пристала Фанни.

— О женщины!—подымая кверху плечи и разставивъ въ стороны руки, воскликнулъ Герасимовъ, — если имъ захочется чего-нибудь, то весь свѣтъ ни почемъ, и даже страданія ближняго, могущаго очутиться въ каталажкѣ, имъ звукъ пустой! Погодите, — продолжалъ онъ, перемѣнивъ тонъ,—вотъ придемъ въ Дѣвичью Балку, разложимъ костеръ, когда стемнѣетъ, сядемъ всѣ вокругъ и споемъ.

— Это безобразіе, вы боитесь городовыхъ!

— Не боюсь городовыхъ, барышня, а чувствую священный трепетъ передъ тридцать седьмой статьей устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями!

Перешли рѣку, и городъ кончился. Направо виднѣлось старое кладбище, обнесенное бѣлой оградой, изъ-за которой подымались деревья, болѣе высокіе памятники и старая церковь съ приплюснутой колокольней; налѣво лѣпились покосившіеся, вросшіе въ землю, съ подслѣповатыми окнами, домики слободы, — а прямо разстилалось поле, изрытое глубокими черными бороздами. За нимъ намѣчалась Дѣвичья Балка—чистая березовая роща, густо засѣвшая по склону невысокой горы, у подножья которой, огибая ее, вился небольшой ручей.

Дорога сворачивала въ слободу и шла краемъ изрытаго поля, но, чтобы не дѣлать лишняго кругу, рѣшили идти прямо черезъ поле. И когда шли, то шалили, дурачились, прыгали черезъ ямы и бѣгали другъ за другомъ, какъ будто это были не взрослые люди, учившіеся въ университетахъ и институтахъ, слушавшіе курсы и служившіе, а выпущенные изъ класса школьники, радовавшіеся своей свободѣ... И только два человѣка изъ всей этой трепетной, брызжущей весельемъ и смѣхомъ толпы, были серьезны и важны, какъ старики, хотя имъ казалось, что они счастливѣе всѣхъ. Лопатинъ и Валя шли рядомъ и тихо говорили о томъ, какъ они гуляли вчера на кладбищѣ и смотрѣли

это самое поле, и о томъ, какъ, казалось имъ, они долго не видѣлись. Они не смѣялись, хотя радость жизни дрожала въ сердцахъ ихъ, и не шутили, хотя никогда жизнь не казалась имъ такой прекрасной и счастливой, какъ теперь. Съ ними вчера произошло что-то такое огромное по значенію и глубокое по смыслу, что они еще не успѣли опомниться, свыкнуться съ новымъ ощущеніемъ, и такъ много они пережили за это время, что казались себѣ жившими долго и мудро, серьезно и важно, такъ что смѣяться было нельзя.

Идя рядомъ крѣпкой и неторопливой походкой, оба молодые и немного торжественные,—она въ черномъ строго скромномъ платьѣ, онъ въ застегнутой до верху тужуркѣ, казавшійся легкимъ и сильнымъ,—они, казалось, несли вдвоемъ невѣдомую міру тайну, которую знаютъ только они двое—и горды своимъ знаніемъ...

Къ Дѣвичьей Балкѣ пришли, когда уже стемнѣло—и оттого, что солнце давно опустилось, и оттого, что небо заволокли набѣжавшія съ запада облака. Съ веселымъ молодымъ гамомъ стали собирать сучья для костра, ломали сухоподстой, тащили буреломъ, и долго въ тишинѣ и въ темнотѣ рощи звенѣли оживленные голоса, задорный смѣхъ, раздавался трескъ сухого дерева. Роща ожила—было странно видѣть ее темною и неподвижною и слышать въ ней смѣхъ и крики. Казалось, что здѣсь собрались не молодые люди и дѣвушки, которымъ надоѣла духота и пыль города, а вылѣзли изъ своихъ темныхъ убѣжищъ фавны и нимфы—веселые, дикіе и жестокіе—которые гоняются другъ за другомъ, ломаютъ вѣтви деревьевъ, догоняютъ другъ друга и мелькаютъ между неподвижными, чуть бѣлѣющими во мракѣ березами причудливыми, живыми силуэтами...

Костеръ собрали, и онъ запылалъ высокимъ яркимъ столбомъ желтаго прыгающаго огня, отъ котораго вдругъ все измѣнилось—стало необыкновеннымъ и сказочнымъ. Толстыя березы подступили ближе, и далеко протянувшіяся вѣтви ихъ съ любопытствомъ заглядывали въ освященный трепетнымъ огнемъ кругъ; мелкіе кус[illegible]лись и при-

никли къ землѣ осторожно и выжидательно. И люди—такіе знакомые, давно извѣстные, къ которымъ всѣ уже давно привыкли—стали новыми и чуждыми. Измѣнились ихъ знакомыя лица, стали багровыми, на нихъ неестественно-яркимъ блескомъ загорѣлись глаза, и хищно сверкали при улыбкѣ бѣлые зубы; движенія не были мягкими и закругленными, а сдѣлались рѣзкими и оборванными, и ихъ быстро и порывисто повторяли длинныя черныя тѣни. Гдѣ-то вспыхнулъ споръ—и подъ сводами старыхъ березъ, отдаваясь глухимъ эхомъ, голоса зазвучали страстно и громко, какъ будто люди не просто спорили, а сердились и требовали.

— Господа, полно спорить, неужели вамъ не надоѣло!—крикнулъ медикъ Ѳедоровъ, и эхо издали отвѣтило ему тотчасъ же:

— ...эло!!!...

— Конечно, довольно, будетъ, не надо спорить!—закричало нѣсколько голосовъ сразу, и споръ тотчасъ смолкъ.

— Герасимовъ, спойте!—попросилъ кто-то.

— Да, да, спойте, Герасимовъ!—хоромъ подхватили всѣ.

Герасимовъ оправилъ поясъ—длинный, украшенный кистями шнурокъ,—и, придвинувшись ближе къ костру, отчего рельефно вылѣпилась его тяжелая и неуклюжая, какъ у медвѣдя, фигура, запѣлъ нѣжнымъ и чистымъ, какъ голосъ женщины, и полнымъ и сильнымъ, какъ вся его грузная фигура, баритономъ. Сразу всѣ притихли и замерли въ томъ положеніи, какъ застала ихъ первая нота пѣсни, и въ этой мгновенно наступившей тишинѣ росъ и крѣпъ только красивый мягкій баритонъ да, какъ фонъ ему, осторожно потрескивалъ костеръ.

То, что пѣлъ Герасимовъ, была большая сильная пѣснь, и въ словахъ ея, такъ же, какъ и въ мотивѣ, чувствовалась твердая, какъ сталь, и блестящая, какъ она, мысль. Вѣроятно, композиторъ, написавшій эту пѣснь, проникся словами поэта и захотѣлъ создать такую вещь, которая дѣйствовала бы на мозгъ и сердце людей великой силой убѣжденія. И когда Герасимовъ, доканчивая пѣснь, твердымъ и высокимъ тономъ оборвалъ послѣднее слово,—голова его

была гордо поднята, и свѣтъ костра дробился прыгающими искорками въ его широко открытыхъ, вдохновенныхъ глазахъ.

Секунды двѣ царила мертвая тишина, въ которой плавалъ еще оборванный отзвукъ пѣсни, и вдругъ всѣ разразились громомъ апплодисментовъ. И долго въ молчаливой, удивленно шевелившей протянутыми къ костру вѣтвями рощѣ стоялъ непрерывный плескъ рукъ и восторженные крики одушевленныхъ пѣснью людей.

— Герасимовъ, еще, еще! Пожалуйста, еще!—кричали всѣ, и Герасимовъ, довольный и гордый успѣхомъ, шутливо раскланивался.

— Ахъ, Боже мой, еще, ну, миленькій, ну спойте еще! —приставала Фанни, возбужденная, быстрая, съ горящими глазами и пылающимъ смуглымъ лицомъ, сдѣлавшимся еще красивѣе и типичнѣе, и можно было подумать, что отъ того—будетъ или не будетъ пѣть Герасимовъ—зависѣла ея жизнь.

Герасимовъ съ доброй улыбкой посмотрѣлъ на нее и сдѣлалъ движеніе рукой. И опять сразу, точно по мановенію невидимаго дирижера, все смолкло и насторожилось въ чуткой тишинѣ. И опять слышались только трескъ и шипѣніе костра, въ который подбросили новыхъ сучьевъ.

Герасимовъ запѣлъ простую крестьянскую пѣсню, которую онъ слышалъ въ Костромской губерніи, когда былъ тамъ на статистическомъ изслѣдованіи, и которая подкупила его своей безыскусственной искренностью и той глубокой безысходной тоской, что — какъ струйка журчащаго ручейка, звенѣла въ каждой нотѣ мотива. Онъ пѣлъ про то, какъ осыпался зеленый садъ, какъ прощалась дѣвушка со своимъ милымъ, какъ болѣло ея сердце и горячія слезы текли изъ очей.

... Что ты ра-а-а-ано, са-а-дъ, цвѣте-е-шь,
Осы-паешься-а-а-а!!!

выводилъ Герасимовъ, и голосъ его стоналъ и плакалъ, и столько въ немъ было безконечной печали, скрытыхъ слезъ и тяжелаго горя, что становилось непонятнымъ, какъ могъ

тосковать этотъ толстый, бѣлокурый и добродушно-веселый студентъ, который ходитъ, отдуваясь и пыхтя, словно ему было тяжело носить свое грузное тѣло, и говоритъ не иначе, какъ шутливо-гаерскимъ языкомъ и тономъ...

Лопатинъ лежалъ рядомъ съ сидѣвшей на травѣ Валей и, крѣпко сжимая ея длинную тонкую руку, жадно ловилъ каждый звукъ пѣсни. Передъ нимъ вдругъ открылась новая, невѣдомая ему ранѣе область, словно завѣса спала съ его глазъ, и весь міръ ему казался не такимъ, какимъ былъ до сихъ поръ. И его нѣжная любовь къ сидѣвшей рядомъ съ нимъ дѣвушкѣ, и прошлое одиночество, и смутные порывы въ жизни, въ темную и таинственную глубину будущаго,—все соединилось, перепуталось и связалось въ одномъ блаженномъ невыносимо-остромъ ощущеніи ясности, красоты и—главное—огромной гармоніи, которое дала пѣсня. Гдѣ-то далеко, далеко были злоба, горе, несчастье, были люди, была жизнь, городъ, земля,—но это все было такъ далеко, ненужно и давно, какъ будто этого совсѣмъ не было. Здѣсь была сказка съ пылающимъ на полянѣ костромъ, отъ котораго разбѣгались трепещущія красныя пятна свѣта, съ старыми березами, съ любовью... Были звуки, жуткимъ холодкомъ бѣгущіе по нервамъ, звуки, отъ которыхъ сердце сжималось и въ одно и то же время хотѣлось и плакать, и смѣяться...

Это была сказка, полная жизни, и жизнь, полная сказочной красоты.

Герасимовъ давно кончилъ пѣснь, кругомъ что-то говорили, кричали, хлопали въ ладоши, а Лопатинъ по прежнему крѣпко сжималъ руку Вали и съ трепетнымъ, боязненнымъ изумленіемъ прислушивался къ тому новому, что властно и постепенно открывалось передъ нимъ и въ немъ. Осторожно, словно не довѣряя себѣ, оглядывалъ онъ знакомыя и странныя отъ краснаго свѣта лица, черныя тѣни, пятна свѣта и улыбался восторженной, немного растерянной улыбкой, какъ человѣкъ, который внезапно носитъ какую-то глубокую и свѣтлую тайну.

III.

Когда ночь совсѣмъ уже наступила, и черное, закрытое сдвинувшимися тучами небо наклонилось къ землѣ и охватило ее густымъ, непроницаемымъ мракомъ, всѣ собрались домой. Костеръ уже почти прогорѣлъ, и тусклый, красный отблескъ его освѣщалъ небольшой кругъ лужайки. Старыя большія березы опять отодвинулись отъ него дальше и недовольно шелестѣли листьями подъ набѣжавшимъ вѣтеркомъ, ропща и негодуя на нарушенный покой ихъ. Когда кто-нибудь изъ сидѣвшихъ оглядывался назадъ, въ сторону поля, онъ испытывалъ непріятное, жуткое чувство: такъ все тамъ было темно и мрачно и молчало мертвымъ холоднымъ молчаніемъ.

Первымъ поднялись женщины, потому что имъ стало холодно. Не думая такъ запоздать, онѣ не взяли съ собой верхняго платья и были всѣ въ легкихъ лѣтнихъ блузкахъ и легкихъ платьяхъ.

— Идемте, идемте, господа, холодно стало!—говорила Фанни, пожимая плечами и стараясь спрятать кисти рукъ подъ локти. Она вся потухла, оживленіе, которымъ она горѣла весь вечеръ, исчезло, и вся она, съ погасшимъ, сдѣлавшимся матовымъ и глубокимъ взоромъ, съежившаяся и сжавшаяся, напоминала маленькую слабую птичку.

— Тебѣ холодно? — наклонясь къ Валѣ, шепотомъ спросилъ Лопатинъ.

Она взглянула на него, и свѣтъ костра на моментъ зажегъ въ ея большихъ сѣрыхъ глазахъ двѣ яркія красныя точки. И казалось, что это не отблескъ холодѣющихъ углей, а сами глаза свѣтятся новымъ и страннымъ краснымъ блескомъ.

— Нѣтъ, милый, не холодно!—отвѣтила она.

Всѣ уже собирались двинуться и рѣшали только, идти ли полемъ, что въ темнотѣ было трудно и неудобно, или круговой дорогой черезъ лѣсъ и слободу, — когда на полянѣ появился новый человѣкъ. И едва только вышелъ изъ-за деревьевъ, какъ разговоръ и споры тотчасъ умолкли—

наступила быстрая недоумѣлая тишина—и всѣ съ изумленіемъ и нѣкоторой тревогой стали смотрѣть на него.

Человѣкъ съ мягкимъ, заглушеннымъ травою звономъ шпоръ прошелъ нѣсколько шаговъ къ костру и остановился. И тотчасъ же изъ-за него, словно рожденныя сгущавшеюся между деревьевъ тьмою, стали выростать новыя фигуры, большія, черныя, чуть озаренныя умирающимъ костромъ и оттого казавшіяся массивными и грубыми. И въ ихъ беззвучномъ и внезапномъ появленіи, въ напряженномъ полномъ безмолвіи, сразу смѣнившемъ смѣхъ и голоса стоявшихъ на полянѣ людей, было что-то непонятное и смутное, словно это было не на смомъ дѣлѣ, а во снѣ.

— Ого, да ихъ здѣсь много! проговорилъ первый подошедшій къ костру и усмѣхнулся, — все больше «учащаяся» молодежь! — добавилъ онъ съ тѣмъ же смѣшкомъ.

— Н-да, «учащаяся», — многозначительно повторилъ стоявшій рядомъ съ нимъ въ свѣтломъ лѣтнемъ пальто и форменной фуражкѣ.

— Ну, разговаривать долго некогда,—заявилъ первый— пожалуйте!

И слегка изогнувшись, онъ насмѣшливо учтивымъ жестомъ протянулъ лѣвую руку къ полю, отчего блеснули короткимъ и свѣтлымъ блескомъ его погоны и наконечники бѣлыхъ шнуровъ у плеча.

— Позвольте, что же это такое? — растерянно проговорила Фанни.

— Куда жаловать, зачѣмъ жаловать? — выдвигаясь изъ толпы впередъ, спросилъ Герасимовъ.

И эти слова послужили сигналомъ къ тому, чтобы всѣ заговорили, растерянно и негодующе, и задвигались. Со всѣхъ сторонъ посыпались вопросы, неоконченныя, оборванныя фразы, отдѣльныя слова, и въ этомъ общемъ нестройномъ гулѣ сразу потонули голоса Герасимова и отвѣчавшаго ему что-то офицера.

— Позвольте, господа, такъ нельзя, дайте выслушать — проталкиваясь впередъ, кричалъ медикъ Ѳедоровъ, — тутъ какое-нибудь недоразумѣніе...

— ... Я, какъ юристъ, говорю вамъ, что вы не имѣете права арестовать такъ, не имѣя на то никакихъ данныхъ!— послышались слова Герасимова.

— Ты не юристъ, а студентъ, мальчишка, молокососъ! — кричалъ на него человѣкъ въ свѣтломъ пальто. Когда тебѣ говорятъ: иди—ты не разсуждай, а иди!

— Вы не смѣете обращаться такъ даже съ арестованными!—рявкнулъ Герасимовъ и всѣмъ своимъ огромнымъ тяжелымъ тѣломъ двинулся на человѣка въ форменной фуражкѣ.

Мгновенно поднялся столбъ звуковъ — дикихъ и гнѣвныхъ, какъ крики звѣрей, въ которомъ ничего нельзя было разобрать, и который нестройнымъ гуломъ взлетѣлъ къ небу. Откуда то появились всадники на лошадяхъ, пугливыхъ, топчущихся, съ прижатыми назадъ ушами, косящихся злыми и дикими. Лошади боялись костра, его трепещущихъ кроваво-красныхъ бликовъ, шарахались въ сторону отъ черныхъ, рѣзко двигавшихся фигуръ людей и не хотѣли идти въ толпу, куда направляли ихъ всадники. И время отъ времени, среди криковъ, фырканья и металлическаго бряканья удилъ, раздавался рѣзкій, хлопающій звукъ нагайки, ударами которой лошадей заставляли двигаться впередъ. И тогда съ фырканьемъ, оскаливъ задернутые поводьями зубы, лошади кидались прыжками въ толпу, сбивали съ ногъ людей и среди стоновъ, криковъ и плача женщинъ, вертѣлись, то вздымаясь на дыбы, то присѣдая совсѣмъ къ землѣ, подъ ударами нагаекъ и каблукобъ всадниковъ.

— ... Черезъ поле въ городъ, рысью-у-у... аршъ!—внезапно и рѣзко пронеслось надъ толпой, и весь этотъ крикливый, двигающійся, растерянный и гнѣвный комокъ людей, окруженный цѣпью всадниковъ, дрогнулъ и, по прежнему крича и негодуя, сначала медленно, потомъ подъ напоромъ бѣсившихся лошадей — все быстрѣе и быстрѣе, двинулся внизъ къ ручью, за которымъ разстилалось невидимое черное поле.

— Я не пойду, это безобразіе, это чортъ зна... а-а-ахъ!—повисъ крикъ Герасимова и оборвался удивленно-бо

лѣзненымъ звукомъ, сквозь который послышался короткій и быстрый свистъ разрѣзываемаго чѣмъ-то тонкимъ и длиннымъ воздуха.

— А-а-а, ты такъ, ты та-акъ!—кричалъ кто-то въ той сторонѣ заглушенно и злобно, какъ сквозь стиснутые зубы — ты та-акъ!

И опять въ воздухѣ засвистѣло что-то тонкое и длинное, послышались глухіе, хлопающіе удары и безсмысленный тупой крикъ: «а-а-а-а!!!»

И это было такъ страшно, что люди обезумѣли, рванулись впередъ и побѣжали въ разстилавшійся передъ ними мракъ.

Ручей былъ неглубокій, но берега его заросли по краямъ длинной острой осокой и мохомъ, образовавъ топкое ржавое болото. Бѣжавшіе люди вязли въ немъ по колѣно, съ трудомъ вытягивали ноги изъ засасывающей тины, спотыкались и падали съ вытянутыми впередъ руками въ холодную и липкую грязь. Потомъ подымались и, подъ напоромъ двигавшихся сзади метавшихся и шлепавшихъ лошадей, бѣжали дальше. Самый ручей перебѣгали вбродъ падая въ водѣ, захлебываясь и выползая на другой берегъ на четверенькахъ, измокшіе, грязные и задыхавшіеся отъ усилія и страха, который гналъ ихъ впередъ. Потомъ побѣжали по полю — черному, огромному, изрытому глубокими бороздами, о которыя спотыкались, падали и, подъ ударами, окриками и свистомъ кнутовъ, подымались, обламывая ногти, разрывая платье, ссаживая на колѣняхъ и ладоняхъ кожу. Это было дикое, страшное бѣгство слѣпыхъ отъ ужаса и окружающей темноты людей, обезумѣвшихъ отъ насилія и боли, паническое, животное бѣгство стада. А сзади, осыпая ударами спотыкающихся лошадей, упиравшихся, подымавшихся на дыбы, съ отвратительной бранью, свистомъ и крикомъ двигались всадники, злые отъ того, что имъ приходится ѣхать по этому изрытому полю, гнать лошадей съ рискомъ сорваться каждую минуту съ сѣдла и полетѣть въ какую-нибудь невидимую яму.

И молчаливое до сихъ поръ поле вдругъ ожило нелѣпой и жестокой, похожей на кошмаръ, жизнью, въ кото-

рой гнѣвные крики и безсильно злобные стоны мужчинъ, истерическія всхлипыванья женщинъ, топотъ ногъ и свистъ ударовъ смѣшались въ безумный и дикій аккордъ. Люди бѣжали черной перепутавшейся кучей, сталкиваясь другъ съ другомъ, сшибая одинъ другого съ ногъ, давя упавшихъ, бѣжали, охваченные плотнымъ, непроницаемымъ кольцомъ всадниковъ на пугливыхъ отъ мрака и шума лошадяхъ,—и слѣдя за черными мелькающими силуэтами бѣгущихъ людей и прыгающихъ лошадей, можно было подумать, что это не настоящая, реальная жизнь, а порожденные мракомъ угрюмаго поля призраки.

...Лопатинъ бѣжалъ рядомъ съ Валей и крѣпко сжимая ея руку выше локтя, поддерживая и толкая ее, растерянно кричалъ ей безсмысленныя, ни къ чему не идущія слова:

— Это ничего, ничего, это такъ... Ничего!

А она, задыхающаяся, съ крѣпко стиснутыми зубами, подхвативъ руками передъ платья, молча бѣжала все впередъ и впередъ, спотыкаясь, падая, поддерживаемая только имъ, бѣжала, какъ лунатичка, ничего не видя и не слыша... Такъ бѣжали они рука объ руку, сжавшіеся и растерянные, увлекаемые толпой, съ тупымъ холодомъ въ сердцахъ, безъ мыслей, съ смутнымъ сознаніемъ какой-то огромной нелѣпости и жестокости...

Впереди, по сторонамъ, сзади бѣжали люди, и они слышали свистящее дыханіе ихъ. Иногда среди этихъ черныхъ мелькающихъ фигуръ вдругъ возвышалось казавшееся огромнымъ храпящее и брякающее желѣзомъ пятно, они чувствовали горячее дыханіе, и опять все исчезало, и были однѣ только глубокія, твердыя борозды, въ которыя они обрывались, падали, подымались и опять бѣжали. И были моменты, когда имъ чудилось, что они бѣгутъ такъ не нѣсколько минутъ, не полчаса, а страшно давно, всю жизнь, и всю жизнь имъ придется бѣжать, спотыкаться и падать, подыматься и опять бѣжать съ тупымъ и дикимъ чуствомъ ужаса въ душѣ... И какъ будто нигдѣ никогда не было ни любви, ни радости, ни людей, ни жизни, а было только одно огромное изрытое поле, хриплое дыханіе людей, крики, стоны, плачъ и свистящіе упругіе уда-

ры нагаекъ. Все отупѣло и замерло, сжалось въ холодный комокъ, и было только одно стремленье: бѣжать!..

И люди бѣжали, спотыкаясь и падая, истерзанные, оборванные и окровавленные, и все это было похоже не на жизнь, а на какой-то безумный сонъ.

Передъ Лопатинымъ вдругъ развернулась черная, какъ пропасть, канава, и не удержавшись, онъ сорвался въ нее, увлекая за собой Валю.

— Дьяволы, черти, анафемы!—заоралъ кто-то надъ ними, и тотчасъ же Лопатинъ почувствовалъ острую жгучую боль черезъ весь лобъ и у глаза, какъ будто его обожгла невидимая молнія.

— Вылѣзай, дьяволы, лѣзь—кричалъ тотъ же голосъ, и та же боль опять въ головѣ, потомъ на плечахъ, на спинѣ заставила его вскочить и, не выпуская руки Вали, карабкаться наверхъ. Они вылѣзли и опять двинулись впередъ, и Лопатинъ чувствовалъ, какъ что-то липкое, сладковатое тянется ему въ ротъ, застилая глаза.

— Берегись, черти!—крикнули сзади, и не успѣлъ Лопатинъ опомниться, какъ огромная, тяжелая масса, обдавъ на моментъ запахомъ лошадинаго пота, перепрыгивая черезъ канаву, изъ которой они только что выбрались, сшибла его съ ногъ, и онъ покатился куда-то въ яму.

— Валя, Валя!...—безпомощно и громко крикнулъ онъ и, ударившись головою о что-то твердое, на моментъ потерялъ сознаніе.

Но это былъ только моментъ. Черезъ секунду онъ опять вскочилъ и побѣжалъ, все съ тѣмъ же безпомощнымъ и громкимъ крикомъ: «Валя, Валя!»

И тогда наступило что-то непонятное и страшное. Онъ вдругъ потерялъ ее. Кругомъ—впереди, сзади и съ боковъ—мелькали черные бѣгущіе силуэты, вырисовывались на моментъ и опять пропадали лошади и всадники, въ ушахъ звонкой, пронзительной нотой повисъ женскій крикъ, и онъ машинально узналъ въ немъ голосъ Фанни, но ея... ея не было! И, какъ подстрѣленная птица, заметался онъ по толпѣ, обгоняя, наталкиваясь на людей и лошадей, падая и сшибая съ ногъ и крича жалобно и страстно:

— Валя, Валя!

На него налетѣла лошадь, но онъ удержался на ногахъ и съ дикой неестественной силой разъяреннаго звѣря, ухватившись за какой-то ремень—кажется, отъ мундштука узды—рванулъ кверху и назадъ, ссаживая до крови руку. Лошадь взметнулась на дыбы и съ размаху грохнулась назадъ себя, подминая подъ сѣдло солдата, и, метаясь по толпѣ, Лопатинъ слышалъ въ той сторонѣ быструю возню и чьи-то болѣзненные, жалкіе стоны. И съ тѣмъ же растерянным, безпомощнымъ ужасомъ въ душѣ, по прежнему выкрикивая одно и то же слово, онъ, слыша эти стоны, чувствовалъ въ душѣ злобную, дрожащую радость отъ того, что кто-то стонетъ такъ больно и жалобно...

Ихъ перегнали черезъ поле, черезъ мостъ и повели по спящимъ улицамъ города.

Мимо мелькали мирные, спящіе домики, маленькіе и уютные, окруженные сонными деревьями садовъ. Кое-гдѣ въ окнахъ мелькалъ огонекъ, и—чувствовалось—около него было тепло, тихо и уютно. И при видѣ этихъ мирныхъ, спящихъ домиковъ, ласковаго и уютнаго свѣта въ окнахъ, было странно и непонятно—какъ могли они быть такими уютными и спокойными въ то время, когда тутъ, возлѣ нихъ, движется такое огромное насиліе, страданіе и ужасъ...

IV.

Лопатинъ увидѣлъ Валю уже въ полицейскомъ управленіи, въ большой, грязной комнатѣ, раздѣленной на двѣ неравныя части грубой, крѣпкой рѣшоткой. Уже смотрѣло въ окна слѣпымъ свѣтомъ утро, и въ сырой холодной комнатѣ отъ этого мертваго бѣлесоватого свѣта было, какъ будто, еще холоднѣе. Раздѣленные на двѣ неравныя группы, мужчины стѣснились въ большую, черную и угрюмую массу, женщины стояли слабой, робкой и растерянной кучкой,—люди стояли на заплеванномъ, грязномъ полу и ждали. Кругомъ каждой группы плотнымъ кольцомъ молча стояли солдаты, заспанные, съ сѣрыми хмурыми лицами

и въ сѣрыхъ шинеляхъ, такихъ же грубыхъ, какъ и ихъ лица. Помощникъ пристава въ разстегнутомъ сюртукѣ, изъ-подъ котораго видна была заношенная, смятая рубашка, стоялъ у рѣшетки и курилъ, пуская тонкія струйки сизаго клубящагося дыма.

Ждали пристава, который говорилъ въ сосѣдней комнатѣ по телефону. Приставъ былъ старый холостякъ, армейскій полковникъ, грязный и много пившій вина, и его сиплый срывающійся голосъ, говорившій отрывочныя, не связанныя по смыслу слова, звучалъ въ тишинѣ двухъ большихъ комнатъ, казавшихся отъ стоявшаго въ нихъ молчанія пустыми, хрипло и сердито.

— А? Что? Да, привели... Студенты, студенты... Есть и женщины... Я знаю, это отъ васъ прислали сказать! Нѣтъ, оно занято, придется прямо туда, къ Николаю Маркелычу... Хорошо, хорошо, сейчасъ примемся... Будьте спокойны, все, что найдемъ—пришлемъ. Вамъ или въ правленіе? Вамъ, говорю, или въ жандармское правленіе найденное-то прислать? Ага... ну, хорошо, хорошо, такъ и сдѣлаемъ!..

Звонокъ забрякалъ короткими, отрывистыми ударами, и вслѣдъ затѣмъ послышались грозные шаги и звонъ шпоръ.

— Ѳедоръ Лукичъ, женщинъ сюда... Да позовите г. жандармскаго офицера!—отдуваясь, проговорилъ приставъ, заглядывая въ комнату,—да поскорѣе, пожалуйста!

Помощникъ пристава притушилъ папиросу и, запахнувъ сюртукъ, вышелъ. Черезъ минуту онъ вернулся съ офицеромъ, молодымъ, краснолицымъ и веселымъ. Звеня шпорами и играя на ходу обтянутыми узкими рейтузами ляжками, офицеръ прошелъ черезъ комнату и заговорилъ съ приставомъ:

— Начнемъ, начнемъ, пора уже... И такъ ночь не спали... Что дѣлать — служба!

Приставъ нахмурился и сдѣлалъ распоряженіе ввести женщинъ.

Толкаясь, съ испуганными лицами и нѣмымъ вопросомъ въ широко открытыхъ глазахъ, женщины прошли въ комнату. За ними двинулось человѣкъ шесть жандармовъ и

городовыхъ, потомъ помощникъ пристава, и дверь заперлась... На нѣсколько минутъ воцарилась чуткая тишина, въ которой чувствовалось зарожденіе чего-то нечистаго и безстыднаго. Потомъ за дверью кто-то глухо заговорилъ такъ, что словъ нельзя было разобрать, потомъ послышались негодующіе возгласы женщинъ.

Мол-чать! — срывающимся крикомъ донесся голосъ пристава. Пятчукъ, начинай!

И вдругъ неожиданно и громко закричалъ кто-то. Стоявшіе плотной кучкой мужчины зашевелились и двинулись.

Кку-у-уды?—свирѣпо и тихо бросилъ унтеръ, глядя черезъ плечо и сдерживая имъ напоръ толпы.

— Легче, землякъ! — равнодушно проговорилъ высокій жандармъ, осаживая спиной Лопатина.

Крикъ повторился громче. Чей-то низкій басъ заглушилъ его, потомъ заговорило много голосовъ сразу.

Лопатинъ оглядѣлся на Герасимова. Весь избитый, въ изорванной рубашкѣ, такъ что было видно его пухлое, мягкое тѣло, онъ стоялъ, прислоняясь спиной къ холодной печкѣ, и тупо смотрѣлъ предъ собою. На лѣвой сторонѣ лица отъ виска къ губамъ у него тянулся багровый подтекъ, рѣзко выдѣлявшійся на полномъ, желтоватомъ лицѣ. Лѣвый глазъ странно щурился и по временамъ закрывался, какъ будто онъ хотѣлъ смигнуть что-то и не могъ.

— Ну, что же ты, ну?—думалъ Лопатинъ, какъ будто ожидая, что Герасимовъ долженъ что-то сдѣлать или какъ-нибудь поступить, услышавъ крики.

Но Герасимовъ по прежнему тупо и безсмысленно смотрѣлъ передъ собою и все хотѣлъ смигнуть что-то, что мѣшало его лѣвому глазу.

Вдругъ Лопатинъ вздрогнулъ и насторожился. Тамъ, за дверью, происходило что-то. Чуткимъ, обострившимся слухомъ онъ уловилъ звуки борьбы и среди многихъ голосовъ— голосъ Вали. Тогда, не отдавая себѣ отчета, а повинуясь только внутреннему толчку, онъ однимъ ударомъ отшвырнулъ высокаго жандарма, на мгновеніе почувствовалъ нестерпимую боль въ ободранной рукѣ и, прыгнувъ къ двери, распахнулъ ее. И то, что онъ увидѣлъ, такъ поразило его,

что онъ остановился, сжался въ одинъ напряженный, дрожащій комокъ мускуловъ, какъ звѣрь, готовый сдѣлать огромный прыжокъ.

Посреди комнаты, у заваленнаго бумагами и книгами стола, среди лохмотьевъ платья и бѣлья, которые, очевидно, сдирали насильно, съ растрепанными волосами, длинными, свѣтлыми, какъ чесанный ленъ, обнаженная и трепетная, стояла Валя. Въ мучительномъ стыдѣ она закинула руки кверху, закрывая ладонями лицо, и закругленные, розовые локти острымъ угломъ поднялись надъ всѣмъ тѣломъ. Среди грязной съ почернѣвшими стѣнами комнаты, освѣщенная падавшимъ изъ окна сизымъ утреннимъ свѣтомъ,—она казалась ослѣпительнымъ яркимъ лучемъ, застывшимъ и холоднымъ, какъ мраморное изваяніе.

Лопатинъ ничего не видѣлъ. Онъ чувствовалъ, какъ что-то тяжелое и теплое медленно и сильно ударило въ голову, въ глазахъ стало красно и темно, и—чтобы не упасть—онъ шагнулъ впередъ. Но тотчасъ же дикая ярость огнемъ прокатилась по всему тѣлу, сдавила грудь и сдѣлала мускулы желѣзными. Однимъ прыжкомъ онъ навалился на черное и большое тѣло, возившееся у ногъ Вали, и, сцѣпившись съ этимъ чернымъ, упругимъ и хрипящимъ силуэтомъ, покатился по полу, роняя стулья, сдвинувъ столъ, съ котораго посыпались книги, какія-то бутылки, что-то загрохотало и зазвенѣло звукомъ разбитаго стекла. На него навалились, и онъ смутно, какъ сквозь красный туманъ, видѣлъ, что его кто-то тащитъ по грязному полу, мелькнули какія-то оскаленныя лица, острая боль въ головѣ смѣшалась съ ощущеніемъ насѣвшей на плечи тяжести; потомъ у самыхъ глазъ онъ видѣлъ двигавшіяся каменныя плиты, и опять боль—въ головѣ, въ спинѣ, въ груди, страшная, жгучая и нестерпимая, сыпавшаяся непрерывно, словно на него падали огромные, тяжелые камни... Онъ визжалъ, кусался, кому-то наносилъ удары руками и ногами — и, изнемогая подъ сыпавшимися на него камнями, впился зубами въ чей-то грубый, пахнувшій новой кожей сапогъ, рванувшійся въ сторону и замотавшійся вмѣстѣ съ его головой въ воздухѣ...

Потомъ большая тяжесть упала на его темя, все затя-

нулось густѣющимъ чернымъ мракомъ и медленно уплыло куда-то въ сторону...

V.

Очнулся онъ ночью, лежа на холодныхъ каменныхъ плитахъ. Кругомъ было темно и тихо и такъ пусто, что, казалось, не было жизни. Гдѣ-то въ углу падала медленными и тяжелыми каплями вода, непрерывно и размѣренно, какъ тиканье маятника. Если долго вслушиваться въ этотъ однообразный звонъ капель, — начинало казаться, будто онѣ разсказываютъ что-то, падаютъ каждая съ своимъ выраженіемъ, повышая и понижая тонъ. И изъ этихъ звуковъ сплеталась тонкая и звенящая нить странной и осторожной мелодіи. Иногда она крѣпла, звучала сильнѣе, откуда-то со стороны въ нее незамѣтно вступали мѣдныя трубы, мягко оттѣненныя глухимъ и ритмическимъ буханьемъ барабановъ. Трубы осмѣливались, звучали крѣпче и сильнѣе, смычки тверже нажимали на струны и ровными, торжественными и упругими темпами приближался красивый и сильный вальсъ. И отъ этого въ душѣ Лопатина становилось тепло и трогательно, какъ отъ струи мягкаго весенняго вѣтра. Но вальсъ начиналъ постепенно удаляться и гаснуть, скрипки одна за другой умолкали, отставали барабаны, таяли и расплывались мѣдныя трубы,—и опять гдѣ-то въ углу звучно и монотонно, какъ маятникъ невидимыхъ часовъ, падали капли, отсчитывая плывшее въ темнотѣ время.

Потомъ опять робко и блѣдно рождался и дрожалъ въ воздухѣ слабый мотивъ.

Тупо и вяло, по одной только привычкѣ, сознаніе Лопатина хотѣло выдвинуть вопросъ о томъ, гдѣ онъ лежитъ. Но память ничего не подсказала ему, и вопросъ потухъ, какъ слабый огонекъ въ темной степи. Къ тому же, думать было ужасно больно, мысли ползли одиноко, не рождая одна другую, какъ обыкновенно, а растерянно и сиротливо. И едва только одна изъ нихъ появлялась въ темнотѣ сонаго сознанія, какъ красивый, твердыми темпами прибли-

жавшійся вальсъ опять удалялся, и звучали однѣ только капли падавшей гдѣ-то воды.

Лопатину хотѣлось пить, и онъ пожевалъ губами. И тутъ онъ ощутилъ въ своемъ лицѣ странность, которой не замѣчалъ раньше. Губы его были толсты и тяжелы, какъ будто онѣ были сдѣланы изъ сырой резины, и подвинулись къ самымъ ноздрямъ, такъ что дышать было трудно. И когда онъ хотѣлъ поднять руку и ощупать свое лицо, то не могъ это сдѣлать: рука была безсильна и не слушалась его, и о присутствіи ея онъ догадался только по зудящей, тоскливой боли между локтемъ и плечомъ.

Эта боль что-то подсказала ему, и въ пустой черной памяти явилась маленькая искра.

— Меня избили... — съ трудомъ шевеля распухшими и потрескавшимися губами, прошепталъ Лопатинъ.

И эти слова пробудили въ немъ смутное и далекое впечатлѣніе.

Какое-то широкое, изрытое глубокими бороздами, поле; мракъ, тянувшійся отъ одной борозды къ другой, какъ стелющійся по землѣ черный дымъ; черные силуэты въ паническомъ страхѣ бѣгущихъ людей... оскаленные зубы запрокинувшійся назадъ себя лошади и жалобный стонъ, и безумное ощущеніе какой-то страшной утраты, чего-то такого, что сейчасъ надо найти, отыскать, увидѣть.

— Валя, Валя! — прошепталъ онъ и, словно отъ электрическаго удара, поднялся и сѣлъ.

Ярко, какъ озаренная молніей, передъ нимъ вдругъ встала обнаженнная, съ закинутыми руками и растрепавшимися свѣтлыми, какъ чесанный ленъ, волосами, фигура Вали — нѣжной, чистой Вали. Сердце сжалось и замерло, и вдругъ, точно сорвавшись съ крюка, бѣшено заколотилось въ груди сердце, а въ головѣ стремительно и безобразно, давя одна другую, понеслись разорванныя, страшныя мысли. И все то, что за минуту передъ тѣмъ таилось гдѣ-то въ углахъ погруженной въ мракъ комнаты, — вдругъ поднялось и въ бѣшеной пляскѣ завертѣлось передъ глазами Лопатина...

И тогда онъ въ одинъ моментъ страшнымъ напряженіемъ мозга, тѣла и чувства вспомнилъ и пережилъ снова

все: и роскошный гаснущій вечеръ на кладбищѣ, и первый трепетный поцѣлуй, и свѣтъ костра, и пѣсню, и бѣгъ по черному полю, и бѣшеную драку въ участкѣ...

Опираясь здоровой рукой въ холодныя плиты пола, уставивъ неподвижные, вылѣзавшіе изъ орбитъ глаза въ одну точку, съ безумной тоской въ душѣ,—сидѣлъ Лопатинъ въ темной, какъ могила, комнатѣ и, подъ звукъ равномѣрно падающихъ тяжелыхъ и звонкихъ капель, вспоминалъ все, что было... И все, что было,—было такъ нелѣпо, безсмысленно и жестоко, что походило на дикій кошмаръ, отъ котораго мучительно хотѣлось проснуться...

СТИХОТВОРЕНІЯ

ИЗЪ ПЕТЕФИ.

Я люблю; я люблю, какъ, быть можетъ, никто
На землѣ никого не любилъ.
Въ честь возлюбленной звучныя пѣсни пою,
Ей и жизнь я свою посвятилъ.
Но не смертная дѣва подруга моя,—
Ея имя свобода, боговъ она дочь.
Но съ рожденья проклятіе рока надъ ней
Тяготѣетъ, какъ черная ночь.
Я люблю, но увы! — я богиню мою
Могу видѣть лишь только во снѣ.
И сегодня въ саду, средь душистыхъ цвѣтовъ,
Она ночью явилася мнѣ.
Я къ ногамъ ея съ страстнымъ признаньемъ упалъ,
Простирая къ ней руки съ мольбой.
И хотѣлъ я возлюбленной розу сорвать...
Вдругъ явился палачъ предо мной.
Онъ сверкающій мечъ надо мною занесъ, —
И сложилъ я у царственныхъ ногъ
Свою мертвую голову вмѣсто цвѣтка,
Какъ любви драгоцѣнный залогъ.

С. Верховянцевъ.

* * *

Какъ звѣздъ на темномъ небосводѣ,
Погибшихъ жертвъ не сосчитать...
Стремились смѣлые къ свободѣ,
Чтобъ за свободу умирать!
Съ благоговѣніемъ колѣни
Склонить предъ ними мы должны,
Всходя на свѣтлыя ступени
Подъ знамя новое страны.
Сибири глубь, снѣговъ пустыни —
Темницы, цѣпи, эшафотъ —
Для насъ нетлѣнныя святыни,
Въ крови зардѣвшійся восходъ!
И будетъ тамъ могучей силы
Источникъ вѣчный для сердецъ,
Гдѣ безымянныя могилы
Хранятъ безсмертія вѣнецъ!

А. Лукъяновъ

ОНА ИДЕТЪ...

Она идетъ.
Въ ея рукѣ могучей знамя,
Какъ ярко трепетное пламя,
Закрыло мрачный небосводъ.

Толпа гудитъ и безъ конца
За нею движется потокомъ...
Какъ звѣзды въ сумракѣ глубокомъ,
Горятъ восторженно сердца!

Жизнь безпросвѣтная рабовъ
Проснулась съ крикомъ возрожденья, —
И разорвавшіяся звенья
Упали громомъ на враговъ!

То жалкій гнѣвъ, то снова лесть
Твердятъ испуганно тираны,
Но имъ въ отвѣтъ раскрылись раны,
Блеснула кровь и съ кровью месть!...

Надъ ними судъ свершитъ народъ,
Народъ не рабъ — народъ властитель...
Какъ смѣлый вождь, какъ грозный мститель,
Она идетъ!

А. Лукъяновъ.

Изъ Былого.

I.

МАТЕРИ.

Не плачь, о мать моя, и сына не кори!
Не горе домъ твой посѣтило.
Съ тоской и горечью врагамъ не говори,
Что сына ты похоронила.
Но ты скажи, что духомъ онъ возсталъ
Изъ ненавистной ночи гроба,
Когда увѣровалъ и истину позналъ,
И что ему смѣшна ихъ злоба!
Что много насъ; что съ бою счастье взять
Идемъ мы, не страшась гоненья,
И что, любя, за братьевъ погибать —
Нѣтъ въ мірѣ выше наслажденья!
Родимая!... Ты можешь ли понять
Слова мои? Одна моя кручина,—
Что, умирая, можешь ты сказать:
«Я раньше схоронила сына»...

1884 г. СПБ.

II

АРЕСТЪ.

Ночь. Тихо. Ни стоновъ, ни слезъ
Отъ муки нездѣшней и боли...
Въ темницу я тѣло принесъ,
Но душу оставилъ на волѣ.
Тамъ думы, всѣ думы мои!
Тамъ—ужасъ, тамъ праздникъ насилья...
У воли, залитой въ крови,
Оборваны свѣтлыя крылья...
Вотъ, вижу я: бродятъ они,
Отряды бойцовъ неумѣлыхъ,
Лишенныхъ въ нена_тные дни
Вождей закаленныхъ и смѣлыхъ.
Врагу ли ударъ нанести
Минута велитъ роковая,—
Колеблясь стоятъ на пути,
Въ раздорахъ отвагу теряя.
Примчится ль стремительный шквалъ —
Разсѣются, робки и слабы...
И воетъ злорадно шакалъ,
И квакаютъ гнусныя жабы!
Изъ мрака все зло поднялось,
Поминки справляя по волѣ...
Ночь. Тихо. Ни стоновъ, ни слезъ
Отъ муки нездѣшней и боли!

1885 г. Петропавл. крѣп.

III.

АКРОСТИХЪ.

Такой есть міръ, гдѣ нѣтъ зари разсвѣта,
Юдоль тоски, гдѣ безъ цвѣтовъ весна...
Разбита жизнь—и стоны безъ отвѣта,
Мелодій нѣтъ у вѣщихъ струнъ поэта,
Алтарь погасъ — и въ храмѣ тишина!

IV.

ВЪ ОЖИДАНІИ СУДА.

Передъ отравленною чашей,
Вамъ шлемъ завѣтъ прощальный свой,
Вамъ, кто пошелъ дорогой нашей,
Кто взялъ нашъ крестъ, тотъ крестъ святой:
— Впередъ идти! Подъ вихремъ бурнымъ,
Подъ громомъ, въ сумракѣ ночномъ!
Ни утромъ яснымъ и лазурнымъ
Не отступить передъ врагомъ!
Ни предъ улыбкою умильной,
Ни предъ угрозою его,
Ни передъ жертвой непосильной
И стономъ сердца своего!
И знайте: нѣтъ для васъ пощады,
Какъ послѣ—воздаянья нѣтъ...
Вѣнокъ терновый безъ награды
И вьюгой заметенный слѣдъ!
Но предъ отравленною чашей
Предстать съ сіяющимъ челомъ
Изъ глубины могилы нашей
Благословеніе вамъ шлемъ.

1887 г.

V.

НАДПИСЬ НА СИБИРСКОМЪ ЭТАПѢ.

Прости, о родина, прости!
Я въ край безвѣстный ѣду...
Ты, юность новая, — рости,
Чтобъ тотъ же крестъ себѣ найти,
Идя по правому пути,
Иль, наконецъ, побѣду!

П. Я. (Л. Мельшинъ).

ИЗЪ ШЛИССЕЛЬБУРГСКИХЪ МОТИВОВЪ.

I.

(Товарищу по заключенію Н. Д. Похитонову.)

О будущемъ твоемъ мечтая,
Хочу, чтобъ мы дождались дней,
Когда страна твоя родная
Вздохнетъ вольнѣй!
Когда среди родныхъ полей
Свободы вѣсти пронесутся
До отдаленнѣйшихъ морей,
И всѣ, кто спитъ теперь, проснутся.
Тогда воскреснутъ къ жизни въ ней
И, сбросивъ тяжкую дремоту,
За плодотворную работу
Возьмутся тысячи людей.

В. Н. Фигнеръ.

II.

ПѢСНЯ.

(На голосъ «Проведемте, друзья»...)

Мы сомкнемся, друзья
Дорогіе, тѣснѣй,
И пусть наша семья
Заживетъ веселѣй!

Все отнявъ, чѣмъ свѣтъ милъ,
Схоронили насъ здѣсь,
Чтобъ лишить гордыхъ силъ,
Что̀ въ душѣ еще есть.

Что̀ же можетъ врагу
Ненавистнѣе быть,
Какъ не то, что ему
Насъ и здѣсь не сломить?

Пусть же наша семья
Такъ встрѣчаетъ вражду,
Какъ утесъ вѣковой
Разбиваетъ волну.

Мы хотимъ до конца
Сохранить честь бойца,
Мы хотимъ предъ враждой
Быть семьею одной,—

Чтобъ, на радость врагу,
Не представить въ концѣ
Лишь руину одну
Въ прежде сильномъ бойцѣ!

Такъ сомкнемся-жъ, друзья
Дорогіе, тѣснѣй,
И пусть наша семья
Заживетъ здѣсь дружнѣй!

В. Н. Фигнеръ.

А. СЕРАФИМОВИЧЪ

НА МОРѢ

Громадный пароходъ отвалилъ отъ набережной, далъ полный ходъ, и черезъ полчаса и городъ, и гавань, и множество судовъ, лѣсъ мачтъ, все потонуло въ туманно-синеватой мглѣ.

Пассажиры располагались, кто какъ могъ: сидѣли, лежали на канатахъ, на тюкахъ, на своемъ багажѣ, стояли на носу и подолгу смотрѣли, какъ разворачиваетъ на обѣ стороны носъ пѣну, какъ ныряютъ и выскакиваютъ передъ параходомъ «морскія свиньи», и какъ до самаго края море переливается и играетъ на солнцѣ.

Вокругъ вода да небо.

Толстый краснолицый подрядчикъ, у котораго шея набѣгала на воротъ складками, въ длиннополомъ кафтанѣ, ходилъ по палубѣ, глядѣлъ на сложенные на палубѣ канаты, цѣпи, на черную большую трубу, которая то дымилась густыми черными клубами, чуть не до самаго горизонта тянувшимися надъ моремъ, то струилась прозрачнымъ, едва уловимымъ, горячимъ воздухомъ.

На мостикѣ скучно и монотонно изъ конца въ конецъ шагалъ помощникъ капитана, и стояли два матроса, легонько поворачивавшіе штурвалъ.

Прозвонили къ завтраку. Подрядчикъ спустился въ общую каюту, гдѣ за длиннымъ столомъ уже сидѣла публика, крякнулъ, усердно покрестился на икону и тоже усѣлся. Выплыла изъ каюты его жена, тучная, дебелая.

Подрядчикъ выпилъ, еще разъ крякнулъ и принялся за осетрину.

— Ну, а ты, мать, чего же?

— Чегой-то и не хочется, Иванъ Митричъ—проговорила она томно,—потянулась за графиномъ и налила себѣ водки.

— А позвольте узнать,—проговорилъ подрядчикъ, забирая на тарелку третій кусокъ осетрины—позвольте узнать, когда мы будемъ на Аѳонѣ?

— Послѣ завтра, должно быть,—проговорилъ сидѣвшій съ ними рядомъ чиновникъ.

— Да-а, вотъ третій годъ все собираюсь Аѳонъ посѣтить, Господа возблагодарить. Правду надо сказать, потрудился таки я: вѣдь двадцать три церкви построилъ, честной человѣкъ! Какъ вы думаете, мало трудовъ положено?

— Гдѣ же вы церкви строили?

— По деревнямъ все. Какъ разрѣшеніе получатъ на постройку, сейчасъ ко мнѣ, потому—знаютъ, что если ужъ возьмусь, будетъ все честно, благородно, прочно и хорошо. Какъ же, въ нашемъ округѣ меня въ пяти губерніяхъ знаютъ. Самъ преосвященный владыка благословилъ за труды святые. Ну, народъ, конечно, благодаритъ, куда ни явишься: а-а, Иванъ Митричъ! сейчасъ потчуютъ, поютъ. Оно, конечно, немало и изъ своего кармана положилъ. Въ Марвинѣ, на Окѣ большое село, стѣны церкви своимъ иждивеніемъ вывелъ, въ Гуляевкѣ иконостасъ на свои чистыя денежки поставилъ, въ Алексѣевкѣ колокольню отъ себя построилъ, въ Горловкѣ два колокола купилъ. А сколько лѣсу, кирпичу, извести, желѣза жертвовалъ, и нѣсть числа. Хвалиться не буду, ну, а много церквей не выстроилось бы, кабы не я. Видишь, общество бѣдное, приходъ тоже, не осилѣютъ, ну и сдѣлаешь уступку, а то и пожертвуешь.

— Кабы не Иванъ Митричъ,—заговорила супруга,—такъ не видать бы имъ церквей еще лѣтъ пятьдесятъ. Вѣдь онъ у меня—простота-рубаха: свое послѣднее отдавалъ. Ни съ одной постройки не попользовался,—какъ съ чего польза, онъ жертвуетъ, чисто прожились мы.

— Ты, Марфа Ивановна, помолчи, нечего вспоминать, пущай лѣвая рука не знаетъ, что творитъ правая. Ежели что и на нашу долю придется, наше что ль оно? Все Богово, не наше. Помирать будемъ, все останется тутъ, ну, а какъ послужишь Богу, оно по душу твою и пойдетъ.

— Ну, это рѣдко, знаете, среди подрядчиковъ встрѣчается,—заговорилъ чиновникъ,—этотъ вѣдь народъ больше себѣ въ карманы норовитъ.

— Чего ужъ грѣха таить, жадный мы народъ, подрядчики, ну, только я такъ думаю—и объ душѣ надо подумать.

Кончили завтракать. Публика разбрелась, кто по каютамъ, кто на палубу. Подрядчикъ послѣ выпитой водки и пива сталъ еще краснѣе. Онъ отправился въ каюту и залегъ спать. Ему снилась чепуха: то будто онъ кирпичи потихоньку разбираетъ изъ колокольни и подъ полой таскаетъ домой, то будто козелъ рогами спихиваетъ его съ парохода въ воду.

Иванъ Дмитріевичъ открылъ глаза. Ноги были его высоко вверху, вся каюта перекосилась, полъ сталъ почти стоймя, а въ толстое стекло низко опустившагося окна грозно зеленѣла вода. Подрядчикъ вскочилъ на ноги, но каюту перекосило на другую сторону, окно высоко поднялось, и въ немъ синѣло небо, и подрядчикъ съ размаху грохнулся на ходившій у него подъ ногами полъ. Супругу подрядчика вышибло изъ койки, и они вдвоемъ ползали, какъ пьяные, по полу, хватаясь за привинченныя кресла и кровати, и тыкаясь въ стѣны, какъ слѣпые щенята.

— Али ужъ къ берегу пристаемъ? — проговорилъ онъ вслухъ, но проговорилъ съ единственной цѣлью хоть чѣмънибудь заглушить подымавшійся холодный ужасъ, такъ какъ зналъ—никакого берега тутъ не было.

Видя, что на ногахъ стоять нельзя, подрядчикъ на четверенькахъ полѣзъ по лѣстницѣ, крѣпко хватаясь руками за ступени.

Когда онъ поднялся на палубу, у него духъ захватило: насколько хваталъ глазъ, море было бѣлое. И это побѣлѣвшее море, по которому, какъ рыхлый снѣгъ, несло вѣтромъ пѣну, наводило ужасъ.

— Господи, Царица Небесная, спаси и помилуй!

Буря разыгрывалась. Волны, тяжелыя и зеленыя, накреняя пароходъ, вкатывались на палубу, съ шумомъ, съ шипѣніемъ разливались, не оставляя сухого мѣста.

Подрядчикъ, судорожно уцѣпившись за какую-то скобу, глядѣлъ на развернувшуюся картину. На мостикѣ стоялъ капитанъ и помощникъ. Изъ трубы попрежнему вырывался черный дымъ, и вѣтеръ бѣшено подхватывалъ его и уносилъ. Бѣлыя тучи пѣны неслись черезъ пароходъ, который черпалъ волны то однимъ, то другимъ бортомъ. Стоялъ такой шумъ, что человѣческаго голоса нельзя было слышать.

Раза два по палубѣ пробѣжали матросы, шлепая по залившей пароходъ водѣ, ухватили канатъ и стали тянуть. Подрядчикъ бросилъ скобу, за которую держался, и пошелъ было къ нимъ, чтобъ разспросить, но въ ту же секунду размахомъ парохода его кинуло на палубу, онъ грохнулся на брюхо, потомъ перевернулся и поѣхалъ на спинѣ, къ низко опустившемуся борту, судорожно и безуспѣшно хватаясь за мокрую палубу ногтями. Пароходъ, вздрагивая, выпрямлялся и тяжело ложился на другой бортъ, и подрядчикъ, дѣлая нечеловѣческія усилія не перевернуться черезъ голову, ѣхалъ на спинѣ къ другому борту. Его стало тошнить, и осетрина, которую онъ ѣлъ за завтракомъ, очутилась на палубѣ. Доски палубы, борта, капитанскій мостикъ, волны и сѣрыя тучи, несшіяся надъ моремъ, все пошло кругомъ.

— Господинъ капитанъ, да что же это такое? Вѣдь такъ невозможно... вѣдь вамъ деньги плачены... Господинъ капитанъ, прошу васъ, поверните къ берегу... что же это такое происходитъ?.. вѣдь это — погибель!

Никто не отвѣчалъ ему. Надъ пароходомъ гудѣлъ штормъ. Волны вздымались, бѣлѣя верхушками, то падали, грозно чернѣя провалами.

Подрядчику все казалось, что такъ продолжаться не можетъ, что капитанъ, матросы что-то сдѣлаютъ, примутъ какія-то мѣры, и все кончится благополучно, что отвратительное состояніе ужаса и страха, который его теперь охватываетъ, сейчасъ перестанетъ давить.

Но тяжелая зеленая морская вода по прежнему бурлила, клокотала, шумѣла и пѣнилась вокругъ, по прежнему пароходъ медленно переваливался съ боку на бокъ, зарывался

носомъ, все въ немъ скрипѣло, надъ моремъ неслись сѣрыя оборванныя, клочковатыя облака.

Раздался трескъ: сорвало шлюпку и било на удерживавшемъ ее канатѣ о мостикъ, о палубу, о борта.

Пронесся испуганный крикъ какого-то высунувшагося изъ каюты пассажира:

— Батюшки, конецъ... конецъ пришелъ!..

Капитанъ, держась за поручни и перегнувшись, кричалъ въ руппоръ:

— А-а... э... а... ру-у... а-а... ка-на-а... а... э...

За воемъ, за свистомъ, за шумомъ нельзя было разобрать словъ. Но, кому нужно было, разобрали, потому что два матроса пробрались къ шлюпкѣ и, рискуя ежеминутно быть разможенными ею и окачиваемые съ ногъ до головы волнами, принялись отчаянно рубить канатъ, удерживавшій шлюпку. Она, наконецъ, освободилась, и волна, съ шумомъ крутясь и зарывая ее пѣной, потащила въ бездну.

Трескъ, матросы, рубившіе канатъ, чудовищная волна, въ которой съ секунду крутилась шлюпка, капитанъ, издававшій въ рупоръ нечленораздѣльные звуки, все наводило паническій ужасъ, заставляя думать, что насталъ послѣдній часъ.

Подрядчикъ смотрѣлъ вокругъ дикими, расширенными глазами:

— Да что же это такое будетъ!

И вдругъ завылъ.

Это былъ дикій, страшный, нечеловѣческій не крикъ, а вой, это былъ вой животнаго, почуявшаго неизбѣжную, неминуемую смерть. Такъ страшно ревутъ быки, когда почуютъ кровь.

Какъ ни шумѣла буря, какъ ни свисталъ вѣтеръ и ни клокотали волны, но даже среди этого содома вой подрядчика раздавался на весь пароходъ. Онъ разорвалъ на себѣ воротъ рубахи, упалъ на колѣни и въ изступленіи, съ выкаченными глазами и вытянутой шеей, ревѣлъ, какъ боровъ, котораго собрались рѣзать.

— Братцы... ка-аюсь... ка-ааа-а-юсь!... слышите, братцы, все разскажу, все дочиста... двѣ-три церкви обворовалъ... что стоило цѣлковый, показывалъ десять... ставилъ гнилыя доски, вмѣсто цемента сыпалъ песку... сырецъ... сы-ырецъ ставилъ вмѣсто кирпича, а деньги получалъ за жженный кирпичъ... за жже-енный получа-а-алъ!.. Господи!.. архитекторовъ подкупалъ... которые ежели супротивъ шли, доносы писалъ...рабочихъ никогда честью не разсчитывалъ, все обсчитывалъ... свидѣтелей подкупалъ, за меня ложно подъ присягой показывали... дѣвокъ работницъ сколько обидѣлъ... Ну на что мнѣ тыщщи!.. кому копилъ ихъ?... Господи!.. на что онѣ мнѣ теперь!..

Подрядчикъ стоялъ на колѣняхъ, бился лбомъ о мокрую палубу, и соленая волна окачивала его съ ногъ до головы. Онъ съ отчаяніемъ хваталъ за ноги перебѣгавшихъ мимо матросовъ и тащился за ними.

— Эй, уберите его въ каюту, — приказалъ помощникъ капитана.

Но подрядчикъ отчаянно отбивался, и нѣсколько дюжихъ матросовъ насилу сладили съ нимъ и поволокли въ каюту, а онъ вопилъ не своимъ голосомъ:

— Братцы... братцы!.. бросьте меня, бросьте меня, черная моя душа... Господинъ капитанъ, поворачивай къ берегу!.. поворачивай, тебѣ говорятъ, тебѣ деньги плочены, а то жалобу напишу...

II.

Яркое утро. Море, спокойное и блестящее отъ утреннихъ лучей, едва колышется.

Изъ воды подымаются горы. До нихъ, кажется, рукой подать, но пароходъ идетъ часъ, другой, а они все въ такомъ же разстояніи, все такъ же неподвижно стоятъ надъ водой синѣющими громадами. По ихъ склонамъ стали выдѣляться лѣса, засеребрились горныя рѣчки, показались виноградники, строенія и церкви монастыря.

— Мать, а мать, никакъ я вчерась наболталъ зря? — говоритъ подрядчикъ, сумрачный, угрюмый, съ мѣшками

подъ глазами, своей супругѣ, которая неподвижно лежитъ на койкѣ, разбитая вчерашней качкой.

— Да ты вчерась окромя пива, кажись, ничего не пилъ.

— Пить-то не пилъ, а наболталъ зря.

И подрядчикъ задумчиво и озабоченно сталъ глядѣть въ круглое оконце каюты на стекловидныя, отлогія волны, на синѣющія уже недалеко горы.

— Говорилъ, поѣдемъ лучше желѣзной дорогой, такъ вотъ задолбила: «дешевше». Вотъ тебѣ и «дешевше». Гляди, какъ бы дешевое на дорогое не вышло. Кабы безъ свидѣтелей, а то при свидѣтеляхъ все до чиста выложилъ.

А на палубѣ уже готовили къ причалу канаты и сходни моряки, торопливо бѣгавшіе по палубѣ, занятые работой, и совершенно позабывшіе и вчерашній день и вчерашнюю работу.

ТАНЪ

ХРИСТОСЪ НА ЗЕМЛѢ

(ФАНТАЗІЯ)

... И Христосъ спустился внизъ и очутился на землѣ среди широкой снѣжной равнины. Почва равнины отвердѣла, какъ камень, рѣки и озера окостенѣли во льду, и только зимняя буря, какъ злой духъ, носилась кругомъ и вздымала вихри сыпучаго, сухого, холоднаго и колющаго снѣга. И рѣжущій холодъ морознаго вихря былъ такъ же грозенъ и мучителенъ, какъ жгучій огонь подземной бездны адскаго царства.

— Ужели въ этой пустынѣ могутъ жить люди?—сказалъ Христосъ.—За какіе грѣхи своихъ прародителей они осуждены выносить зимній мракъ и вьюгу и муку холода?..

Въ эту минуту онъ увидѣлъ зарево въ восточной сторонѣ и перенесся туда и нашелъ горящее село. Деревянныя избы пылали, какъ факелы, и люди въ короткихъ сѣрыхъ курткахъ, опоясанные оружіемъ, разбрасывали догоравшія головни, а еще уцѣлѣвшіе дома обливали горнымъ масломъ и снова зажигали.

Въ полуверстѣ отъ селенія былъ таборъ. Женщины и дѣти сидѣли на снѣгу и тупо смотрѣли въ сторону пожарища. Они были одѣты въ лохмотья овечьихъ шкуръ, ноги были окутаны тряпками. Дѣти тихо плакали отъ голода и холода, но матери молчали. Мужчинъ же было мало, кромѣ стариковъ.

Христосъ принялъ видъ и одежду, какъ у одного изъ сидящихъ, и подошелъ къ табору.

— Это ваше село горитъ тамъ?—спросилъ Христосъ.

— Было наше,—сказала женщина,—теперь стало Сатаны.

— Гдѣ мужья ваши?—спросилъ Христосъ.

— Убиты!—сказала одна съ горькимъ плачемъ.

— Бѣжали!—сказала другая съ безумнымъ страхомъ въ глазахъ.

Среди немногихъ мужчинъ Христосъ увидѣлъ двоихъ, одѣтыхъ въ такія же куртки съ кожанымъ поясомъ, какъ у тѣхъ воиновъ, что жгли селеніе. У одного не было ноги. У другого вмѣсто руки висѣлъ пустой рукавъ.

— Гдѣ вы получили увѣчья?—спросилъ Христосъ.

— На войнѣ съ чужеземцами,—сказали раненые.

— Кто эти чужеземцы,—спросилъ Христосъ—не тѣ ли, что сжигаютъ огнемъ ваши жилища?–

— Нѣтъ,—сказали раненые,—тѣ, которые жгутъ наши дома, то наши братья и бывшіе соратники. Ихъ одежда и оружіе тѣ же, что и у насъ.

Христосъ содрогнулся и сказалъ:—О горе! За что же они караютъ васъ? Вѣрно, и вы отражали ихъ силу силой. Но такъ не надо поступать. Надо припасть къ ихъ ногамъ и умолять и смягчить ихъ сердце, чтобы они не разрушали крова надъ головою малютокъ.

— Мы плакали и молили,—сказала одна женщина,—а они въ отвѣтъ били насъ плетьми.

— Я пойду и умолю,—сказалъ Христосъ.

Но въ эту минуту отрядъ вооруженныхъ всадниковъ подскакалъ къ табору.

— На колѣни!—крикнулъ предводитель, и вся толпа съ воемъ упала на землю.

— Слушайте вы, твари! крикнулъ предводитель.—Главный начальникъ требуетъ зачинщиковъ, чтобы предать ихъ расправѣ. Если же вы не выдадите ихъ, то мы перестрѣляемъ всѣхъ васъ!

Не дожидаясь отвѣта, всадники отобрали пятнадцать изъ числа мужчинъ, остававшихся въ таборѣ, и выгнали ихъ на дорогу бичами и погнали къ своему лагерю. И Христосъ былъ въ ихъ числѣ.

Они заставляли ихъ бѣжать въ ногу съ своими лошадьми и поощряли ихъ ударами. И Христосъ былъ въ ихъ числѣ.

Они сорвали съ нихъ одежду и положили ихъ на снѣгъ и подвергли ихъ новому бичеванію. И Христосъ былъ въ ихъ числѣ.

И такъ какъ другіе плѣнники были стары, и онъ выглядѣлъ моложе ихъ, то его бичевали безпощаднѣе всѣхъ.

И Христосъ возопилъ къ Господу: «Господи, Господи, зачѣмъ ты послалъ меня сюда?»—и потерялъ сознаніе, какъ *тогда* на крестѣ.

* * *

Въ духѣ и истинѣ очнулся Христосъ отъ жестокаго мучительства и, оставивъ на снѣгу свое окровавленное тѣло, воспарилъ вдаль.

Большой городъ лежалъ на его пути. Цѣлое море домовъ раскинулось по берегамъ рѣки. Всѣ дома были изъ камня и желѣза. И самые большіе были мѣстами работы и поднимали къ небу огромныя трубы, выше и прямѣе, чѣмъ горные кедры. Златоглавые храмы тускло сіяли во мглѣ. Они были украшены множествомъ крестовъ, но Сынъ Человѣческій пролетѣлъ мимо и не призналъ ихъ своими.

Огромный городъ тоже носилъ слѣды недавнихъ сраженій. Иные изъ его домовъ были разрушены огненными ядрами и зіяли выбитыми окнами и трещинами въ стѣнахъ. Тысяча тысячъ людей обитали въ городѣ, но на улицѣ не было ни души, ибо прихоть военачальника наложила суровый запретъ на ночные выходы. Только вооруженные дозоры ходили по улицамъ, а жители сидѣли въ домахъ и молча трепетали.

Городъ былъ раздѣленъ на двѣнадцать частей; при каждой части была своя тюрьма, и окраины города были опоясаны острогами. Всѣ тюрьмы и остроги сверху до низу были наполнены плѣнниками. Они лежали на грязномъ полу, безъ подстилки, поѣдаемые насѣкомыми. Дверь тюрьмы была замкнута, и окно заколочено. У двери и у окна стоялъ стражъ съ ружьемъ.

Христосъ заглянулъ въ одну келью и увидѣлъ больную женщину. Она горѣла огнемъ и металась на койкѣ, безъ

надзора и помощи, даже безъ глотка воды, чтобы омочить запекшіяся губы..

И въ сосѣдней кельѣ блѣдный отрокъ, поддавшись безумію, прилаживалъ вокругъ своей шеи холщевую петлю. Въ темномъ подвалѣ подъ землею были каменные мѣшки. Въ каждомъ каменномъ мѣшкѣ сидѣло по человѣку. Эти были наказаны за строптивость начальникомъ тюрьмы, и они сидѣли, согнувшись на полу, ибо нельзя было выпрямиться. По одну сторону стояла кружка съ водой, прикрытая ломтемъ хлѣба, а по другую зловонный сосудъ. И въ каменныхъ кельяхъ царили кромѣшная тьма, холодъ и ужасъ.

Въ одной кельѣ у окна стоялъ юноша и старался сквозь тройную рѣшетку разглядѣть клочекъ ночного неба, но предъ окномъ поднималась бурая стѣна, и она заграждала небо отъ его взглядовъ.

Тогда юноша поднялъ руки вверхъ и сталъ молиться.

— Ты, Господь, слышишь ли Ты меня? Кто создалъ этотъ міръ, Ты или дьяволъ? Твоя воля правитъ имъ, или злоба нечистаго?..

— Но мы не будемъ молчать, мы будемъ кричать: Господи, гдѣ же твоя правда? — Намъ не жаль своей плоти, намъ жаль нашей родины. Родина наша на краю гибели. Господи, поспѣши спасти ее, чтобы не было поздно...

* * *

И Христосъ предсталъ юношѣ въ духѣ и истинѣ и сказалъ:

— Не отчаявайся, ибо Я съ тобою. Я тоже былъ преданъ поношенію и бичеванію изъ-за любви къ людямъ.

Но юноша сказалъ:—Развѣ намъ легче отъ того, что тебя тоже бичевали, какъ и насъ?—

Но Христосъ сказалъ: — Таковъ законъ міра: міръ во злѣ рожденъ и смерти обреченъ, но любовью искупленъ. Ибо любовь сильнѣе смерти. Нѣтъ пуще той любви, какъ положить свою душу за братьевъ своихъ.

— Съ чѣмъ сравнить Мнѣ упрямую косность зла? Она тверда, какъ камень, и холодна, какъ ледъ. Пусть же ваша любовь жжетъ, какъ пламя, и сверкаетъ, какъ молнія.

— Косность зла передъ вами, какъ глыба стали на паперти запертаго храма. Голыми руками вы должны отрывать отъ нея частицу за частицей, пока пальцы ваши не изотрутся до костей. Каждая вновь отдѣленная крупинка куплена мукой и запечатлѣна кровью. И когда вся глыба распадется по волокнамъ, тогда дверь храма откроется настежь.

— Законъ міра въ борьбѣ и мукѣ, и нѣтъ другого пути. Кто исполняетъ этотъ законъ, тотъ Мой апостолъ и Мой ревнитель.

— Не плачьте, если васъ гонятъ; не скорбите, когда васъ заключаютъ въ тюрьму, ибо Я вмѣстѣ съ вами.

— Гдѣ искать Мнѣ Моихъ апостоловъ и Моихъ ревнителей?

— Искать ли ихъ среди священниковъ, въ каменныхъ храмахъ, за росписными алтарями?

— Но въ бывшіе дни Моей земной жизни священники гнали Меня, какъ и васъ, били Меня по ланитамъ и предали Меня въ руки начальниковъ земли.

— И нынѣ они чтутъ Мое имя устами, но не чтутъ сердцемъ; хуже идолослужителей, ибо тѣ не знали и грѣшили, а эти учатъ и преступаютъ; проповѣдуютъ любовь, а творятъ ненависть.

— Искать ли Мнѣ Моихъ ревнителей среди владыкъ и начальниковъ, въ пышныхъ дворцахъ и раззолоченныхъ чертогахъ?

— Но въ бывшіе дни Моей земной жизни начальники осудили Меня на бичеваніе и смерть.

— И нынѣ они попираютъ Мой завѣтъ силой огня и меча.

— Называютъ Меня Царемъ Царствующихъ. Я не Царь Царствующихъ, Я защитникъ и товарищъ всѣхъ бѣдныхъ и угнетенныхъ...

— Искать ли Мнѣ Моихъ ревнителей среди воиновъ?

— Но воины надѣли на Меня терновый вѣнецъ и пригвоздили руки Мои и ноги Мои ко кресту.

— Искать ли Мнѣ Моихъ ревнителей среди богатыхъ и сильныхъ, и сытыхъ и счастливыхъ?..

— Но сердце сытаго глухо къ стонамъ голоднаго, счастливые не видятъ чужихъ страданій, сильные попираютъ слабыхъ въ крови и прахѣ.

— Мое сердце съ несчастными, съ страдающими, голодными. Въ ихъ средѣ Я стану искать Моихъ апостоловъ, ибо сердце Моихъ апостоловъ тоже всегда пребываетъ вмѣстѣ съ несчастными братьями.

— Мои апостолы имѣютъ вѣру и любовь. Они возглашаютъ правду предъ лицомъ насилія. Ради вѣры своей они идутъ на гоненія, и выносятъ поношенія и самую смерть.

— Въ тюрьмѣ и въ изгнаніи Я стану искать апостоловъ Моихъ, тѣхъ, кто страдаетъ за вѣру и любовь.

— Ибо и Я былъ въ изгнаніи и былъ ввержен въ тюрьму.

— За двадцать вѣковъ только тамъ Я нахожу Моихъ ревнителей и учениковъ.

— Не скорбите, если васъ избиваютъ и посылаютъ на изгнаніе. Ибо Я принесъ землѣ не миръ, а мечъ. Дѣти возстанутъ на отцовъ, и рабы на господъ, и мирные дѣвы на вооруженныхъ воиновъ. Ибо поля отказываются приносить плодъ, и рѣки сохнутъ, твердыя скалы рушатся съ грохотомъ, земля колеблется отъ гула...

— Время обновленія міра уже близко.

— Если нѣжный отрокъ не щадитъ собственной жизни, Мое время близко.

— Если въ сельскихъ кузницахъ куютъ изъ плуговъ мечи и изъ серповъ кинжалы, Мое время уже на порогѣ..

— День Страшнаго Суда готовъ пройти надъ этой страной, ибо владыки ея созрѣли и перезрѣли, какъ осенніе хлѣба, и беззаконія ихъ, какъ спѣлыя зерна, осыпаются на землю.

— Владѣтели этой страны, какъ поздніе плоды, засохшіе на вѣткахъ. Ихъ стебли тверды и ломки. Дыханіе бури сломитъ ихъ и сброситъ внизъ.

— Тогда разсѣются насильники и разбѣгутся во всѣ стороны проливатели крови, и остріе меча пройдетъ надъ ними, и будетъ тщетный плачъ и скрежетъ зубовный. Ибо сѣющій вѣтеръ пожнетъ бурю, и мнящій обуздать океанъ потонетъ въ волнахъ.

Такъ сказалъ Христосъ, Сынъ человѣческій, Сынъ Божій.

— Истинно, истинно говорю вамъ: — Еще при жизни вашей увидите день правды и возмездія, день Страшнаго Суда.

Н. ТЕЛЕШЕВЪ

НА ПУТИ

Это было въ глухомъ уголкѣ Россіи.

Я ѣхалъ, уже нѣсколько дней на перекладныхъ по пустыннымъ проселкамъ. Лошади были тощи, люди угрюмы, а избы нерѣдко разорены.

Неурожай чувствовался повсюду. Приближалась голодная зима. Лишніе рты уже двинулись по-міру съ сумой и съ рукой.

И вотъ, однажды, когда путь нашъ уперся въ холодную сѣрую рѣку, и было нужно переѣзжать ее на паромѣ, я встрѣтилъ на баркѣ среди другихъ попутчиковъ слѣпого старика, лѣтъ семидесяти, съ сѣдой бородой, съ сѣдыми вьющимися на вискахъ волосами; они выбивались у него изъ-подъ картуза и странно шевелились на вѣтру, точно трепетали, какъ осенніе листья. И борода у него и брови были сѣдыя; облѣзлый кафтанъ и холщевая сумка черезъ плечо и старыя валенки на ногахъ казались тоже сѣдыми и ветхими; даже высокая трость, съ которой слѣпецъ не разлучался, была изъ какого-то дерева мутнаго тона и тоже казалась сѣдой и древней.

Окруженный молчаливыми попутчиками, дѣдъ стоялъ посрединѣ парома, опираясь на палку, точно на посохъ, и держа ее впереди себя обѣими руками; спина его сгорбилась, слѣпые глаза устремлялись безцѣльно и неподвижно куда-то впередъ, будто видѣли что-то передъ собою, чего не видѣлъ никто другой.

Глядя куда-то—ввысь и впередъ—молодыми острыми глазами, стояли возлѣ старика по обѣ стороны двое дѣтей —мальчикъ и дѣвочка, лѣтъ по десяти. Старикъ пѣлъ, а

дѣти вторили ему тихими несмѣлыми голосами. По его морщинистому лицу, по суровымъ складкамъ надъ носомъ было замѣтно, что онъ напрягаетъ всю свою память, всѣ усилія, чтобы не перепутать пѣсню, которую слыхивалъ онъ въ юности отъ такихъ же дѣдовъ, какъ теперь самъ, слыхивалъ и запомнилъ, можетъ быть, полвѣка тому назадъ — о святомъ Егорьѣ храбромъ и о злодѣѣ царищѣ Демьянищѣ, о насиліяхъ одного и о побѣдномъ шествіи другого.

— Ты, святой Егорій Хорабрай!—вытягивалъ дѣдъ безстрастнымъ голосомъ.—Сказывай, которую вѣру ты вѣруешь, которому богу ты молишься?..

Что заставляло его пѣть, я не знаю, но думаю, что не только голодъ, но и стыдъ передъ семьей за свой лишній ротъ.

И вотъ всѣ трое они покинули домъ, вышли на рѣку, на большія дороги и бродятъ среди чужихъ, сбирая въ шапку гроши и копѣйки и недоѣденные куски,—но нѣтъ имъ попрека отъ близкихъ и родныхъ за даровой хлѣбъ.

Долго пѣли они о козняхъ Демьянища, пѣли о томъ, какъ велѣлъ онъ Егорья во пилы пилить, въ топоры рубить, на водѣ топить, во смолѣ варить,—но

— Ничаво Егорью не вредилося...

Чѣмъ дальше, тѣмъ все болѣе и все ярче сказывалось въ пѣснѣ безсиліе царища Демьянища покорить Егорія, и онъ повелѣлъ закопать его въ глубокій погребъ, а закопавши, самъ надъ нимъ землю притаптывалъ и самъ себѣ въ веселье приговаривалъ:

— Не видать теперь Егорью свѣта бѣлаго, ни свѣту бѣлаго да ни солнца краснаго!

Старикъ остановился на этихъ словахъ; замолчали и дѣти. Не то онъ забылъ, что поется далѣе, не то умышленно, прикрывъ ладонью ротъ, покашлялъ въ руку и вдругъ заголосилъ быстро, отчетливо и громко; и дѣти закричали за нимъ тоже громко и быстро:

— Какъ по Божьему повелѣнію, по Егорьеву умоленію восходила туча гремучая, подымались вѣтры буйные на святой Руси, подымалися вѣтры со вихоремъ...

И я замѣтилъ, что всѣ слушатели насторожились, когда старикъ запѣлъ о томъ, какъ разметались отъ бури пески и всякія защиты, погибли всѣ старанія Демьянища — и святой Егорій, снова свободный, гнѣвный и храбрый—

«По верху земли стоитъ,
По верху свѣта русскаго...»

Барка плыла уже посрединѣ рѣки; кругомъ насъ была вода, зыбкая, холодная и блестящая; впереди лежалъ берегъ, а по немъ, разрѣзая его поперекъ, вилась проѣзжая дорога и исчезала за недалекимъ холмомъ.

— Бла-сло-ви, родитель-матушка,—восклицалъ старикъ дрожащимъ тягучимъ голосомъ.—Бла-сло-ви пойтить на царищу Демьянищу, отплатить ему его хлѣбъ-соль.

И дѣти наивными,безстрастными голосами, подпѣвая за дѣдомъ, разсказывали вмѣстѣ съ нимъ про Демьянищу, разсказывали, какъ «настращался» онъ Егоріемъ и насылалъ на него стадо сѣрыхъ волковъ.

— И ни пройти Егорью, ни проѣхати.

Голосъ пѣвца былъ слабъ и старъ и какъ будто надорванъ, но это даже усиливало впечатлѣніе, словно голосъ этотъ долеталъ до насъ откудо-то изъ глубины вѣковъ.

— А святой Егорій онъ волкамъ сказалъ: ой, вы, волки, волки сѣрые, разойдитеся, разбредитеся по-двое! да по-трое! да по-единому!

Всѣ мы сидѣли въ кругу и глядѣли на дѣда, а онъ глядѣлъ куда-то выше и дальше насъ своими сощуренными слѣпыми глазами.

Когда онъ ошибался или, забывая пѣсню, замолкалъ, то вмѣстѣ съ нимъ ошибались или замолкали и дѣти, и оба съ надеждой взглядывали на старика, а тотъ еще крѣпче сдвигалъ морщины на лбу, точно насилуя свою непокорную память.

Долгая пѣсня все еще не кончалась, все еще журчали три тихихъ голоса, какъ три ручья, сливаясь съ разныхъ сторонъ въ одно русло.

Пѣли уже о томъ, какъ приблизился гнѣвный Егорій къ дворцу Демьянища.

— И забросался царь, и заметался царь по своимъ бѣлымъ и каменнымъ палатамъ: ты, святой Егорій Хорабрай, дай ты мнѣ сроку на три года!

— Не даю тебѣ сроку ни минутаю!—воскликнулъ старикъ прежнимъ тягучимъ безстрастнымъ голосомъ. И дѣти повторили за нимъ:

— Ни минутаю!

Наступило молчаніе.

Плескалась о барку холодная вода, тянулся изъ рукъ въ руки мокрый канатъ, и казалось, будто не мы плывемъ къ берегу, но берегъ подплываетъ къ намъ, съ его лугами, дорогами и сѣрой деревней наверху холма, куда понесетъ старикъ свою суму и свою пѣсню.

И хотѣлось пожелать ему, чтобъ на его пути скорѣе разбѣжалось врозь все сѣрое, все алчное, все злое, что держало въ холодѣ, голодѣ, во мракѣ и его и другихъ.

И невольно вспоминались мнѣ простыя, почти ласковыя слова его пѣсни:

«Разойдитесь вы, разбредитесь вы, по двое, да по-трое, да по-единому..»

Барка причалила къ берегу. Въ шапкѣ у старика зазвенѣли мелкія деньги.

Надъ пустынной рѣкой носились голодныя чайки, иногда падая въ зыбь и выхватывая сналета голодную рыбу.

Было холодно и уныло.

Впереди лежали тихія деревни, и жилъ тихою жизнью голодный народъ...

Н. ТИМКОВСКІЙ

АКВАРІУМЪ

(ПОВѢСТЬ)

I.

Вечеромъ въ небольшой гостиной нотаріуса Тарцева происходило, по заведенному порядку, совмѣстное чтеніе. Читала мать Тарцева, сухощавая бодрая женщина, съ здоровымъ цвѣтомъ лица, съ сѣдыми стрижеными волосами. Слушателей было трое: Вячеславъ Сергѣевичъ Тарцевъ, худой, высокій брюнетъ лѣтъ тридцати пяти, съ высокимъ облысѣвшимъ лбомъ и темными, задумчивыми глазами; жена его Вѣра Георгіевна, молодая женщина, и другъ дома, учитель мѣстной гимназіи Александръ Митрофановичъ Альбинскій, человѣкъ лѣтъ подъ тридцать, съ мягкимъ очертаніемъ лица, съ русой бородкой и голубыми, не то усталыми, не то мечтательными глазами.

Тарцевъ, въ черномъ люстриновомъ пиджакѣ и мягкихъ черныхъ туфляхъ, безшумно шагалъ по ковру изъ угла въ уголъ, заложивъ руки за спину и горбясь на ходу; Вѣра Георгіевна сидѣла, облокотясь на подоконникъ и щуря отъ лампы свои каріе блестящіе глаза: по лицу ея трудно было разобрать, слушаетъ ли она чтеніе, или только наблюдаетъ, какъ другіе слушаютъ; Альбинскій расположился въ покойной позѣ на диванѣ, прислонясь къ вышитой подушкѣ, и слушалъ очень внимательно.

Въ гостиной было уютно. Большая лампа, подъ свѣтло-зеленымъ абажуромъ въ видѣ балдахина, освѣщала стѣны мягкимъ полусвѣтомъ. Сквозь занавѣски оконъ едва-едва просвѣчивалъ послѣдній отблескъ угасающаго августовскаго дня. Въ квартирѣ было тихо, и изъ сосѣдней неосвѣщенной

комнаты доносился по временамъ плескъ рыбы въ аквaріумѣ...

Держа на отлетѣ толстый переводный романъ и смотря черезъ пенснэ въ книгу, Елизавета Артемьевна громко и выразительно читала. Когда авторъ касался любовныхъ чувствъ, она дѣлала глупое лицо и произносила въ носъ съ насмѣшливымъ пафосомъ; а когда рѣчь заходила объ общественныхъ вопросахъ или о томъ, что честно и что нечестно, голосъ ея дѣлался торжественно-суровымъ, даже сердитымъ, и тогда казалось, что она читаетъ присутствующимъ нотаціи.

— «Глава 15-ая».. произнесла она, перевертывая страницу; потомъ закурила папироску, усиленно втянула изъ нея дымъ тонкими губами и гнусавя стала читать о томъ, какъ Ида къ своему ужасу почувствовала, что любитъ профессора Грензена...

Тарцевъ пересталъ слушать и задумался о своемъ.

Какъ удивительно счастливо сложилась его жизнь! У него есть все, о чемъ онъ мечталъ когда-то. Вѣра—именно такая жена, какую онъ представлялъ въ своемъ воображеніи: искренняя, чуткая, вдумчивая, съ живымъ умомъ, съ такими славными, симпатичными глазами, съ такимъ удивительнымъ сочетаніемъ цѣломудренной строгости и молодой капризной жизни; бываютъ у нея иногда странныя выходки, но это оттого, что она представляетъ собою молодое вино, которое еще не перебродило... Что касается Альбинскаго, то это именно такой другъ, котораго давно хотѣлось Тарцеву: въ немъ столько мягкости, задушевности, столько неподдѣльнаго интереса къ вопросамъ внутренней жизни; съ этимъ милымъ Александромъ Митрофановичемъ они могутъ по цѣлымъ часамъ бесѣдовать о нравственныхъ проблемахъ, помогая другъ другу въ трудномъ дѣлѣ самосовершенствованія... Мамаша—тоже человѣкъ живой, отзывчивый, любитъ читать, любитъ поговорить о серьезномъ; положимъ, она интересуется больше общественными, чѣмъ нравственными вопросами, но это даже хорошо: это дѣлаетъ духовную жизнь семьи полнѣе. Всѣ живутъ друж-

но, мирно, благообразно... и вообще все устроилось очень, очень хорошо. Тарцеву всегда хотѣлось занять въ жизни скромное, но вполнѣ независимое положеніе: выбрать какой-нибудь губернскій городъ потише, завести тамъ нотаріальную контору и работать, не имѣя надъ собою никакого начальства, не вступая съ людьми ни въ какія обязательныя отношенія, кромѣ чисто дѣловыхъ. Хотѣлось ему также имѣть свой собственный домикъ (именно домикъ, а не домъ) на какой-нибудь не многолюдной и не шумной улицѣ,—и вотъ онъ, дѣйствительно, уже пять лѣтъ живетъ въ небольшомъ собственномъ домѣ на тихой улицѣ города С., а на крыльцѣ прибита вывѣска: «Нотаріусъ В. Тарцевъ» При домѣ есть небольшой тѣнистый садикъ, гдѣ онъ собственноручно устроилъ миніатюрный огородъ. Квартира обставлена уютно, хоть и просто; вездѣ чисто, ничего лишняго, на окнахъ и передъ окнами—цвѣты... Даже этотъ зеленый балдахинъ на лампѣ былъ, казалось, именно такой, какой нуженъ для благообразной семейной жизни, а эта уютная гостиная, въ которой по вечерамъ собиралась семья почитать хорошую книгу, была какъ бы живымъ олицетвореніемъ скромнаго и чистаго семейнаго счастья. Вотъ жаль только, что дѣтей нѣтъ... Это, конечно, пробѣлъ въ семьѣ, но если подумать хорошенько, такъ, пожалуй, окажется что и это—къ лучшему: дѣти, въ сущности, мало гармонировали бы съ этой тишиной въ домѣ, съ этими вечерними чтеніями, съ этими вдумчивыми бесѣдами, и отвлекли бы вниманіе семьи отъ вопросовъ чисто идейныхъ... Въ голосѣ Елизаветы Артемьевны вдругъ послышались сердитыя ноты. Тарцевъ, сообразивъ, что дѣло въ романѣ пошло, должно быть, о чемъ-то серьезномъ, прервалъ свои размышленія и сталъ внимателенъ.

Дѣйствительно: Ида отреклась отъ своей любви изъ опасенія, какъ бы личное чувство не поработило ея; притомъ убѣжденія профессора шли въ разрѣзъ съ ея собственными; она рѣшаетъ побороть въ себѣ любовь и всецѣло отдаться дѣлу освобожденія женщины отъ соціальнаго, экономическаго и нравственнаго гнета; она пишетъ рефераты, читаетъ публичныя лекціи, сочиняетъ большой романъ, который про-

изводитъ сенсацію въ обществѣ, и проектируетъ спеціально женскій университетъ.

Елизавета Артемьевна перевела духъ, закурила потухшую папироску и, замѣтно возбужденная прочитаннымъ, начала торопливо протирать платкомъ пенснэ.

— Меня здѣсь больше всего интересуетъ чисто этическій вопросъ,—сказалъ Тарцевъ своимъ глухимъ, невнятнымъ голосомъ:—вопросъ о той нравственной силѣ, которая помогла героинѣ стать выше личнаго чувства...

Альбинскій, нѣжно пощипывая бородку, одобрительно кивалъ ему головой и съ видимымъ удовольствіемъ предвкушалъ тотъ пріятный споръ, когда всѣ въ сущности согласны между собой, но возражаютъ единственно изъ желанія разсмотрѣть вопросъ со всѣхъ сторонъ.

— Что касается меня,—замѣтила, какъ-то демонстративно выпрямляясь, Елизавета Артемьевна,—то я прежде хочу знать, насколько героинѣ удастся подвинуть впередъ важный общественный вопросъ о положеніи женщины.

— Это такъ, мамаша,—но...

— Извини меня, Вячеславъ, но я, какъ человѣкъ шестидесятыхъ годовъ, вижу прежде всего общественную идею...

Зажурчалъ пріятный, безобидный споръ, въ который вмѣшался и Альбинскій... Говорили о служеніи обществу, о свободѣ чувства и моральной свободѣ, коснулись даже ученія Будды. Тарцевъ высказывалъ свои мысли какимъ-то проникновеннымъ тономъ и съ кроткой терпѣливостью выслушивалъ возраженія, только глубокая морщинка на его лбу шевелилась какъ-то безпокойно; Елизавета Артемьевна отчеканивала каждое слово и сильно жестикулировала, глядя на собесѣдника своими круглыми, сѣрыми, наивными глазами съ какимъ-то дѣтски вызывающимъ выраженіемъ; Альбинскій, отстаивая взгляды Тарцева, мягко спорилъ съ Елизаветой Артемьевной и возражалъ ей съ такимъ видомъ, точно объяснялся въ любви.

— Мнѣ лично,—говорилъ онъ, чуть-чуть картавя и лаская присутствующихъ глазами,—и въ книгѣ и въ жизни дороже всего то, что учитъ людей быть искренними и честными во взаимныхъ отношеніяхъ: въ этомъ для меня за-

ключается, такъ сказать, вся общественная мораль, вся духовная красота человѣка...

А вы какъ думаете объ этомъ, Вѣра Георгіевна?

Та продолжала сидѣть въ прежней позѣ и щуриться; по лицу ея по прежнему нельзя было разобрать, вслушивается ли она въ разговоръ или просто наблюдаетъ лица бесѣдующихъ. Захваченная врасплохъ вопросомъ, она нервно съежилась и покраснѣла...

— Не знаю, право... отвѣтила она не то съ застѣнчивой, не то съ иронической усмѣшкой.—У меня все какія-то неподходящія мысли. Мнѣ и въ книгѣ и въ жизни интереснѣе всего знать: чѣмъ люди наполняютъ свое время? Вотъ, напримѣръ, эта Ида... Вѣдь не все же время она писала рефераты, читала лекціи?.. День—такой длинный, и такъ ихъ много, этихъ дней: навѣрное она тоже скучала и придумывала, чѣмъ бы наполнить пустоту?..

Тонъ ея становился нетерпѣливымъ, и въ немъ слышались уже раздражительныя ноты...

— Мнѣ все вспоминается покойный Яминъ,—продолжала она, нервно дергая и крутя своими смуглыми, тонкими пальцами бахрому занавѣски.—Помните, какъ доктора накачивали его кислородомъ? Бывало, чуть не хватитъ кислороду, ему уже и дышать нечѣмъ. Вотъ такъ и съ жизнью: приходится постоянно оживлять себя чѣмъ-нибудь, чтобъ не быть мертвой. Въ романахъ описываются только интересные моменты, но какъ между этими моментами тянется время, объ этомъ не говорится. А вѣдь сколько такихъ тягучихъ дней? Просто страшно подумать! Вся жизнь состоитъ изъ нихъ... Ну, чѣмъ мы наполнимъ эту огромную пустоту?

Всѣ слушали ее съ удивленіемъ. Елизавета Артемьевна поднимала все выше и выше брови; Тарцевъ и Альбинскій насторожились, стараясь по глазамъ, по звукамъ голоса разгадать настроеніе Вѣры Георгіевны. И раньше приходилось выслушивать иногда отъ нея неожиданныя мысли, но на нихъ привыкли смотрѣть, какъ на случайныя вспышки капризнаго женскаго воображенія, которому хочется внести въ серьезный систематическій разговоръ что-ни-

будъ шаловливое, эксцентричное. Тогда это каждый разъ встрѣчалось ласковыми улыбками мужчинъ и только оживляло разговоръ...

Но теперь въ голосѣ Вѣры Георгіевны слишкомъ ясно звенѣла нервная нота, а ея худенькое съ неправильными чертами лицо было замѣтно взволновано...

—Женщинъ нашего поколѣнія не надо было накачивать кислородомъ, потому что онѣ находили кругомъ себя здоровую общественную атмосферу,—сказала Елизавета Артемьевна басистымъ сердитымъ голосомъ, между тѣмъ какъ лицо ея было ребячески простодушно.—Теперь нѣтъ никакой руководящей общественной идеи,—вотъ и пошла въ головахъ у всѣхъ пляска св. Витта. Мы, женщины 60-хъ годовъ, не страдали этой болѣзнью.

—Это не совсѣмъ такъ, мамаша,—осторожно и кротко поправилъ ее Тарцевъ.—И теперь существуетъ идея, которая можетъ заполнить всю жизнь: идея нравственнаго совершенствованія. Моральный міръ человѣка—это такая безконечная область!.. Ты подумай, Вѣра: чтобы достичь самопознанія, возвысить и укрѣпить свою нравственную личность, нужны постоянныя усилія мысли, постоянный самоконтроль. И если мы, сидящіе здѣсь, окрѣпли въ нѣкоторыхъ принципахъ добра и правды...

Глухое, отдаленное рычанье грома за окномъ остановило Тарцева. Вѣра Георгіевна отдернула занавѣску, распахнула окошко и высунулась въ него... По горизонту вечерняго, не совсѣмъ еще стемнѣвшаго неба ползла громадная туча, освѣщаемая изрѣдка слабыми, широкими вспышками молніи.

—Пойдемте въ садъ смотрѣть грозу,—сказала Вѣра Георгіевна, откидываясь отъ окна съ внезапнымъ оживленіемъ, —и вышла изъ гостиной.

Тарцевъ поморщился. Онъ любилъ грозу только на картинѣ: настоящая гроза раздражала его, какъ всякій шумный безпорядокъ. Кромѣ того, ему не нравилось, когда неожиданно прерывали чтеніе: онъ привыкъ, чтобы отъ вечерняго чая до ужина всѣ сидѣли въ гостиной, читали и бесѣдовали о прочитанномъ, а когда этотъ порядокъ на-

рушался, онъ чувствовалъ себя какимъ-то растеряннымъ и не зналъ, за что взяться...

—Это что-то слѣпое, стихійное. . пробормоталъ онъ, глядя на тучу.—Я тоже неохотница до этихъ представленій,—прибавила Елизавета Артемьевна и закрыла окно.

—Нѣтъ, надо пойти полюбоваться,—сказалъ Альбинскій, поднимаясь съ дивана.

—Смотрите: сейчасъ дождикъ будетъ! крикнула ему Елизавета Артемьевна, когда онъ былъ уже въ передней, — и затѣмъ, обращаясь къ сыну, возобновила прерванный разговоръ:—«Вотъ ты, Вячеславъ, все говоришь о самопознаніи» донеслось изъ гостиной до Альбинскаго.

Онъ накинулъ пальто, взялъ зонтикъ и вышелъ черезъ кухню въ садъ. Тарцева сидѣла на своей любимой скамейкѣ подъ старымъ развѣсистымъ кленомъ и, кутаясь въ платокъ, смотрѣла на темный горизонтъ неба. Альбинскій молча сѣлъ рядомъ съ ней и сталъ мечтательно любоваться пейзажемъ. Передъ глазами разстилалась обширная панорама, окутанная сумеречной полутьмой. По крутой, неровной горѣ, на вершинѣ которой стоялъ домъ Тарцева, вплоть до рѣки лѣпились каменныя и деревянныя постройки, заборы, вѣтряныя мельницы; черная отъ тучи рѣка извивалась на далекое разстояніе среди болотъ и луговъ; высокій правый берегъ ея, песчаный, поросшій мѣстами густымъ лѣсомъ, ярко выступалъ на мгновеніе при вспышкахъ молніи и снова пропадалъ во тьмѣ. Туча тяжело нависла надъ Зарѣчьемъ и теперь медленно перебиралась черезъ рѣку, стремясь охватить небо со всѣхъ сторонъ. Полоса на горизонтѣ, гдѣ небо и земля сливались въ одинъ сплошной мракъ, росла, ширилась, подвигалась все ближе и ближе, грозя превратить все окружающее въ одну черную безпросвѣтную тьму. Казалось, какая-то неумолимая мрачная пасть втягиваетъ въ себя и поглощаетъ одно за другимъ луга, села, огороды, дома, рѣку... По временамъ это жадное чудовище точно вздрагивало всѣмъ тѣломъ: тогда изъ темной полосы, при лихорадочномъ трепетѣ молніи, выскакивали на мигъ то бѣлая церковь, то блестящій изгибъ рѣки, то темный силуэтъ вѣтряной мельницы — и

опять такъ же быстро поглощались бездонной пастью... Было душно. Теплый сухой вѣтеръ нѣсколько разъ порывисто налеталъ на садъ, но, какъ будто оробѣвъ, сейчасъ же опять затихалъ. Все притаилось, замерло подъ гигантскимъ чернымъ колпакомъ, надвигавшимся на землю.. Какая-то птица промчалась мимо сада, почти касаясь земли, и съ тревожнымъ крикомъ скрылась въ темнотѣ. Гдѣ-то по близости захлопали ставни и оконныя рамы. Внизу, на дорогѣ, показались клубы пыли. Вѣтеръ дунулъ смѣлѣе и зашумѣлъ верхушками деревьевъ. Въ саду все разомъ зашелестило, зашептало безпокойно... Посыпались сухіе желтые листья. На скамейку упали двѣ-три крупныя капли дождя... По всему небу отъ края до края прокатился, то усиливаясь, то ослабѣвая, рокочущій гулъ грома и долго перекатывался то здѣсь, то тамъ въ вышинѣ... Онъ не затихъ еще, какъ раздался второй ударъ, за нимъ третій... Молніи съ зловѣщей торопливостью прорѣзывали небо во всѣхъ направленіяхъ, бросались бѣшеными стрѣлами на землю, извивались судорожными зигзагами...

Альбинскій любовался картиной, невольно припоминая поэтическія изображенія грозы въ литературѣ.—«Гремитъ,— благоговѣй!» мечтательно произнесъ онъ при новомъ раскатѣ грома.

Тарцева не отозвалась. Она сидѣла, согнувшись и подперевъ подбородокъ руками; въ глубинѣ ея задумчивыхъ глазъ блестѣлъ жадный огонекъ, который разгорался съ каждымъ новымъ ударомъ грома, съ каждымъ порывомъ вѣтра.

— Какъ хорошо! прошептала она, вдыхая въ себя полной грудью освѣженный воздухъ и подставляя лицо падавшимъ съ небя хододнымъ каплямъ.

— Да... отозвался Альбинскій, развернулъ зонтикъ и прикрылъ имъ отъ дождя себя и Тарцеву.

Они сидѣли, прижавшись другъ къ другу и стараясь укрыться подъ зонтомъ отъ брызговъ дождя, разносимыхъ повсюду вѣтромъ. Туча уже заволокла все небо; гроза бушевала надъ ихъ головами, и вокругъ нихъ вихрь налеталъ и крутилъ со всѣхъ сторонъ... Опьяненные этимъ блескомъ

и гуломъ, шумомъ дождя и вѣтра, всей этой буйной игрой стихійныхъ силъ, они не ощущали себя, забыли всѣ свои привычныя мысли и были трепетно полны страшной красотой бушевавшей кругомъ нихъ природы. Обоихъ переполняло сладко-тревожное, порывистое чувство молодой удали, отъ которой весело и жутко и духъ захватываетъ и все представляется какъ-то по новому.

Имъ хотѣлось выразить какими-нибудь новыми, сильными словами, какъ душа у нихъ расширяется, растетъ... Хотѣлось радостно засмѣяться, запѣть что-нибудь громкое, веселое, побѣжать, взявшись за руки, куда-нибудь въ даль, навстрѣчу дождю и вѣтру... Голосъ Елизаветы Артемьевны, заглушаемый шумомъ, нѣсколько разъ окликнулъ ихъ. Альбинскій уже готовъ былъ отозваться, но Тарцева подѣтски шаловливо закрыла ему ротъ рукой и шепнула: «Не откликайтесь!»—потомъ оба засмѣялись тихимъ счастливымъ смѣхомъ. Альбинскій ощутилъ на своей рукѣ горячую руку Тарцевой, пожатіе которой какъ будто хотѣло напомнить ему объ ихъ молчаливомъ заговорѣ...

Но вотъ оба они вдругъ перестали смѣяться, притихли и, неподвижные, сидѣли, прижимаясь инстинктивно другъ къ другу и прислушиваясь уже не къ голосу Елизаветы Артемьевны, не къ шуму вѣтра и грозы, а къ тому странному, неожиданному, что происходитъ въ нихъ самихъ. То металлически рѣзкіе, то протяжные раскаты грома слѣдовали одинъ за другимъ, вихрь кружилъ въ саду, нагибалъ деревья, срывая листья, сдувая съ вѣтвей капли дождя, — но они уже не обращали на это вниманія, всецѣло поглощенные другъ другомъ. Они не помнили, не думали ни о чемъ, сливаясь въ одномъ общемъ чувствѣ, такомъ новомъ для нихъ, свѣжемъ, волнующемъ все ихъ существо. Они слышали прерывистое, сдержанное дыханіе каждаго, и имъ казалось, что они дышатъ одной грудью, что иначе и быть не можетъ, что они всегда были и будутъ такъ близки другъ другу, и что это именно то, что имъ нужно...

— Какъ хорошо! прошептала Тарцева, пожимая руку Альбинскаго своими тонкими пальцами.

— Да... отвѣчалъ тотъ сдавленнымъ голосомъ, котораго самъ не узналъ.

Тогда она въ безсознательномъ порывѣ прижала къ его щекѣ свою обрызганную дождемъ, но жаркую щеку...

— Вѣра Георгіевна... вырвалось едва внятно у Альбинскаго.

Довольно было этого имени и отчества, чтобы оба сразу пришли въ себя и мгновенно сознали свое положеніе; она —жена Тарцева, Альбинскій—его другъ, и все, происходившее сейчасъ на скамейкѣ—непростительное увлеченіе, обманъ, дикость. И зачѣмъ они мокнутъ здѣсь подъ дождемъ, когда тамъ, въ комнатахъ, безпокоятся о нихъ и не знаютъ, что подумать? И вообще,—зачѣмъ все это? Какъ это произошло? Откуда налетѣло?

Тарцева вздрогнула всѣмъ тѣломъ, почувствовала вдругъ, что она промокла, что ей холодно, что все это глупо, пошло, низко... Она накинула платокъ на голову и почти бѣгомъ бросилась къ крыльцу.

Альбинскій постоялъ съ минуту, потирая лобъ, потомъ нерѣшительно направился къ крыльцу, но не доходя до него, круто повернулъ къ калиткѣ, осторожно отворилъ ее, вышелъ въ переулокъ и, крадучись, какъ воръ, торопливо зашагалъ по мокрымъ деревяннымъ мостикамъ.

На другой день Альбинскій не пошелъ къ Тарцевымъ. Обыкновенно онъ приходилъ туда около 6 часовъ, къ вечернему чаю, послѣ котораго читали вмѣстѣ; но на этотъ разъ онъ велѣлъ кухаркѣ поставить самоваръ и усѣлся поправлять ученическія тетрадки...

Въ передней послышался звонокъ и вслѣдъ за этимъ знакомый голосъ:

— Баринъ дома?

Это была Вѣра Георгіевна. Она довольно часто заходила къ Альбинскому—то съ мужемъ или свекровью, то одна; и онъ давно привыкъ къ этимъ посѣщеніямъ. Но теперь, здороваясь въ столовой, они оба смутились и нѣкоторое время молча стояли среди комнаты.

— Вы не пришли къ намъ сегодня... сказала Тарцева, глядя въ сторону.

— Да, да... засуетился Альбинскій. — Тетрадки читаю. Каникулярныя сочиненія...

Онъ торопливо принесъ изъ кабинета тетради и зачѣмъ-то положилъ ихъ передъ гостьей:

— Видите: «Женскіе типы въ произведеніяхъ Пушкина». Тридцать пять штукъ... Да. Дѣло спѣшное.

Дѣло было вовсе не спѣшное, и онъ говорилъ неправду. Взглянувъ на Тарцеву, Альбинскій по лицу ея сразу увидалъ, что она не вѣритъ ему, а только притворяется, что вѣритъ,—и отъ этого еще больше смутился; Тарцева, въ свою очередь, поняла, что онъ видитъ ея притворство, и окончательно растерялась.

— Я вотъ принесла вамъ ваши книжки,—сказала она, не поднимая глазъ:—думала, что, можетъ быть, онѣ нужны вамъ...

И она, краснѣя отъ мысли, что тоже говоритъ неправду, что дѣло не въ книгахъ, и что онъ понимаетъ это, протянула ему связку...

— А, спасибо, спасибо... пробормоталъ онъ, конфузливо моргая и стараясь не замѣтить ея смущенія.—Да, да... онѣ въ самомъ дѣлѣ могутъ понадобиться... Я сейчасъ...

И онъ, оставивъ Тарцеву одну, скрылся въ кабинетъ, гдѣ принялся съ ненужной поспѣшностью устанавливать принесенныя книги на полку; а Тарцева съ столь же непонятной торопливостью стала пересматривать тетрадки.

— Я вчера даже не простился съ вами... сказалъ Альбинскій, возвращаясь въ столовую. Тонъ его былъ—какъ бы беззаботный, но, на самомъ дѣлѣ, мысль о томъ, что онъ ушелъ вчера, не простясь, больше всего другого помѣшало ему пойти сегодня къ Тарцевымъ.

— У насъ подумали, что вамъ, должно быть, нездоровится... произнесла Тарцева, нагибаясь низко надъ «Женскими типами»,—и обоимъ стало такъ стыдно, что Альбинскій закусилъ себѣ губу до боли, а на глаза Тарцевой выступили слезы, которыя она поспѣшила скрыть за тетрадью...

— Давно что-то вы, барыня, къ намъ не бывали,—привѣтливо сказала вѣчно босоногая Агафья, входя съ подносомъ

въ столовую. Плохо, вить, намъ безъ хозяйки-то... Какого варенья прикажете подать къ чаю?

Отъ этихъ простыхъ словъ неловкость гостьи и хозяина разсѣялась. Альбинскій увидалъ передъ собою прежнюю Тарцеву, а Тарцева почувствовала себя въ гостяхъ у стараго знакомаго, гдѣ она привыкла быть, какъ дома.

Давай намъ сюда всѣхъ сортовъ,—сказалъ веселымъ голосомъ Альбинскій.—Ты еще чего-то наварила тамъ на этой недѣлѣ?

Агафья, остановясь въ дверяхъ и обращаясь къ гостьѣ, разсказывала съ увлеченіемъ про варку варенья. Тарцева и Альбинскій, посмѣиваясь, слушали ее, глядѣли другъ на друга и недоумѣвали: какъ могли они за минуту передъ этимъ стыдиться другъ друга и ощущать такое непріятное замѣшательство?

Когда Агафья подала самоваръ, Тарцева, снявъ шляпу, перетерла, по своему обыкновенію, посуду и заварила чай, разговаривая съ Альбинскимъ объ Агафьѣ, о погодѣ («осенніе чудные дни стоятъ!..») о гимназіи, гдѣ только что началось ученье... Вчерашняя сцена въ саду казалась Альбинскому чѣмъ-то далекимъ и не имѣющимъ значенія.—«Все остается по прежнему»,—думалъ онъ.

И кругомъ все было по старому: тѣ же свѣтлые обои съ цвѣточками, посреди столовой—все тотъ же раздвижной столъ, покрытый сѣрой клеенкой, на немъ—все тотъ же приземистый никкелированный самоваръ, въ кухнѣ—все та же Агафья, въ кабинетѣ—тѣ же полки съ книгами... Сколько уже разъ пили они съ Тарцевой въ этой столовой чай и бесѣдовали—совершенно такъ же, какъ вотъ теперь пьютъ и бесѣдуютъ, подъ аккомпаниментъ неторопливаго тиканья старыхъ стѣнныхъ часовъ.

Ихъ отношенія такъ переплелись съ этими стѣнами, книгами, часами, обыденными разговорами, тетрадками, что всякія другія отношенія казались обоимъ чѣмъ-то дикимъ, все равно, какъ если бы Альбинскій вмѣсто того, чтобы пить въ этой столовой чай, сталъ бы играть здѣсь въ кегли или устроилъ бы тутъ себѣ ванну...

— Ну, мнѣ пора,—сказала Тарцева, надѣвая передъ давно знакомымъ зеркаломъ шляпку.—Я пойду, взгляну, нѣтъ ли у васъ еще чего-нибудь почитать?

Оба вошли въ кабинетъ. Тарцева разсматривала книги, а Альбинскій сидѣлъ на подоконникѣ у раскрытаго окна. Выбравъ книгу, Вѣра Георгіевна подошла къ нему, поговорила съ нимъ о взятой книгѣ, потомъ оба стали молча смотрѣть изъ окна на пустынный переулокъ. И здѣсь все по старому: та же трава на немощеной улицѣ, тѣ же развороченные кирпичи на тротуарахъ, тотъ же высокій заборъ съ гвоздями, далеко растянувшійся по противоположной сторонѣ, тѣ же вѣтви яблони, свѣшивающіяся черезъ заборъ, та же невозмутимая тишина... Подъ окномъ копошатся куры и пѣтухъ; вдоль стѣны крадется за воробьемъ тощая кошка... Вотъ пробѣжалъ почтальонъ въ парусинной блузѣ съ сумкой... прошла по тротуару дама подъ зонтикомъ... прослѣдовала, не спѣша, по серединѣ улицы корова... И опять никого, кромѣ куръ; и опять невозмутимая тишина...

Но вотъ въ этой тишинѣ прозвенѣли едва слышно какіе-то звуки. Они росли, усиливались, и уже можно было явственно различать, что гдѣ-то играетъ оркестръ.

Это музыка въ загородномъ саду... сказалъ Альбинскій.

Звуки то замирали, какъ будто теряясь въ пространствѣ, то приближались, дѣлались полнѣе, и тогда легко было уловить обрывки какого-то вальса.

— Должно быть, сегодня гулянье... произнесъ задумчиво Альбинскій и взглянулъ на Тарцеву. Она стояла, опершись локтями на подоконникъ; лицо у нея было такое же, какъ вчера, когда Альбинскій, придя въ садъ, увидалъ ее на скамейкѣ: тотъ же огонекъ, который онъ мысленно назвалъ «блуждающимъ», тотъ же нѣмой порывъ въ каждой чертѣ...

Что-то дрогнуло въ немъ, и онъ, взволнованный, поспѣшилъ отвернуться. Онъ чувствовалъ, что рядомъ съ нимъ—опять та новая для него, властно притягивающая къ себѣ женщина, которая вчера мелькнула вдругъ передъ

нимъ, какъ яркій метеоръ, и потомъ всю ночь грезилась ему въ длинномъ рядѣ тревожныхъ сновидѣній; да и самъ онъ уже не таковъ, какъ былъ за минуту передъ этимъ, и все кругомъ него какъ-то измѣнилось: и тихій, пустынный переулокъ, и заборъ, и яблоня, освѣщаемая послѣдними лучами заходящаго солнца—все это было теперь въ его глазахъ чѣмъ-то необычнымъ, полнымъ неяснаго для него значенія, какой-то новой затаенной жизни и неуловимой трепетной красоты. Ему неудержимо хотѣлось увидѣть въ глазахъ Тарцевой броженіе той же жизни и красоты, и онъ, рѣшившись снова взглянуть на нее, не могъ уже оторвать взгляда отъ ея лица. Тарцева повернула къ нему голову; они посмотрѣли глубоко въ глаза другъ другу и инстинктивно потянулись одинъ къ другому. Они не замѣтили, какъ уже сидѣли рядомъ на подоконникѣ, прижимаясь другъ къ другу, и обмѣнивались восхищенными взглядами и поцѣлуями, и Альбинскому опять, какъ вчера, казалось, что это именно то, что имъ обоимъ нужно, что они безконечно близки другъ другу и только по какому-то странному недоразумѣнію не ощущали раньше этой близости; что все остальное—комнаты, улицы, книги, люди—имѣетъ для нихъ значеніе только, какъ случайная обстановка для ихъ чувства...

Агафья, шлепая босыми ногами, зашла въ столовую убрать самоваръ. Альбинскій услыхалъ, какъ зазвенѣла чайная посуда,—и его очарованіе сразу исчезло. Онъ мгновенно замѣтилъ все окружающее: музыка уже не играетъ, солнце зашло, небо начало темнѣть...

Боже мой, что мы дѣлаемъ?! въ ужасѣ прошепталъ онъ, срываясь съ подоконника.

Тарцева приложила руку къ своему пылающему лбу, затѣмъ торопливо поправила прическу, подняла шляпку, валявшуюся у ея ногъ, и машинально пересѣла на диванъ; на ея щекахъ горѣлъ румянецъ не то стыда, не то гнѣва... Альбинскій съ убитымъ видомъ ходилъ по кабинету, судорожно теръ себѣ грудь и говорилъ безсвязныя слова:

— Какъ мы могли?.. Какъ это вышло? Что же это та-

кое, наконецъ?!.. Вѣдь это ужасно!.. Тутъ обманъ, измѣна... Зачѣмъ все это?.. Боже мой!

— Ну, что тутъ говорить?.. глухо отозвалась Тарцева; потомъ быстрымъ движеніемъ поднялась съ дивана и, протягивая Альбинскому руку, сказала:

— Прощайте... Забудьте все.

Въ ея тонѣ, лицѣ, во всей ея фигурѣ было столько страдальческаго, тоскливаго, что у Альбинскаго сжалось сердце. Нѣсколько мгновеній онъ дежалъ ея руку въ своихъ и смотрѣлъ ей въ глаза, полные безнадежной грусти. Онъ чувствовалъ, какъ и въ немъ начинаетъ ныть тоска за нее, какъ вслѣдъ затѣмъ страстная нѣжность хлынула ему въ душу... Крѣпко прильнувъ губами къ ея похолодѣвшимъ рукамъ, онъ цѣловалъ ихъ до тѣхъ поръ, пока онѣ не согрѣлись; потомъ слегка оттолкнулъ отъ себя Тарцеву и прошепталъ:

— Уходите, уходите...

III.

Альбинскій всю эту ночь не могъ заснуть. Мысли его безпокойно метались. Онъ чувствовалъ, что въ его жизнь ворвалось что-то неожиданное, уродливое, сразу исказившее всѣ ея привычныя формы...

Образъ Тарцева, какъ кошмаръ, висѣлъ надъ нимъ и заслонялъ все собою; Альбинскій видѣлъ на его лицѣ горькій укоръ за обманутое довѣріе и чувствовалъ, что этотъ укоризненный образъ не позволитъ ему ни думать, ни работать, ни жить, пока онъ не отдастъ на его судъ свою измѣну.

Онъ начиналъ припоминать свой грѣхъ, стараясь не льстить себѣ никакими оправданіями. Ему живо представилась сцена у окна. Онъ какъ будто опять переживалъ ее, онъ до галлюцинаціи ясно видѣлъ Тарцеву въ тотъ моментъ, когда она стояла, опершись на подоконникъ, и слушала музыку: никогда еще лицо ея не было такъ прекрасно, такъ полно жизни, какъ въ тѣ минуты! А когда она, прощаясь, стояла передъ нимъ, и онъ цѣловалъ ея руки,

сколько тоскливой красоты, сколько глубокой нѣжности и печали было въ ея глазахъ и въ переполнившемъ обоихъ ихъ чувствѣ! Грѣховный порывъ переставалъ казаться ему чѣмъ-то дикимъ и безчестнымъ: напротивъ, отъ него вѣяло на Альбинскаго ароматомъ какой-то поэзіи, сладко волнующей и желанной. Тарцевъ, со своимъ укоромъ, отходилъ все дальше и дальше, становился совсѣмъ маленькимъ, незамѣтнымъ, а его мѣсто заступалъ сотканный изъ грусти и нѣжности, плѣнительный женскій образъ, который подъ конецъ все вытѣснилъ собою...

Альбинскій спохватился и съ краской на лицѣ уличалъ себя въ новой низости. Тогда женскій образъ начиналъ блѣднѣть, удаляться, и передъ глазами Альбинскаго опять вырасталъ образъ обманутаго друга. Эта безпрестанная смѣна картинъ, происходившая помимо воли Альбинскаго, приводила его въ отчаяніе: точно кто-то все время поворачивалъ передъ нимъ бинокль, заставляя его смотрѣть на свой проступокъ то въ малыя, то въ большія стекла, отчего грѣхъ то разростался въ его глазахъ до грозныхъ размѣровъ, то сводился къ едва замѣтной точкѣ.

Измученный безсонницей и калейдоскопомъ мыслей, Альбинскій былъ разсѣянъ на урокахъ. Онъ не могъ простить себѣ этого и, уходя домой, твердо рѣшилъ выбросить изъ головы всѣ постороннія мысли, уйти всецѣло въ работу. Ему хотѣлось тотчасъ же засѣсть за какое-нибудь дѣло, но онъ боялся, какъ бы не зашелъ Тарцевъ. Вполнѣ сознавая, какъ унизительна эта боязнь, и презирая себя за нее, онъ все-таки не могъ усидѣть дома: наскоро пообѣдавъ, захватилъ съ собой томъ Тургенева и отправился въ загородный паркъ.

Онъ любилъ перечитывать лучшихъ авторовъ, неторопливо наслаждаясь ихъ мастерскими деталями; но теперь книга валилась у него изъ рукъ: все казалось такимъ скучнымъ, прѣснымъ... Отложивъ Тургенева, онъ сталъ перебирать въ головѣ знакомые ему романы и повѣсти, въ смутной надеждѣ найти тамъ разъясненіе своей душевной путаницы... Застѣнчивый и цѣломудренный, онъ никогда не былъ въ близкихъ, интимныхъ отношеніяхъ съ женщинами, но зато

всегда чрезвычайно интересовался женскими типами въ литературѣ и къ нѣкоторымъ изъ нихъ онъ питалъ особенно нѣжное чувство за ихъ поэтически-привлекательный душевный обликъ. Припоминая теперь длинный рядъ героевъ и героинь, онъ не находилъ у нихъ ничего похожаго на свое странное чувство къ Тарцевой и на все то, что онъ сейчасъ переживаетъ: въ чувствахъ, настроеніяхъ, поступкахъ этихъ героевъ и героинь всегда можно увидать, если не идею, такъ, по крайней мѣрѣ, какую-нибудь ясную уважительную причину, а у него, какъ казалось ему, все полно противорѣчій, все спутано, скомкано... Что это за несносная пестрота въ ощущеніяхъ? Что за странное чувство къ женщинѣ, одновременно порывистое и холодное, поэтическое и уродливое, какъ будто и драгоцѣнное для него и, вмѣстѣ съ тѣмъ, недостойное и подозрительное въ его глазахъ? Прежде всего онъ даже не любитъ ее, по крайней мѣрѣ, онъ никогда не чувствовалъ, что любитъ. Встрѣтятся они опять въ обычной домашней обстановкѣ, и онъ, вѣроятно, будетъ смотрѣть на нее, какъ и раньше, глазами стараго знакомаго. Навѣрно, и она такъ же. Но если это такъ, то почему жъ теперь взволновалъ его глубоко женскій образъ, дважды мелькнувшій передъ нимъ? Почему и она въ эти моменты тянулась къ нему всѣмъ своимъ существомъ? Почему чувствовали они тогда органическую близость другъ къ другу? Вѣдь если вдуматься хорошенько, такъ онъ даже не знаетъ, что она за человѣкъ. Она во всякомъ случаѣ не такая, какою казалась ему раньше. Чего она хочетъ? Что она любитъ? Не болѣзненное ли въ ней всѣ эти порывы?...

На слѣдующій день былъ праздникъ. Альбинскій проснулся очень поздно, увидалъ лучи солнца, и первой мыслью его было, что все на свѣтѣ гораздо проще, чѣмъ иногда кажется.—«Я просто перемудрилъ,—думалъ онъ, глядя въ освѣщенный солнцемъ потолокъ.—Тутъ дѣло ясно, какъ Божій день. Если даже насъ связываетъ съ ней серьезное чувство, то все-таки нельзя строить свое благо на несчастіи другого. Тутъ нечего и разбирать, что это за чувство, нечего и раздумывать, а надо просто пойти къ Тарцеву и разсказать ему откровенно все, что было. Я увѣренъ, что

и она въ глубинѣ души думаетъ теперь о томъ же самомъ только ей, можетъ быть, трудно сдѣлать первый шагъ... Во всякомъ случаѣ, между нами троими все должно быть прозрачно,—иначе конецъ дружбѣ!.. Сейчасъ же иду къ нимъ».

Почувствовавъ приливъ бодрости, онъ вскочилъ съ постели, умылся, выпилъ наскоро стаканъ чаю и сталъ одѣваться, чтобы немедленно идти къ Тарцевымъ.

«Вѣдь какъ все это въ сущности просто, если только безъ колебаній дѣлать то, что долженъ дѣлать»,—думалъ онъ, повязывая передъ зеркаломъ галстухъ.

Одѣвшись, онъ закурилъ папиросу и машинально присѣлъ къ тому самому окну, у котораго они съ Тарцевой слушали музыку. Ему казалось, что передъ уходомъ необходимо додумать еще что-то, какъ будто ускользающее отъ него. Вошла Агафья и доложила, что вчера вечеромъ заходилъ Вячеславъ Сергѣевичъ, справлялся о здоровьѣ барина и просилъ его зайти поскорѣе.

Я вотъ сейчасъ туда и хочу пойти,—отвѣтилъ Альбинскій, вдругъ заторопившись и дѣлая рядъ ненужныхъ жестовъ.—«Да, да... надо побывать»—бормоталъ онъ, но продолжалъ сидѣть на мѣстѣ, какъ прикованный. Непріятное волненіе охватило его. Онъ чувствовалъ, что ему не хочется идти къ Тарцеву. Настойчиво твердя себѣ, что это-самый простой и честный путь, онъ въ то же время не видѣлъ на этомъ пути ничего для себя привлекательнаго.—«Но вѣдь поборолъ же я свое увлеченіе, вышелъ же побѣдителемъ изъ этой борьбы долга съ чувствомъ»,—говорилъ онъ себѣ:—«значитъ, есть во мнѣ какая-то нравственная сила,—она-то и велитъ мнѣ идти къ Тарцеву съ повинной». Все это онъ много разъ мысленно повторялъ себѣ, но не ощущалъ при этомъ никакого удовлетворенія и въ глубинѣ души даже какъ будто скорѣе желалъ быть не побѣдителемъ, а побѣжденнымъ...

Это было для Альбинскаго до такой степени неожиданно и странно, что онъ долго бормоталъ въ испугѣ: «Да что же это, однако?.. Что же это, наконецъ, такое?»...

Растерянный вышелъ онъ на улицу и машинально побрелъ не къ Тарцевымъ, а опять, какъ вчера, въ загородный паркъ и, пока шелъ туда, все озирался пугливо, чтобы какъ нибудь не натолкнуться на знакомыхъ: ему казалось, что на лицѣ его ярко отражается та некрасивая внутренняя передряга, въ которую онъ вдругъ попалъ, какъ въ слякоть. Завернувъ на Дворянскую улицу, онъ вдругъ увидалъ на противоположномъ тротуарѣ Елизавету Артемьевну, которая, въ своей смѣшной коричневой шляпкѣ, торопливо шла прямо, какъ стрѣла, неся какія-то коробки и энергически размахивая на ходу зонтикомъ. Альбинскій обомлѣлъ, точно въ Елизаветѣ Артемьевнѣ было въ самомъ дѣлѣ что-нибудь страшное; но та, по своей близорукости и привычкѣ смотрѣть прямо передъ собой, не замѣтила его, и Альбинскій прошмыгнулъ мимо нея съ сильно бьющимся сердцемъ.

Въ паркѣ онъ выбралъ самый пустынный уголокъ, сѣлъ тамъ на полусгнившую скамейку и долго-долго сидѣлъ, прислушиваясь къ тишинѣ, къ слабому шелесту листьевъ надъ головой. Никогда въ жизни не испытывалъ онъ такой томящей грусти, какъ теперь, никогда еще не ощущалъ такъ больно своего одиночества... Вся душа ныла въ немъ при мысли, что эта женщина, такъ глубоко взволновавшая его, всегда останется для него чужой и далекой. О, какъ онъ желалъ сидѣть сейчасъ здѣсь рядомъ съ ней, ощущать ее видѣть, какъ блестятъ ея глаза, гладить ея волосы, цѣловать ея дрожащія губы! Ему было теперь ясно, что это для него дороже всякихъ идеаловъ и принциповъ. Онъ представлялъ себѣ, какъ при ней сразу оживутъ для него и эти деревья съ пожелтѣвшими листьями, и эта заглохшая дорожка, и эта покривившаяся скамейка, сквозь которую проросла трава, и весь этотъ паркъ, задумчивый, пустынный, молчаливый; какъ въ этомъ шелестѣ листьевъ, вмѣстѣ съ грустью о безвозвратно минувшемъ, ему будутъ слышаться и печально-ласковыя слова утѣшенія; какъ въ самомъ дыханіи осени онъ почувствуетъ что-то невыразимо прекрасное, чѣмъ вѣяло на него въ юности отъ всякой осенней картины, и какъ во всемъ забьется для него пульсъ жизни. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ не могъ ни на минуту забыть

что въ его мечтахъ и желаніяхъ много чувственнаго, преступнаго, краденаго, и что его принципы не позволятъ ему пойти навстрѣчу желанному, загородятъ передъ нимъ дорогу, отпугнутъ его прочь...—Да что же это за пугало такое? спрашивалъ онъ себя.—«Вѣдь это просто какой-то шлагбаумъ, который опускается передо мной, вопреки моему желанію и волѣ! Такъ неужели же вся эта борьба и ломка и умерщвленіе въ себѣ жизни происходятъ во имя какого-то шлагбаума? Обидно, унизительно, нелѣпо!»

Нѣтъ, этого быть не можетъ! Въ чувствѣ долга, въ голосѣ совѣсти, въ нравственномъ идеалѣ должна таиться какая-то красота, какая-то высокая, разумная сила, дающая радостное удовлетвореніе. Отчего долгъ, совѣсть, идеалъ не вдохновляютъ его, а только угрожаютъ чѣмъ-то, застилая передъ нимъ горизонтъ жизни тусклыми сумерками, въ которыхъ онъ обязанъ безропотно исчезнуть? Отчего? Отчего? Развѣ такимъ онъ былъ прежде?

Онъ сталъ припоминать изъ своей жизни случаи, когда ему приходилось бороться во имя долга, идеала, совѣсти, но все это были такія мелочи, и борьба была такъ мизерна, что Альбинскій, при этихъ воспоминаніяхъ, могъ только саркастически усмѣхнуться. Онъ такъ ухитрился устроить свою жизнь, что она проходила, почти не цѣпляясь за жизнь другихъ, какъ проходитъ по своей строго опредѣленной орбитѣ планета вдали отъ другихъ небесныхъ тѣлъ. Прежде онъ добросовѣстно учился, подчиняясь обязательнымъ для всѣхъ требованіямъ; теперь онъ такъ же добросовѣстно учитъ и такъ же исполняетъ требованія. Зла никому онъ не дѣлалъ—можетъ быть, потому, что и поводовъ-то особенныхъ для этого не было. Мало читалъ, много разговаривалъ о прочитанномъ, много мечталъ — вотъ и вся жизнь. Не было въ ней никакихъ крупныхъ событій, никакой борьбы—и вообще ничего крупнаго. Не было и случаевъ ввести въ борьбу свой идеалъ, свои принципы, свою совѣсть. Все—даже его собственная душа—было закрыто для него какою-то дымкой, а вотъ теперь вдругъ дымка исчезла, и онъ увидалъ передъ собою—шлагбаумъ... одинъ шлагбаумъ.

— «Такъ неужели, неужели во имя шлагбаума?» спрашивалъ онъ себя съ ожесточеніемъ—и ужъ не могъ разобрать, противъ чего начинаетъ ожесточаться: противъ ли своихъ чувственныхъ порывовъ, которые толкаютъ его на запретный путь, или противъ шлагбаума, который закрываетъ передъ нимъ дорогу? То онъ начиналъ желать, чтобы страсть властно захватила его и заставила позабыть о нравственномъ пугалѣ: «хоть темная, слѣпая сила, а все-таки сила!»; то называлъ себя безчестнымъ и съ ужасомъ думалъ о своемъ паденіи. Потомъ возмущался дряблостью своей натуры, неспособной на настоящее, сильное чувство, презиралъ себя за то, что ни тепелъ, ни холоденъ, весь разъѣденъ анализомъ и не можетъ разгорѣться, какъ отсырѣвшее полѣно... И снова вслѣдъ затѣмъ обвинялъ себя въ цинизмѣ, въ идейномъ убожествѣ, въ грубыхъ низменныхъ вожделѣніяхъ, а въ глубинѣ души продолжалъ роптать противъ требованій совѣсти, которыя съ одной стороны безсильны одушевить его, а съ другой—такъ насильственно властны надъ нимъ. И онъ ловилъ себя, безпощадно разбивалъ въ себѣ каждую попытку къ самообману: «Не изъ уваженія къ идеалу и не изъ христіанской любви къ ея мужу я отказался отъ нея, а потому, что я не выношу безпокойства, боюсь угрызеній совѣсти, въ святость которой не вѣрю. Она только парализуетъ меня, гнететъ, держитъ въ тискахъ; это—деспотъ-начальникъ, передъ которымъ я дрожу, какъ трусливый подчиненный. Вѣдь, если бы я навѣрное зналъ, что эти угрызенія не будутъ тревожить меня,—какъ легко и свободно я бы почувствовалъ себя! А теперь совѣсть для меня то же, что бѣльмо на глазу или мозоль на ногѣ, не дающая мнѣ ходу. Я, какъ забитая кошка, стою передъ кринкой молока—и боюсь прикоснуться къ ней. Я жалалъ бы грѣшить, но не смѣю, потому что и для грѣшныхъ-то желаній я слишкомъ вялъ... Боже мой, Боже мой, какъ я духовно бѣденъ, какъ я холоденъ сердцемъ, какъ неспособенъ любить мало-мальски искренно то, что привыкъ на словахъ считать высокимъ и священнымъ... и какая отвратительная паутина сплелась теперь вокругъ меня,—паутина, которую я безсиленъ разорвать!»...

IV.

Вѣра Георгіевна сидѣла послѣ утренняго чая у открытаго окна и читала газету. Окно выходило въ садъ, и она время отъ времени машинально наблюдала, какъ ея мужъ, въ сѣрой рабочей блузѣ, возился около цвѣтовъ, поломанныхъ недавно бурей. Тарцевъ каждое утро, прежде чѣмъ уйти въ контору, занимался садомъ или огородомъ, причемъ непремѣнно гудѣлъ про себя что-то однотонное,—и каждый разъ Вѣра Георгіевна, видя, какъ онъ подвязываетъ цвѣты или сгребаетъ граблями соръ, ощущала скуку и раздраженіе.

Что-то самодовольное и вмѣстѣ убогое чудилось ей и въ этомъ скрупулезномъ ухаживаньи за цвѣтами, и въ этомъ монотонномъ гудѣньѣ.—«Только человѣкъ, неспособный къ жизни, равнодушный ко всему на свѣтѣ, можетъ такъ священнодѣйствовать надъ крошечнымъ клочкомъ земли»,—думала она, глядя на согнутую фигуру мужа.

— Сколько цвѣтовъ поломало!—сказалъ Тарцевъ со вздохомъ.—Грустно смотрѣть!

— Природа не дорожитъ такими пустяками, — отозвалась Вѣра Георгіевна.—Мнѣ даже нравится, что она возьметъ да вдругъ и смететъ съ лица земли все, надъ чѣмъ мы такъ хлопочемъ.

Тарцевъ повернулся и внимательно посмотрѣлъ на жену.

— Ты, Вѣра, за послѣднее время находишься въ дурномъ настроеніи,—мягко замѣтилъ онъ; потомъ, помолчавъ, онъ прибавилъ:

— По моему мнѣнію, ты напрасно читаешь газеты: онѣ всегда оставляютъ въ душѣ непріятный осадокъ, какое-то чувство неудовлетворенности, какъ послѣ болтовни обо всемъ понемножку. Онѣ только дразнятъ мысль, но не насыщаютъ. Нѣтъ ничего хуже, какъ съ утра начитаться газетъ.

— Что же дѣлать, если я могу черпать жизнь только изъ нихъ? сухо возразила Вѣра Георгіевна.—Больше вѣдь неоткуда взять ее... Да и то, что я узнаю изъ газетъ,

такъ для меня чуждо, будто все это происходитъ гдѣ-то на лунѣ. Мы въ своемъ домѣ—сами по себѣ, а вся остальная жизнь—тоже сама по себѣ, и никакого намъ до нея дѣла нѣтъ.

Тарцевъ слушалъ ее, опершись на лопату и смотря неподвижно въ землю; потомъ произнесъ, какъ бы размышляя самъ съ собою:

— Когда у человѣка нѣтъ гармоніи внутри, онъ перестаетъ интересоваться тѣмъ, что не касается его личнаго настроенія, ибо тогда самой неотложной его потребностью является приведеніе въ порядокъ собственнаго духовнаго міра. Давай же, Вѣра, постараемся разобраться общими силами въ той неурядицѣ, которую ты, очевидно, переживаешь.

— Опять разобраться? нервно воскликнула Вѣра Георгіевна.—Нѣтъ, ради Бога, не нужно! Мы и такъ поминутно разбираемся въ себѣ и другъ въ другѣ. Каждый изъ насъ то и дѣло разсматриваетъ и себя и другихъ въ микроскопъ. Нѣтъ, уволь, пожалуйста!

— Такъ скажи, по крайней мѣрѣ, откровенно: можетъ быть, ты сердишься на меня или на мамашу? Можетъ быть, мы невзначай обидѣли тебя чѣмъ-нибудь?

— Ахъ, Боже мой, никто меня не обижалъ, и ничего со мной не случалось... Все, слава Богу, обстоитъ благополучно... только жизнь съ каждымъ днемъ испаряется изъ меня.

— Это оттого, что ты черезчуръ замкнулась въ своемъ настроеніи,—возразилъ Тарцевъ, осторожно выбирая слова, изъ боязни сказать что-нибудь рѣзкое.—Надо, идти впередъ. Не пестротой впечатлѣній живъ человѣкъ, а своей внутренней гармоніей. Тутъ—неисчерпаемый источникъ жизни, тутъ тысяча вопросовъ чувства, самопознанія, самовоспитанія. Тутъ могутъ открываться передъ нами все новые и новые горизонты...

— Для чего мнѣ все это? возразила съ горькой иронiей Вѣра Георгіевна.—Мы читаемъ, разсуждаемъ о прочитанномъ, споримъ, опять читаемъ и опять разсуждаемъ,—а у насъ все остается по-старому... Мы всю жизнь вер-

тимся на какой-то каруселн, отъ которой, наконецъ, тошнитъ... Зачѣмъ мнѣ твои новые горизонты, когда на самомъ дѣлѣ-то предо мной вѣчно одинъ горизонтъ: вотъ этотъ садикъ, гряды, клумбы, заборъ...

— Мы еще вернемся къ этому разговору, Вѣра,—сказалъ Тарцевъ, взглянувъ на часы.—Уже одиннадцатый часъ: надо въ контору... Ты затронула очень интересный вопросъ, чисто психологическій, и надо поглубже заглянуть, гдѣ корень зла... Жаль, что Александра Митрофановича нѣтъ. Онъ тоже, должно быть, переживаетъ какое-нибудь исключительное настроеніе. Ты ничего не знаешь объ этомъ, Вѣра?

Онъ остановилъ на женѣ пытливый взглядъ, но та уткнулась въ газету и какъ будто не слыхала его вопроса...

Тарцевъ переодѣлся и ушелъ въ контору. Вѣра Георгіевна дочитала газету, навѣдалась въ кухню, гдѣ кухарка чистила къ обѣду рыбу, потомъ машинально смахнула въ столовой пыль со стульевъ и опять сѣла къ окну. Все время ее преслѣдовалъ назойливый стукъ машинки, на которой шила Елизавета Артемьевна. Въ этихъ звукахъ ей слышалось что-то безнадежно-будничное: «Все идетъ по старому, все по старому... тр... тр... тр...»—трещала машина. «Какая безсмыслица!» думала съ раздраженіемъ Вѣра Георгіевна.—«Вотъ она шьетъ сейчасъ для меня кофточку, которая мнѣ совсѣмъ не нужна... какъ будто эта кофта сдѣлаетъ меня хоть на іоту счастливѣе!» Она даже знала, о чемъ думаетъ Елизавета Артемьевна подъ стукотню машинки. Вчера вечеромъ они прочитали совмѣстно разсказъ изъ народной жизни, въ которомъ затронутъ вопросъ объ отношеніи интеллигенціи къ народу, и Елизавета Артемьевна съ жаромъ доказывала, что въ ея время народъ любили, а теперь готовы плевать на него. «Навѣрное, она сравниваетъ сейчасъ свое поколѣніе съ нашимъ и вспоминаетъ, какъ въ 60-хъ годахъ ходили въ народъ»,—говорила себѣ Вѣра Георгіевна, и ей становилось тошно отъ сознанія, что она какъ будто осязаетъ мыслительную работу Елизаветы Артемьевны, а та, въ свою очередь, какъ будто ощущаетъ всегда настроеніе невѣстки...

— Нѣтъ-съ, Вѣра Георгіевна, ваши современные интеллигенты ничего не любятъ, кромѣ своей собственной персоны,—раздался черезъ комнату голосъ Елизаветы Артемьевны.

— «Такъ и есть: я угадала!» подумала чуть не съ отвращеніемъ Вѣра Георгіевна.—«Ну, что ей до народа? Она и въ деревнѣ-то никогда не жила, никогда пальцемъ для него не пошевельнула, а вѣдь почему-то считаетъ обязательнымъ любить народъ»...

— Ваши милые интеллигенты только скребутся вѣчно внутри себя, какъ мыши, вмѣсто того, чтобы работать для общества,—продолжала Елизавета Артемьевна подъ трескотню машинки.

— «Всего интереснѣе то, что сама-то она никогда никакого общественнаго дѣла не дѣлала, а всю жизнь провела въ разговорахъ и спорахъ», думала Вѣра Георгіевна, не отзываясь на слова свекрови.

— Вы, кажется, опять раскисе́? спросила Елизавета Артемьевна, появляясь въ дверяхъ и смотря на невѣстку въ упоръ своими близорукими выпуклыми глазами.

— Какъ вамъ не скучно стучать по цѣлымъ часамъ на машинѣ? произнесла вмѣсто отвѣта Вѣра Георгіевна.

Елизавета Артемьевна высоко откинула голову, подняла брови и отчеканила какимъ-то особеннымъ, молодеческимъ тономъ:

— Мы, женщины 60-хъ годовъ, не умѣемъ скучать. Намъ нельзя скучать. Намъ некогда скучать.

И она, подождавъ нѣсколько секундъ, чтобъ насладиться эффектомъ своихъ словъ, полетѣла набить себѣ папироску.

Скоро опять до слуха Вѣры Георгіевны донеслось «тр... тр... все по старому, все будетъ по старому»... Она встала, пошла въ свою комнату и принялась тамъ для разнообразія переставлять мебель. Обстановка у нея по нѣскольку разъ въ годъ обходила кругомъ всю комнату, и эти перемѣны развлекали иногда Вѣру Георгіевну. Но теперь это ей быстро надоѣло, и она, оставивъ мебель въ безпорядкѣ, вышла въ залу. Тамъ отъ массы цвѣтовъ, загараживаю-

щихъ окна, царилъ всегда унылый полусвѣтъ. Она раздвинула цвѣты, отворила окно и стала глядѣть на улицу. Вотъ уже четыре года, какъ она видитъ передъ собой эту вывѣску: «Торговля матеріальнымъ и колоніальнымъ товаромъ», эту голову сахара, нарисованную на вывѣскѣ, и этого краснолицаго лавочника, который обыкновенно стоитъ въ дверяхъ подъ сахарной головой. Боже, какъ все это опротивѣло!

Она долго стояла у окна въ какомъ-то столбнякѣ. Часы пробили 12, потомъ 1 часъ, Елизавета Артемьевна, бросивъ шить, ушла въ кухню, гдѣ считала своимъ долгомъ заглядывать сквозь пенснэ въ горшки и кастрюли,—а Вѣра Георгіевна стояла у окна и думала... думала такъ же машинально, какъ машинально смотрѣла на уличную жизнь: на улицѣ мелькали передъ ней какіе-то не люди, а силуэты,—и въ головѣ у нея проносились не мысли, а какія-то тѣни мыслей, полусознательныя, безсвязныя, случайныя. Она думала и объ этомъ лавочникѣ, и о своемъ мужѣ, и объ Альбинскомъ, и о пробѣжавшемъ мимо нея мастеровомъ съ ремешкомъ на головѣ. Всѣ они—и мужъ, и Альбинскій, и лавочникъ, и современный интеллигентъ, о которомъ такъ недружелюбно отзывалась Елизавета Артемьевна,—были для нея не живыя существа, чувствующія, страдающія, любящія, а какъ-будто нарисованныя... точь въ точь, какъ вотъ этотъ господинъ съ намыленной щекой на вывѣскѣ парикмахера; и глаза ея какъ-будто въ такой степени приглядѣлись къ нимъ, что едва замѣчали ихъ присутствіе или отсутствіе... Это было какое-то оцѣпенѣніе. Она чувствовала, что бороться противъ него невозможно, потому что имъ насыщена вся атмосфера дома: что-то оцѣпеняющее застыло въ его мертвенной тишинѣ, въ его размѣренной жизни; оно проникаетъ незамѣтно и безпрестанно во всѣ мельчайшія норы; сгоняетъ веселую улыбку съ лица, останавливаетъ слезы на полдорогѣ, зажимаетъ ротъ, когда хочется крикнуть, замедляетъ самое кровообращеніе; оно душитъ въ зародышѣ всякое чувство, умерщвляетъ всякую живую мысль... Это—что-то страшное, неуловимое, непреодолимое. Ему покоряешься незамѣтно—и цѣпенѣешь...

какъ оцѣпенѣлъ встъ этотъ котенокъ, просиживающій теперь на подоконникѣ неподвижно по цѣлымъ днямъ. Давно ли онъ былъ такой игрунъ и баловникъ? Никто его не останавливалъ, не пугалъ, не билъ: онъ самъ скоро затихъ и оцѣпенѣлъ, и теперь съ улицы его можно принять не за живую, а за игрушечную кошку...

— Здравствуйте, Вѣра Георгіевна... послышался у нея за спиной знакомый голосъ.

Вѣра Георгіевна вздрогнула... Въ задумчивости она не слыхала, какъ вошелъ Альбинскій.

— Я нарочно выбралъ такой часъ, чтобы застать васъ одну; знаю, что Елизавета Артемьевна въ это время занята въ кухнѣ... Мнѣ необходимо поговорить съ вами.

— «Поговорить»?.. Мы всѣ только и дѣлаемъ, что говоримъ... произнесла Вѣра Георгіевна съ недоброй усмѣшкой, но, взглянувъ на Альбинскаго, остановилась, пораженная перемѣной въ его лицѣ; за эти дни онъ осунулся, взглядъ его голубыхъ, добродушно-мечтательныхъ глазъ былъ угрюмъ и безпокоенъ, на губахъ застыла жалкая улыбка...

— Видите ли... такъ продолжаться не можетъ... говорилъ онъ, садясь на стулъ и прерывисто дыша.—Нужно во что бы то ни стало стряхнуть съ себя этотъ кошмаръ. Онъ не даетъ мнѣ жить... Я потерялъ себя... Я пересталъ понимать, что я такое... Все это оттого, что мы обманули и скрываемъ свой обманъ: онъ-то и отравляетъ жизнь... Для насъ съ вами одинъ исходъ: признаться во всемъ Вячеславу Сергѣевичу.

— Что жъ, признайтесь, если находите это нужнымъ.. отозвалась апатично Тарцева.

Альбинскій опѣшилъ. Онъ ожидалъ возраженій, протестовъ и уже готовился умолять Вѣру Георгіевну, высказать ей тѣ горячія убѣжденія, которыя онъ разжегъ въ себѣ за двѣ послѣднихъ безсонныхъ ночи и которыми ему надо было еще разъ съ новымъ жаромъ убѣдить самого себя,— и вдругъ не оказалось никакой надобности ни умолять, ни убѣждать, ни даже просто говорить...

— Я сказала это безъ всякой задней мысли, — прибавила Тарцева, глядя на недоумѣвающее лицо Альбинскаго—

Когда меня грызетъ тоска, мнѣ хочется сдѣлать себѣ еще больнѣе! еще хуже—можетъ быть, для того, чтобы заставить себя, наконецъ, искать какого-нибудь выхода...

— Но зачѣмъ же хуже? возразилъ Альбинскій, чувствуя, что въ головѣ у него опять все перемѣшалось.—Надо только освѣтить какъ-нибудь эту невыносимую муть: вѣдь она мѣшаетъ жить, именно потому, что она—муть, а какъ только внесешь въ нее свѣтъ, сейчасъ же и освободишься отъ нея... Между всѣми нами могутъ по прежнему установиться добрыя отношенія. Вы столько лѣтъ жили съ мужемъ хорошо, дружно, и онъ васъ такъ любитъ... и я къ обоимъ вамъ такъ привязанъ,что... Вѣдь мы съ вами даже не любимъ по настоящему другъ друга. Развѣ это любовь? Вѣдь не любите же вы меня, въ самомъ дѣлѣ?.. добавилъ онъ шепотомъ

Тарцева сдвинула свои тонкія брови: лицо ея точно сразу постарѣло...

— Я никого не люблю,—отвѣтила она безстрастнымъ тономъ, и Альбинскій почувствовалъ, какъ его больно кольнуло въ сердце.—Я стала равнодушна ко всему на свѣтѣ, я вся—какъ пустая...—продолжала Тарцева съ такимъ видомъ, точно она объясняла что-то себѣ самой. Да... прежде я не была такою... Прежде мнѣ хотѣлось дѣлать и хорошее и дурное—теперь мнѣ не хочется ни того, ни другого, и я просто не замѣчаю, живу ли я, или нѣтъ? Я знаю, помню, что честно и что нечестно, но мнѣ одинаково ни до чего нѣтъ дѣла... Были у меня минуты, когда я вблизи васъ чувствовала, что живу, и мнѣ было тогда хорошо: мнѣ хотѣлось тогда жить, интересоваться жизнью, хотѣлось чувствовать, любить... можетъ быть, не одно дурное. Впрочемъ, все это во мнѣ, вѣроятно, отъ праздности, отъ распущенности, а мы съ вами слишкомъ порядочные люди, чтобы позволить себѣ такъ распуститься: если мы чувствуемъ, что не можемъ жить по установленному порядку, то мы предпочитаемъ отказаться отъ жизни и зацѣпенѣть. Вся наша бѣда въ томъ, что мы еще не совсѣмъ оцѣпенѣли; но это скоро придетъ, и тогда мы будемъ спокойнѣе...

Невольно подчиняясь ея безучастно-тоскливому тону, Альбинскій сѣлъ рядомъ съ нею и смотрѣлъ на нее печальными, испуганными глазами. Со стороны можно было подумать, что тутъ изстрадавшаяся больная разсказываетъ мужу или брату о своемъ мучительномъ недугѣ, а тотъ слушаетъ ее съ грустнымъ участіемъ...

— А, пропащій! сказала Елизавета Артемьевна, влетая, румяная отъ плиты, въ залу и здороваясь съ Альбинскимъ.— Хандрили, что ли? Охъ, мнѣ эти современные нытики!.. Ну, сейчасъ Вячеславъ придетъ,—будемъ обѣдать... Вѣра, опять въ акваріумѣ рыба плещется; ты бы перемѣнила воду, что ли,—а я пойду, велю на столъ накрывать: черезъ пять минутъ Вячеславъ придетъ...

И она, высоко неся голову, вышла своей молодцеватой походкой, которою втайнѣ гордилась...

Вѣра Георгіевна подошла къ акваріуму, стоящему въ углу залы, и посмотрѣла на безпокойно мечущихся рыбъ, которыя все чаще и тревожнѣе всплескивали на поверхности...

— Видите, какъ тутъ все хорошо устроили,—сказала она Альбинскому;—камешки, раковинки, растенія; а вотъ даже цѣлые меленькіе гроты... Кажется, все такъ красиво, уютно; ихъ кормятъ здѣсь, за ними ухаживаютъ, и щука тутъ до нихъ не доберется, — а онѣ, глупыя, мечутся и готовы выскочить вонъ...

— Душевно радъ, душевно радъ! воскликнулъ Тарцевъ, входя съ радушной улыбкой въ залу.—Вотъ, наконецъ, онъ опять съ нами, нашъ милый Александръ Митрофановичъ!

Онъ долго и горячо жалъ Альбинскому руку, но во всей фигурѣ его было что-то неестественно суетливое. Каждый разъ, когда происходило что-нибудь, хоть чуть-чуть выходящее изъ обыденныхъ рамокъ, даже если это было пріятнымъ событіемъ, Тарцевъ въ первыя минуты какъ-то пугался, терялся и безпокойно бѣгалъ глазами. За эти дни онъ какъ будто поотвыкъ отъ Альбинскаго и мучился, не зналъ, чѣмъ выразить ему свое удовольствіе...

— Ну, вотъ и отлично! говорилъ онъ, смущенно потирая руки.—Опять мы всѣ вмѣстѣ... Пообѣдаемъ, побесѣдуемъ... Я сейчасъ, только переодѣнусь...

Обѣдъ прошелъ въ тяжеломъ напряженіи. Тарцевъ и Елизавета Артемьевна пробовали разспрашивать Альбинскаго, отчего онъ хандрилъ, но тотъ отдѣлывался незначительными фразами.

Послѣ обѣда Тарцевъ ласково взялъ Альбинскаго подъ руку, привелъ его къ себѣ въ кабинетъ, усадилъ въ большое кресло возлѣ письменнаго стола, предложилъ папиросу, а самъ принялся ходить изъ угла въ уголъ своимъ размѣреннымъ, неторопливымъ шагомъ.

— Я, Александръ Митрофановичъ, позволю себѣ упрекнуть васъ въ недостаткѣ откровенности,—заговорилъ онъ, потирая, по своей привычкѣ, кисть руки ладонью другой руки.—Виноватъ, мягко перебилъ онъ, видя, что Альбинскій хочетъ возразить,—позвольте мнѣ напомнить вамъ исторію нашей дружбы...

Альбинскій понялъ, что Тарцеву хочется лишній разъ поговорить о дружбѣ, и впервые почувствовалъ при этомъ неловкость и скуку.

— Вы знаете, дорогой мой Александръ Митрофановичъ,—говорилъ Тарцевъ, — что я всегда хотѣлъ одного только: пріобрѣсти себѣ честнымъ трудомъ права на крошечный уголокъ въ жизни, отгородить этотъ уголокъ отъ всего окружающаго и мирно жить внутри этой ограды, занимаясь вмѣстѣ со своими близкими самосовершенствованіемъ. Найти себѣ друга всегда было живѣйшею потребностью моего сердца. Я говорилъ себѣ: «если мнѣ встрѣтится симпатичный, близкій по духу человѣкъ, то я впущу его въ ограду и сдѣлаю своимъ близкимъ; если же такого человѣка не встрѣтится, то пусть лучше никого не будетъ», такъ какъ я предпочитаю лучше жить въ одиночествѣ, чѣмъ поддерживать съ людьми натянутыя, неискреннія, отношенія. На мое счастье, я встрѣтилъ въ вашемъ лицѣ человѣка, близкаго мнѣ по духу: у насъ съ вами одни и тѣ же духовные интересы, свидѣтельствующіе о нашемъ духовномъ родствѣ. Мы обсуждали совмѣстно нравственныя проблемы, святые вопросы совѣсти, изслѣдовали тайники внутренней жизни... Между нами всегда была полная откровенность, и каждый изъ насъ видѣлъ въ другомъ свое второе «я»... И

вотъ теперь, безъ всякаго съ моей стороны повода, вы стали прятать отъ меня свою душу. Мнѣ это особенно прискорбно потому, что кромѣ моей семьи и васъ, у меня вѣдь никого нѣтъ.

Голосъ Тарцева дрогнулъ... На щекахъ Альбинскаго выступили красныя пятна, въ горлѣ ощущалось какое-то щекотаніе.

— Да, я виноватъ передъ вами, — сказалъ онъ, вдругъ почувствовавъ приливъ дружеской откровенности.—Я долженъ искупить свою вину чистосердечнымъ признаніемъ.

Что-то блеснуло въ глазахъ Тарцева. Онъ остановился противъ Альбинскаго, крѣпко пожалъ ему руку и произнесъ своимъ проникновеннымъ тономъ:

— Вѣрьте, дорогой мой, что я пойму васъ... Говорите все, все!

—Видите ли... началъ Альбинскій, запинаясь и не отрывая глазъ отъ своей папиросы. — Случилось нѣчто такое неожиданное и непонятное... Я не зналъ, какъ сказать вамъ объ этомъ... Мнѣ больно было огорчать васъ...

— О, не бойтесь этого: горькія истины бываютъ полезны для души, какъ хина—при лихорадкѣ, — возразилъ съ горячимъ убѣжденіемъ Тарцевъ.

— Но онъ уже весь заволновался, глаза его безпокойно замигали; онъ силился скрыть это — и не могъ овладѣть собой...

— Вы поможете мнѣ освѣтить нѣкоторые темные уголки моей души,—продолжалъ Альбинскій, чувствуя, какъ безпокойство Тарцева передается и ему, какъ все, о чемъ онъ собирается говорить, выростаетъ въ его глазахъ до фатальныхъ размѣровъ.— Бываютъ, Вячеславъ Сергѣевичъ, у человѣка такіе внезапные порывы... что-то такое стихійное... Налетитъ какой-то вихрь, закружитъ, опрокинетъ... и опять куда-то умчится. Главное въ томъ, что это всегда застигаетъ врасплохъ... Вотъ и со мною случилось нѣчто подобное.

И онъ, краснѣя, хмурясь и не глядя на Тарцева, сталъ разсказывать ему исторію своего кратковременнаго увлеченія. Но едва онъ началъ, какъ тотчасъ же почувствовалъ,

что говоритъ не то, что хотѣлъ сказать; силился говорить только правду — и продолжалъ лгать, самъ недоумѣвая, какъ это у него выходитъ? Онъ точно старался лѣзть кверху по наклонной плоскости—и безпрестанно соскальзывалъ съ нея внизъ, убѣждаясь съ каждымъ разомъ, что онъ окончательно не въ силахъ повѣдать Тарцеву всю правду во всей ея наготѣ. Онъ не признался ему ни въ томъ, что и до сихъ поръ въ его душѣ, въ его нервахъ остается отъ этого увлеченія сладкій, волнующій осадокъ, ни въ томъ, что на этотъ порывъ запретнаго чувства радостно откликнулись какія-то струны его сердца и теперь все еще звучатъ, ни въ томъ, какъ тускло мерцаетъ для него нравственный идеалъ передъ этимъ внезапнымъ взрывомъ чувственности, украшенной блестками поэзіи.. Вмѣсто этого, онъ говорилъ о темной, презираемой имъ силѣ, захватившей его на моментъ и тотчасъ же побѣжденной имъ, о какомъ-то безсознательномъ аффектѣ, усыпившемъ на мгновеніе его разумъ; въ заключеніе, выразилъ увѣренность, что подобный аффектъ никогда больше не повторится, и что онъ, при дружномъ содѣйствіи Вячеслава Сергѣевича, окончательно освободитъ свою нравственную личность отъ вліянія слѣпыхъ силъ, гнѣздящихся въ области безсознательнаго.

Тарцевъ ходилъ изъ угла въ уголъ, заложивъ руки за спину, и молчалъ; только пальцы его все время безпокойно шевелились... Но вотъ онъ остановился противъ кресла Альбинскаго, тотъ увидалъ его покраснѣвшіе, быстро-быстро бѣгающіе глаза—и вдругъ понялъ, что Тарцевъ уже раньше подозрѣвалъ его, что, можетъ быть, изъ-за этихъ-то именно подозрѣній Тарцевъ и укорялъ его въ скрытности.

— Спасибо вамъ, дорогой Александръ Митрофановичъ, что вы такъ чистосердечны... говорилъ Тарцевъ усиленно-задушевнымъ тономъ, но голосъ у него дрожалъ, руки дрожали, глаза разбѣгались во всѣ стороны.—Мы съ вами настолько близки по духу, что... безсознательный порывъ не можетъ поколебать прочной нравственной связи между нами... да. Человѣкъ никогда не гарантированъ отъ по-

добныхъ вспышекъ; но если онъ борется съ ними, если... Вообще, это—дѣло его совѣсти... Надо только, чтобы святое святыхъ души оставалось чистымъ. Остальное приложится... да. Мы должны стоять выше безсознательныхъ побужденій и разныхъ мелкихъ чувствъ и сообща бороться противъ нихъ...

Онъ долго еще говорилъ въ этомъ духѣ. Альбинскій поддакивалъ ему; потомъ, невольно впадая въ тонъ привычныхъ разговоровъ, самъ началъ высказывать свои соображенія по вопросу о борьбѣ съ такими силами. Онъ разсуждалъ о томъ, какъ важно между близкими людьми полное взаимное довѣріе, какъ необходимъ для человѣка постоянный самоконтроль, какъ много значитъ совмѣстная дружная работа въ дѣлѣ своего нравственнаго прогресса... Разговоръ шелъ, не прерываясь,—но наступилъ, наконецъ, моментъ, когда оба поняли, что они говорятъ все объ одномъ и томъ же и говорятъ только потому, что боятся замолчать. Молчаніе все-таки наступило, и Альбинскій сейчасъ же замѣтилъ, что они все это время не рѣшаются глядѣть въ глаза другъ другу, что имъ тяжело теперь быть вмѣстѣ, что паутина все больше и больше опутываетъ ихъ. Онъ понялъ, что самое-то главное Тарцевъ старается всѣми силами скрыть даже отъ себя самого, а это главное заключается въ томъ, что Тарцевъ не вѣритъ въ его откровенность, подозрѣваетъ его, ревнуетъ... можетъ быть, даже презираетъ за его чувственность, за его измѣну, за его лживость; и чѣмъ больше обуревали Гарцева недобрыя чувства, тѣмъ настойчивѣе увѣрялъ онъ его въ своей дружбѣ, въ своемъ довѣріи... И чѣмъ яснѣе становилось для Альбинскаго это искреннее желаніе Тарцева скрыть свою неискренность, тѣмъ острѣе чувствовалъ онъ свою собственную, противную для него самого фальшь, тѣмъ горячѣе говорилъ о томъ, какъ высоко цѣнитъ онъ дружбу Вячеслава Сергѣевича и свое духовное родство съ нимъ...

Чтобы вырваться, наконецъ, изъ этой удушливой атмосферы, насыщенной невыносимымъ для обоихъ обманомъ и самообманомъ, Альбинскій вдругъ выхватилъ часы, ахнулъ

и заявилъ, что ему необходимо бѣжать домой, поправить каникулярныя работы.

— А стаканчикъ чайку? сказалъ Тарцевъ.

— Невозможно! Я всѣ сроки пропустилъ... Приходится ночь просидѣть.

— Какъ жаль, право, что вы такъ вдругъ... произнесъ съ грустью Тарцевъ, провожая пріятеля.—Я даже не считаю нужнымъ говорить, что между нами, конечно, все остается по старому... не такъ ли? прибавилъ онъ, пожимая продолжительно Альбинскому руку—и упорно не смотря на него...

Проводивъ Альбинскаго, Тарцевъ пошелъ къ женѣ. Вѣра Георгіевна сидѣла въ своей комнатѣ у окна и читала.

— Александръ Митрофановичъ ушелъ,—сказалъ многозначительно Тарцевъ и принялся ходить изъ угла въ уголъ, хрустя на ходу пальцами.

Вѣра Георгіевна молча посмотрѣла на его неслышно двигающуюся фигуру, отъ которой вѣяло чѣмъ-то мирнымъ и мрачнымъ вмѣстѣ, потомъ перевела глаза на его туфли, («больничныя», какъ она мысленно называла)—и опять уткнулась въ книгу.

— Вѣра, я *все* знаю,—глухо промолвилъ Тарцевъ.

— А! равнодушно отозвалась Вѣра Георгіевна.—Очень рада.

Она подняла голову отъ книги и стала смотрѣть въ окно на ветхій сѣрый заборъ, передъ которымъ торчали кусты бузины и густо разрослась крапива...

— Я понимаю, что все это—только случайная вспышка,—говорилъ глухимъ мучительнымъ голосомъ Тарцевъ.—Я увѣренъ, что это больше не повторится...

— Я тоже думаю, что это не повторится... отвѣтила безстрастнымъ тономъ Вѣра Георгіевна.—Вотъ скоро придетъ зима, вставятъ двойныя рамы, которыя ты такъ любишь,—и сюда не долетитъ ни одинъ звукъ изъ жизни...

Тарцевъ бросилъ безпокойный взглядъ на жену. Онъ не узналъ ея голоса и нѣкоторое время не могъ сообразить, какъ онъ долженъ отнестись къ ея словамъ, и что надо, по совѣсти и человѣколюбію, отвѣтить на нихъ?..

— Во всякомъ случаѣ я по прежнему люблю тебя и... по прежнему вѣрю тебѣ,—сказалъ онъ, собравшись, наконецъ, съ мыслями.—Я даже не считаю нужнымъ говорить, что прощаю тебѣ эту вспышку. Я хочу быть строгимъ только къ себѣ самому... Я убѣжденъ, что та нравственная связь, которая соединяетъ насъ, и въ которой я вижу единственную истинную основу брака, не можетъ поколебаться отъ какого-нибудь слѣпого минутнаго увлеченія...

Онъ долго говорилъ на эту тему, а Вѣрѣ Георгіевнѣ казалось, что это читаютъ вслухъ одну изъ безчисленныхъ повѣстей, разрабатывающихъ на всѣ лады психологію семьи и брака. Тарцевъ видѣлъ передъ собой окаменѣлый профиль жены и никакъ не могъ разобрать: затаила ли она глубоко въ себѣ волненіе, или она и на самомъ дѣлѣ остается совершенно равнодушной къ его словамъ и ко всей этой исторіи?.. Онъ обвелъ глазами комнату, какъ бы спрашивая отвѣта у окружающей обстановки, остановилъ взглядъ на разставленной кое-какъ мебели, на оконныхъ занавѣскахъ, которыя жена изукрасила кокетливо-причудливыми фестонами, на стѣнномъ календарѣ съ неоторванными за цѣлую недѣлю листками, потомъ опять перевелъ взглядъ на жену и сказалъ:

— Вѣра, что же ты молчишь? Я говорю съ тобой, какъ съ другомъ, какъ съ человѣкомъ, близкимъ мнѣ по духу,— а ты... Я, наконецъ, не знаю, что у тебя на душѣ?..

Вѣра Георгіевна повернула къ нему голову; выраженіе лица ея было черствое, глаза смотрѣли недобрымъ, враждебнымъ взглядомъ...

— Когда вы говорите мнѣ свои хорошія слова,—произнесла она, болѣзненно морщась,—я чувствую, что меня точно завертываютъ въ какую-то вату... Мнѣ душно, противно... Эта отвратительная вата лѣзетъ мнѣ въ ротъ, въ глаза, въ уши... Боже мой, неужели это всегда, всегда будетъ!..

Она взяла книгу и вышла изъ комнаты. Передъ Тарцевымъ промелькнуло чье-то злое и какъ-будто незнакомое лицо, при видѣ котораго по душѣ его пробѣжала холодная струйка.

Въ тяжеломъ недоумѣніи постоялъ онъ съ минуту среди

комнаты, хрустнулъ пальцемъ и пошелъ въ садъ подвязывать цвѣты.

V.

Прошли три недѣли. Альбинскій лежалъ послѣ обѣда на диванѣ и просматривалъ только-что полученную книгу журнала. Видъ у него былъ усталый, нездоровый; глаза смотрѣли тускло... Онъ вяло перелистывалъ страницы и думалъ:

— Хорошо бы заснуть...

Послышался звонокъ, потомъ тяжелые, медленные шаги, точно кто-то возилъ ногами по полу, и на порогѣ кабинета появился Тарцевъ. Онъ поблѣднѣлъ за это время, обросъ волосами; глаза глубже ушли во впадины, а морщина на лбу обозначилась рѣзче. Впечатлѣніе получилось такое, какъ будто онъ только что вышелъ изъ пещеры, гдѣ долго жилъ въ темнотѣ, уединеніи и скорби... Переступивъ порогъ, онъ тотчасъ же постарался вызвать на своихъ губахъ свѣтлую, даже беззаботную улыбку.

— Что же это вы насъ забыли, дорогой Александръ Митрофановичъ? сказалъ онъ, протягивая Альбинскому обѣ руки.—Мы всѣ соскучились по васъ.

— Да, я тоже стосковался... произнесъ Альбинскій, оправясь отъ перваго смущенія.

— Я понимаю: вы хотѣли переждать время, говорилъ Тарцевъ, усаживаясь рядомъ съ Альбинскимъ и нѣжно дотрагиваясь до его рукава.—Вамъ надо было, чтобы все это улеглось... да. Вы, по своему, конечно, правы... И у насъ въ домѣ было броженіе... да. Но теперь все улеглось, вошло въ норму... и можно опять все по старому.

Онъ снова заговорилъ о дружбѣ, о совмѣстномъ стремленіи къ идеалу, о томъ, что выше всего надо ставить чисто человѣческія отношенія. Глаза его были закрыты какою-то пеленой, но Альбинскій ясно читалъ въ его лицѣ, что его семейное благополучіе разрушено, его спокойствіе отравлено, что его гонитъ къ нему... отчаяніе; онъ понималъ также, что Тарцевъ ни за что не сознается въ этомъ даже себѣ самому.

Въ голосѣ Вячеслава Сергѣевича ему почудились какія-

то новыя, жалкія ноты,—и Альбинскому стало больно за него; вдругъ захотѣлось сказать, что и онъ также потерялъ спокойствіе, вѣря въ себя, въ свои принципы, что и онъ хочетъ вернуться къ старому, съ которымъ сросся, какъ черепаха съ своей оболочкой, что внѣ этого стараго онъ не умѣетъ, не можетъ жить, хоть и жаждетъ этого иногда всѣми силами души... что онъ, какъ и Тарцевъ, тоже хватается за привычную соломенку, непередъ зная, что она его теперь не спасетъ...

Вмѣсто этого, онъ сказалъ, протягивая Тарцеву руку:

— Я отъ души радъ, что все опять пойдетъ по старому, по хорошему, и мы можемъ, какъ прежде, читать вмѣстѣ, бесѣдовать о прочитанномъ, обсуждать вопросы, работать сообща надъ самосовершенствованіемъ... Я очень, очень радъ этому... и мнѣ такъ отрадно быть опять въ вашей милой семьѣ.

...Черезъ полчаса оба входили въ уютную гостиную, гдѣ Елизавета Артемьевна читала, при свѣтѣ лампы, только что полученную книгу журнала въ такой же обложкѣ, какъ и у Альбинскаго.

— Вотъ и опять онъ здѣсь, нашъ дорогой Александръ Митрофановичъ! сказалъ Тарцевъ, нѣжно поддерживая пріятеля подъ руку.

— А, пропащій! привѣтствовала гостя Елизавета Артемьевна.—Чего же это вы кисли? А я тутъ наткнулась на интересную статью: о рабочемъ вопросѣ въ Германіи... Да, кстати: вѣдь мы безъ васъ не дочитали того романа. Помните?

— Вотъ и прекрасно, и давайте сейчасъ дочитывать,— сказалъ Альбинскій.

— Знаете, у насъ наступаетъ эпоха возрожденія наукъ и искусствъ, засмѣялась Елизавета Артемьевна и, выпрямляя на ходу свою все еще стройную талію, отправилась за романомъ...

Вошла Вѣра Георгіевна, молча поздоровалась съ Альбинскимъ и молча сѣла къ окну. По лицу ея нельзя было разобрать, рада ли она гостю или нѣтъ, удивлена его приходомъ или не удивлена...

— Въ этомъ романѣ очень интересный вопросъ затронутъ...—сказалъ Тарцевъ, чтобъ нарушить молчаніе.

— Да... отозвался Альбинскій.

Елизавета Артемьевна принесла книгу. Она влетѣла въ гостиную съ своимъ обычнымъ побѣдоноснымъ видомъ, сѣла къ столу, протерла платкомъ пенснэ и, перелистывая романъ, сказала:

Ну-съ, такъ гдѣ же мы прошлый разъ остановились? Ахъ, вотъ оно...

Она откашлялась и, держа на отлетѣ книгу, начала:

— «Глава 17-ая. Убѣдившись, что Грензенъ любитъ ее, какъ женщину, а не какъ человѣка, Ида дала себѣ слово отказаться разъ на всегда отъ личной жизни, отъ всѣхъ своихъ прежнихъ иллюзій и посвятить себя такому дѣлу, которое»...

Опять, какъ мѣсяцъ тому назадъ, въ гостиной сурово звучалъ голосъ Елизаветы Артемьевны, и опять казалось что она читаетъ присутствующимъ нотаціи, опять Тарцевъ безшумно расхаживалъ изъ угла въ уголъ, заложивъ руки за спину и горбясь на ходу; Вѣра Георгіевна такъ же сидѣла, облокотясь на подоконникъ и щурясь отъ лампы, и такъ же нельзя было разобрать по ея лицу, слушаетъ ли она чтеніе, или только наблюдаетъ, какъ другіе слушаютъ, такъ же сидѣлъ Альбинскій на диванѣ и, пощупывая бородку, внимательно слушалъ; такъ же горѣла лампа подъ зеленымъ балдахиномъ, такъ же мертвенно тихо было въ комнатѣ, такъ же плескалась рыба въ аквaріумѣ...

Е. ЧИРИКОВЪ

ОБЛАВА

Стояло хорошее осеннее утро. Небо было чисто, ни одного облачка не висѣло въ его блѣдной, прозрачной синевѣ. Солнышко свѣтило такъ ярко и ласково, что если бы не пожелтѣвшіе листья и травка, да не холодный утренникъ, что сковалъ тонкимъ ледкомъ скопившуюся въ колеяхъ по дорогѣ воду,—можно было бы подумать, что начинается одинъ изъ красныхъ лѣтнихъ деньковъ...

Но кусты придорожнаго березняка казались при яркомъ солнечномъ блескѣ золотыми; листья дубняка, тамъ и сямъ прятавшагося между березками, выглядывали кроваво-красными пятнами; въ лучахъ солнца не было жизненной теплоты; они свѣтили, но не грѣли. И все это напоминало объ осени... О томъ же напоминали и пустыя, покрытыя колючей атавой поля, что убѣгали вправо отъ дороги въ необозримую даль, вплоть до блѣдной синевы горизонта, и безпрестанно похрустывавшій подъ колесами телѣги тонкій бѣлый ледокъ, и усѣянные заплатами тулупы сидѣвшихъ въ телѣгѣ мужиковъ.

По лѣвую сторону отъ дороги открывались широкою котловиною луга; тамъ и сямъ на нихъ еще торчали неубранныя копенки сѣна. Надъ змѣившеюся вдали рѣчкою висѣлъ бѣлою легкою тканью туманъ... Впереди синѣлъ лѣсъ, зубчатый контуръ котораго, постепенно уменьшаясь, тянулся далеко-далеко и, наконецъ, покрытый синеватою дымкою, исчезалъ, словно таялъ въ прозрачномъ воздухѣ...

Бубенчикъ мелодично побрякивалъ подъ шеей маленькой лохмоногой лошадки. Ледокъ рѣзко потрескивалъ подъ телѣгой. Лошадка фыркала и мотала головой. Каж-

дый оборотъ заднихъ колесъ-гигантовъ сопровождался однообразнымъ жалобнымъ пискомъ.

Путники ѣхали по направленію къ синѣвшему впереди лѣсу.

Лошадью правилъ Иванъ, рыжій и корявый мужикъ, съ глупымъ выраженіемъ безпечности во всей своей фигурѣ, начиная съ кверху вздернутаго носа и кончая сбитымъ на сторону, размохрившимся лаптемъ на его ногѣ... И носъ, и рыжая бородка Ивана, и надломленный козырекъ его шапки, и даже лапоть,—все это какъ-то смотрѣло вверхъ, все было загнуто къ небу, а вѣчно смѣющіеся каріе глазки его всему этому, т. е. и носу, и бородкѣ, и лаптю, передавали свою улыбку: улыбался носъ, улыбалась борода, козырекъ, толстыя, немного раскрытыя губы, улыбался платокъ, которымъ была обвязана шея Ивана, ухмылялся и лапоть на ногѣ, поставленный имъ на уродливую чекушку передней оси... Иванъ часто позѣвывалъ, то и дѣло запускалъ одну руку подъ тулупъ, чтобы почесаться, а въ промежуткахъ между двумя этими дѣйствіями дергалъ возжами и смачно причмокивалъ.

Другой мужикъ, Пахомъ, сидѣвшій на лѣвой сторонѣ телѣги, задомъ къ Ивану, представлялъ собою полнѣйшую противоположность послѣднему. Подобно тому, какъ у Ивана все смотрѣло кверху, у Пахома—книзу. Это былъ уже пожилой мужикъ съ умными сѣрыми, нѣсколько хитрыми, глазами, прямымъ правильнымъ носомъ и окладистой бородой съ просѣдью. Фигура Пахома поражала своей степенностью и солидностью; одѣнь этого мужика въ черную сюртучную пару,—вы приняли бы его не иначе, какъ за предсѣдателя какого-нибудь общества или учрежденія. Пахомъ солидно поглаживалъ свою бороду, въ его умныхъ глазахъ безостановочно свѣтилась мысль.

Наконецъ, третій путникъ—молодой красивый парень Николай, бойкій, съ дерзкимъ выраженіемъ во всей фигурѣ, смѣлыми отрывистыми движеніями, ухарски надвинутымъ на затылокъ картузомъ, представлялъ собою типъ новѣйшаго времени. Николай былъ свободный сынъ свободныхъ родителей, о помѣщикахъ и крѣпостной неволѣ зналъ только

по разсказамъ, по наслышкѣ господъ терпѣть не могъ, не пропускалъ случая посмѣяться надъ ними, называя ихъ «строганными голяшками» и еще имъ самимъ изобрѣтеннымъ прозвищемъ «сосулька», которую онъ считалъ почему-то въ высшей степени обиднымъ для господъ.

Николай хорошо зналъ грамоту, зналъ и вѣрилъ, что земля вертится, хорошо понималъ, «по какой причинѣ, напримѣръ, дождь капитъ», или «что такое, скажемъ, громъ?» Сознавая свое преимущество передъ спутниками, Николай позволялъ себѣ довольно часто дѣлать имъ рѣзкія замѣчанія, въ родѣ такихъ, напримѣръ: «чаво гнешь?!», «а ты окстись!», «плюнь тому въ харю, кто» и т. д., причемъ онъ такъ увѣренно встряхивалъ головой, такъ энергично сплевывалъ и такъ уничтожающе взглядывалъ на говорящаго, что тотъ опускалъ глаза въ землю, не возражалъ и начиналъ колебаться: «Пожалуй, оно и такъ... кто... ее знатъ».

Пахомъ и Иванъ имѣли одну только общую черту: оба они страшно боялись становыхъ и урядниковъ, а всѣмъ встрѣчнымъ «съ колокольчиками» непремѣнно кланялись и, уступая дорогу, ломали шапки. Эта-же общая черта отличала обоихъ ихъ и отъ Николая, который не боялся урядниковъ, про станового говорилъ, что «и повыше есть», передъ проѣзжими же съ колокольцами не считалъ нужнымъ снимать картуза, а, напротивъ, насмѣшливо-самодовольно провожалъ пару взоромъ и, подшучивая надъ лошадьми, кричалъ ей вслѣдъ: «ось-отъ въ колесѣ, ось-отъ!»— и при этомъ неистово гоготалъ. Наконецъ, послѣдняя разница въ характерахъ путниковъ заключалась въ томъ, что Пахомъ обсуждалъ всякое дѣло молча, въ умѣ, Иванъ—дѣлалъ, не разсуждая, а Николай непремѣнно подходилъ ко всему съ собственной точки зрѣнія, наводилъ критику и соображалъ во все горло.

Всѣ три мужика были односельчане, обыватели села Неплюевки; двое, Пахомъ и Иванъ, являлись представителями сельской власти: первый былъ староста, второй—десятскій. Ѣхали они по дѣлу, и Николай состоялъ при нихъ въ качествѣ «понятого». Цѣлью ихъ поѣздки былъ синѣвшій впереди лѣсъ. Тамъ, около [illegible]улки, должны

были собраться сельскія власти и понятые изъ трехъ сосѣднихъ селъ; это былъ сборный пунктъ, назначенный урядникомъ Стручковымъ для дальнѣйшихъ его распоряженій по дѣлу.

А «дѣло» заключалось въ томъ, что въ районѣ трехъ сосѣднихъ селъ: Неплюевки, Протасовки и Безводнаго «объявился» Федька-косой, бродяга, хорошо знакомый всѣмъ тремъ путникамъ. (Иванъ хорошо его помнилъ: когда-то вмѣстѣ на своемъ селѣ съ дѣвчатами возжались, въ хороводы играли. Озорной парень былъ, лютой въ гармонику играть да въ лапту).

Забрили Федьку въ солдаты и угнали куда-то далеко. Стосковался онъ и домой убѣжалъ. Его поймали, наказали и опять заставили артикулы ружьемъ выдѣлывать. Онъ опять стосковался и опять убѣжалъ. Опять его поймали. Такъ до трехъ разъ. Когда же Федька снова убѣжалъ, его поймали и угнали въ Восточную Сибирь. Однако, ловкій парень Федька: и оттуда убѣжалъ! Вотъ ужъ третій годъ его ловятъ, но поймать никакъ не могутъ. Говорятъ, что Федька «слово» какое-то знаетъ,—какъ его ни закуй,—скажетъ только это самое слово, и кандалы свалятся; говорятъ тоже, что съ помощью угля и ложки воды Федька можетъ изъ любой кутузки удрать: очертитъ вокругъ себя на полу кругъ, въ середину чашку съ водой поставитъ, пошепчетъ на воду, дунетъ, плюнетъ,—и очутится кругомъ большая рѣка, а онъ—на лодочкѣ... уплыветъ, и поминай какъ звали!.. Вотъ и не могутъ Федьку поймать. А поймать чего бы легче! Какъ только лѣса листвой пріодѣнутся, а луга цвѣтами запестрѣютъ,—Федька «объявляется», по лѣсу бродитъ, по ночамъ въ родное село заходитъ, то вдругъ пропадетъ, то опять слухи: «Федьку-косого видѣли». На селѣ всѣ знаютъ, всѣ говорятъ, что Федька «объявился», а какъ до начальства дойдетъ, никто знать ничего не знаетъ, вѣдать—не вѣдаетъ. Кто жалѣетъ, кто боится Федьки. Своихъ односельчанъ онъ не боится, а бабъ такъ прямо, надо сказать,—любитъ. Ну и бабы тоже сильно ему сочувствуютъ. Завидитъ Федька, гдѣ бабы просо полятъ, ленъ дергаютъ, или по грибы да ягоды идутъ, сейчасъ къ

нимъ выходитъ, не хоронится. Попроситъ хлѣбца, молочка или кваску, присядетъ къ нимъ и начнетъ разспрашивать про свое родное село, про старуху-мать, какъ хлѣбъ родился, какъ опосля прошлогодняго пожара поправились, спроситъ, что про него слыхать, не собираются ли ловить, или что. Начнетъ имъ про свою кручину-тоску разсказывать, «сердце, говоритъ, изныло, душа смертно болитъ по родномъ селѣ... Не могу, говоритъ, себя сдержать. Ничего, говоритъ, вѣдь я не сдѣлалъ худого никому, за что же долженъ вѣкъ свой собакой жить... да еще хуже, какъ поганая тварь какая»... А самъ плачетъ, упадетъ головой на колѣни и горько плачетъ, словно ребенокъ малый...

Придутъ бабы домой и начнутъ по селу разсказывать, какъ онѣ съ Федькой встрѣтились, что онъ говорилъ имъ, даже слушать жалостно, сердце болитъ... Мужиковъ Федька сторонится, опасается; однако, и къ нимъ когда выходитъ... Раза три-четыре Федька ночью на село приходилъ... Погуляетъ по улицѣ, гдѣ изба ихняя стояла (сгорѣла она въ прошломъ году), къ церкви на лужокъ пойдетъ, гдѣ допрежде въ хороводѣ игралъ съ дѣвками, побродитъ мимо дома, гдѣ старуха-мать живетъ (въ чужихъ людяхъ она вѣкъ свой доживаетъ; Федька боится въ избу зайти), побродитъ, побродитъ этакъ-то, а передъ свѣтомъ опять въ лѣсъ уйдетъ...

Въ нынѣшнемъ году Федька рано объявился. Чуть-чуть только березки зеленѣть стали, еще въ оврагахъ снѣжокъ кое-гдѣ не вытаялъ, а ужъ слухи по селу пошли, что Федька опять объявился. Матрена, Семенова жена, его видѣла, рябая Дарья, протасовскіе ребята бороновать ѣхали,—издали Федьку узнали; тоже и безводнинскія дѣвки сказывали, что вплоть къ нимъ Федька подходилъ — онучей просилъ. Дошли эти разговоры до урядника; тотъ сталъ сходы сгонять. «Кто видѣлъ Федьку?». Всѣ молчатъ. «Ты, Матрена, видѣла?»—Не могу знать, ваше благородіе. «Ты, Огашка?»—Видать—видѣла, только не его, а другого, незнамова: нашъ-отъ худой да долгій, а этотъ низенькій и ноги развилкой.—Допросилъ протасовскихъ ребятъ,—ничего

не знаемъ, никого не видали. Однако, становой ловить приказалъ.

Вотъ на эту-то облаву и ѣхали наши путники. Ѣхали они съ большой неохотою: у всѣхъ дома работа есть, всѣмъ день дорогъ, а тутъ вотъ изволь по пустому болтаться. Пахомъ только что молотить собрался, токъ на гумнѣ чистилъ. Николай повѣть перекрывалъ,—заставили бросить; у Ивана тоже было дѣло... Поэтому, всѣ трое были крайне недовольны предстоящею облавой, хотя Иванъ ни разу не высказалъ этого...

Разговоръ шелъ сперва о нуждѣ, потомъ о недоимкахъ и, наконецъ, перешелъ на дёрку. Изъ ѣхавшихъ одинъ Николай еще былъ недраный; и Пахомъ и Иванъ достаточно «получили» на своемъ вѣку... Иванъ даже не особенно давно испыталъ это удовольствіе. Разговоръ о деркѣ заставилъ всѣхъ оживиться, они поспорили. Дѣло въ томъ, что взгляды всѣхъ троихъ на этотъ предметъ совершенно расходились. Пахомъ относился къ деркѣ, какъ къ неизбѣжной, самой судьбой ниспосланной необходимости, «безъ энтого—невозможно», говорилъ онъ, вздыхая. Иванъ относился къ деркѣ шутливо, легкомысленно. Николай острилъ надъ спутниками, и когда Пахомъ замѣтилъ ему, что погоди, молъ, и ты не уйдешь, тотъ злобно сверкнулъ глазами, загнулъ еще болѣе картузъ на затылокъ и, сплюнувъ, убѣжденно воскликнулъ: «Это чтобы меня выпороть? Чтобъ я до такой срамоты себя довелъ?! Никогда, въ жисть этого не будетъ!».

— Небойсь, становой-то пріѣдетъ,..—началъ было Пахомъ, но Николай его обрѣзалъ:

— И повыше есть!..

Никто не возразилъ. Николай помолчалъ и насмѣшливо спросилъ Ивана:

— Что, Иванъ, сказываютъ, выдрали?—Тотъ не понялъ соли предложеннаго Николаемъ вопроса и добродушнѣйшимъ тономъ отвѣтилъ:

— Выдрали, драть ихъ съ плеча, выдрали...—При этомъ Иванъ такъ весело улыбнулся, что можно было подумать,

будто эта недавняя дерка была однимъ изъ пріятнѣйшихъ его воспоминаній.

— Какъ же ты до этакого канфузу довелъ?

— Какой канфузъ! Мало ли дерутъ... Чай, не меня одного!..—безпечно отвѣтилъ Иванъ и тихо замурлыкалъ тягучую пѣсенку.

Пахомъ вздохнулъ и погладилъ пятерней свою бороду. «Помолотить не дали»—замѣтилъ онъ, какъ-бы про себя, и, подумавъ, добавилъ—«ежели бы не батюшка протасовскій, и ѣхать бы не пришлось».

— При какихъ же это интересахъ батюшка-то?

— Батюшка-то?

— Да.

Пахомъ разсказалъ.

— Ѣхалъ батюшка съ требой на Глухой Хуторъ въ то воскресенье. Ночью было дѣло. Ночь темная, дождь безперечь капитъ. Дорога тоже лѣсомъ идетъ. Лошадь чуть ноги волочитъ: на колесахъ столько черноземy налипло, что не вертятся тебѣ, и кончено. Лѣсъ глухой. Дубъ, осина, береза. Маялись, маялись — съ пути сбились: кружились, кружились—нѣтъ конца лѣсу. Лошадь въ конецъ замаяли, — встала она. Хоть ночуй въ лѣсу. Мужикъ плачется, батюшка жалуется... Огонь развели, кричать начали. Хорошо. Стоятъ и зѣваютъ... Только вдругъ сбоку изъ-подъ кустьевъ человѣкъ выходитъ... Ободранный, въ бабьей круткѣ, босой, штаны—одно званіе, съ дубиной...

— Это Федька, значитъ?—перебилъ Николай.

— Онъ самый... Заблудились, видно, добрые люди, говоритъ. Батюшка напужался; мужикъ къ телѣгѣ—за топоромъ полѣзъ. Не бойтесь, говоритъ, добрые люди, не сдѣлаю вамъ я худа... Я, говоритъ, не звѣрь вѣдь, а такой же православный, какъ и вы. Подошелъ къ огоньку,—нагнулся, руки сталъ грѣть. Рожа вся исцарапана, въ крови... Батюшка призналъ его. Федька хлѣбца попросилъ, со вчерашняго дня, говоритъ, во рту крошки не было. Хлѣба у нихъ не случилось. Ну, такъ покурить, говоритъ, пожалуйте. Дали. Спросили, какъ до Глухого Хутора доѣхать. Федька проводить вызвался; присѣлъ на телѣгу—поѣхали...

Хуторъ-отъ недалече былъ, надо было только пораньше влѣво взять... всего съ версту, двѣ ли... Какъ мигнулъ огонекъ впереди, Федька спрыгнулъ, попросилъ, сказываютъ, благословенья, спросилъ у батюшки, что ему на томъ свѣту будетъ за то, что онъ, какъ звѣрь какой, безъ причастія по лѣсамъ шатается, въ церковь Божію не ходитъ... Милостивъ Господь нашъ—батюшка ему сказалъ, благословилъ. Федька руку ему поцѣловалъ... Люди не простятъ, Богъ проститъ,—сказалъ онъ, взялъ свою дубинку и подъ кустья ушелъ...

— Утекъ, значитъ,—добавилъ Николай.

— Утекъ, стало быть...

— А батюшка и заявилъ?

— Стало быть, заявилъ... Пріѣхалъ къ становому и сказалъ, что Федьку видѣлъ... все, какъ было, разсказалъ...

— Пахомъ перевелъ глаза съ Николая въ землю и задумался. Николай свернулъ цигарку, набилъ ее изъ кисета табакомъ, моментально всунулъ въ уголъ рта (такъ франты играютъ моноклемъ) и полѣзъ за сѣрняками.

— А вотъ сказываютъ, вѣдь грѣхъ его курить-то? полуобернувшись замѣтилъ молчавшій доселѣ Иванъ.

— Какой грѣхъ?.. Человѣка загубить — вотъ это грѣхъ...

— Сказываютъ, чертомъ эта трава сѣяна...

— А ты плюнь тому въ харю-то, кто нагнулъ тебѣ это!.. Какой грѣхъ!.. Вотъ ты какъ полагаешь? Теперь, скажемъ такъ, законъ дозволяетъ убить Федьку, никакого наказанія за него не будетъ, потому онъ — отрѣшенный... Грѣхъ его убить, али нѣтъ?

— Что мнѣ его убивать-то!..

— Нѣтъ, ты только гля примѣру скажи: грѣхъ али нѣтъ?—настаивалъ Николай.

— Махаи, махай... вотъ я те огрѣю!—проговорилъ Иванъ, обращаясь къ лошади и уклоняясь отъ отвѣта.

— Вотъ тебѣ и «махай»... Идолы! — не унимался Николай...

— Прошлой весной этакъ же вотъ ловить ѣздили—заговорилъ послѣ небольшой паузы Пахомъ.—Согнали мужи-

ковъ съ пяти деревень... Собрались... (въ лѣсу тоже гоняли). Пріѣхалъ самъ становой, съ протасовскимъ бариномъ.

— Сосулька!—неожиданно вставилъ Николай.

— Съ ними и становиха была. Около Волчьяго вражка стоянку сдѣлали... Знашь, караулка тутъ допрежде была? Такъ возля ея. Становой—поглядѣть на него—ровно на войну собрался: тинжалъ при емъ, писталетикъ, свистулька... Собрали насъ всѣхъ—человѣкъ до тридцати будетъ... Пахомовскіе ребята, наши, Протасовскіе тоже были... Посмотрѣлъ это становой на насъ: что, говоритъ, вы съ пустыми руками? велѣно, говоритъ, было что ни на есть взять: топоръ, вилы ли... Ей Богу! Мы инда рты разинули! Наштo, молъ, ваше благородіе? Чай не волкъ али не медвѣдь онъ, а такой же человѣкъ... «Каторжный», говоритъ... Иванъ тогда никакъ тоже былъ?

— Былъ, драть ихъ съ плеча, былъ!.. Иванъ во весь ротъ ухмыльнулся. — Хлобыснулъ въ зубы, инда засвѣтилось!

Иванъ сдѣлалъ жестъ рукой, показывающій, какъ и по какому мѣсту ему тогда «хлобыснули», и замолчалъ. Лицо его сразу приняло обыденное выраженіе дѣтской безпечности.

Пахомъ пояснилъ дѣло.

— Разошлись тогда мы по лѣсу, въ разныя стророны, только хрустъ пошелъ... Становой съ барыней на стоянкѣ остались, а баринъ за долгоносиками пошелъ. Самоварчикъ это наставили, коврикъ разостлали... Кренделевъ, пряниковъ, винца и прочее такое. Извѣстно, разгуляться пріѣхали... Много-ли, мало-ли время прошло, только пошелъ это становой съ барыней по кусточкамъ погулять; отошли они отъ стоянки не больше, какъ саженъ сто-двѣсти, смотрятъ—подъ кустикомъ на лужочкѣ человѣкъ вверхъ брюхомъ лежитъ. Стой! Что за человѣкъ? Засвисталъ въ свою дудочку, закричалъ что есть мочи... думалъ, значитъ, Федьку поймалъ... А это вотъ нашъ Иванъ спалъ... (Пахомъ ткнулъ Ивана въ спину). Хорошо, знаешь, въ холодкѣ-то... Прилегъ да и задремалъ... Ткнулъ

его становой подъ бокъ, а въ рукахъ пистолетикъ держитъ... Продралъ Иванъ зенки, посмотрѣлъ это,—извѣстно,—сердце упало.—Что за человѣкъ?—спрашиваетъ опять становой.—Пачпортъ? документы?

— Неплюевски мы,—это Иванъ-то ему.

— Каки-таки Неплюевски?

— Федьку-косого, говоритъ, ловимъ... Становой какъ это развернется...

— Да хлобыснетъ меня по мордѣ!—оживленно договорилъ Иванъ, перебивая Пахома.

Всѣ дружно расхохотались.

— Махай! Махай!... вотъ я те огрѣю! — заговорилъ Иванъ съ лошадью.

Солнце поднялось выше. Воздухъ сталъ мягче и теплѣе. Туманъ надъ рѣчкою порѣдѣлъ. Подъ колесами зачмокала грязь.

Лѣсъ стоялъ стѣною по обѣ стороны дороги. Зашуршали груды желтыхъ опавшихъ листьевъ. Какая-то птица испуганно забила крыльями...

Корявые корни, переползая чрезъ узкую дорогу, заставляли телѣгу судорожно встряхиваться и громко и жалобно визжать...

СЕМЕНЪ ЮШКЕВИЧЪ

НОВЫЙ ПРОРОКЪ

I.

Грѣшная улица, тамъ гдѣ поднималась въ гору, упиралась въ старый вокзалъ. Сама она лежала въ балкѣ, и какъ сонная змѣя, вся въ изломахъ ползла между двумя рядами каменныхъ домовъ-мѣшковъ съ красными фонарями. Наверху по обѣимъ сторонамъ балки раскинулась слобода ремесленная и рабочая, съ широкими, немощенными улицами, тоненькими деревцами, низенькими домами, съ дворами-пустырями, съ утра до ночи какъ бы сторожила грѣшную улицу, чтобы она не ушла, и жадно заглядывала внизъ своими воспаленными и сердитыми глазами.

Днемъ въ балкѣ было всегда тихо,—развѣ пріѣдетъ изъ города хозяинъ «дома» на пролеткѣ, и дѣвушки на мигъ облѣпятъ окна, развѣ случайно одинокій прохожій завернетъ... И то сожмется, одурѣетъ отъ этой тишины и поспѣшитъ незамѣтно выбраться наверхъ... Появится дѣвушка, закутанная въ шаль, взглянетъ на вокзалъ, на небо, вздохнетъ и исчезнетъ. И снова одуряющая тишина, нездоровая прохлада отъ тѣней и странный желтоватый цвѣтъ солнечныхъ лучей, которыхъ здѣсь совсѣмъ мало. Всюду чисто. Ни соринки, ни камешка не валяется на мощенной улицѣ, на мощенномъ тротуарѣ, и нельзя понять, почему здѣсь такой порядокъ? Окна домовъ задернуты красными занавѣсками, и такъ скучно здѣсь отъ этой чистоты, отъ красныхъ фонарей и красныхъ занавѣсокъ, что, кажется, все остановилось въ полузѣвотѣ и сейчасъ повалится отъ нездоровой тоски. Ничего не доходило сюда: шумъ жизни

наверху, вокзальный шумъ съ криками его паровозовъ, ревомъ цѣпей и жужжаніемъ, суета черныхъ людей и суета свободныхъ людей, все рвалось вверхъ, вверхъ къ голубому клочку городского неба.

Но ночью грѣшная улица мѣнялась. Спускалась жизнь сверху внизъ робко и смѣлѣе, балка расцвѣчивалась манящими красными фонарями отъ одного конца до другого, и вездѣ пѣли и играли. Въ каждомъ уголкѣ становилось весело... неизвѣстно съ чего, отъ первой ли звѣзды на небѣ, отъ перваго ли женскаго голоса? Приходили люди съ радостными лицами, прекрасные въ своемъ нетерпѣніи, прекрасные въ свѣтѣ малиновыхъ фонарей, пріѣзжали люди, возлежа на дрожкахъ, и пьяные среди нихъ были похожи на трезвыхъ, а трезвые на пьяныхъ. У воротъ же домовъ показывались женщины, красивыя и некрасивыя, молодыя и пожившія, всѣ прекрасныя, въ коротенькихъ юбкахъ съ широкими вырѣзами на груди, и, казалось, у нихъ было одно желаніе: бросить въ сѣрую жизнь красоту и свободу. Какъ въ сказкѣ, стояли онѣ въ окнахъ,—необычныя, какъ въ сказкѣ дѣвушки радости, дѣвушки забвенія съ оголенными руками,—а въ залѣ въ пляскѣ кружились точно сестры, точно дѣти...

И тогда слобода угрюмо затихала: уходили внизъ рабочіе, мастеровые, подростки. Мертвыми громадами стояли фабрики, мастерскія, а дома во тьмѣ какъ бы сдвигались... отъ горя.

По угламъ же надъ балкой, какъ куклы неподвижныя, стояли работницы, уставшія работницы, и большими глазами смотрѣли внизъ. Сквозь мглу и мракъ поднимались вверхъ яростные звуки веселья, и онѣ, спрятанныя въ крыльяхъ ночи, слушали потрясенныя.

— Вотъ если бы,—носились вздохи...

Можетъ быть, смерть? Можетъ быть, крикъ справедливаго гнѣва? Можетъ быть, призывъ къ высшему суду?

Ночной же день внизу блисталъ малиновыми огнями, торжествовалъ и какъ бы готовился къ блаженству, котораго люди еще не знали. И словно въ ожиданіи этого часа, всѣ здѣсь плясали неистово. Казалось, что наверху го-

родъ помѣшался отъ власти и насилія и самыхъ буйныхъ, буйно-веселыхъ помѣщанныхъ отправилъ сюда и женщинъ приготовилъ для нихъ такихъ же буйныхъ, буйно-веселыхъ помѣшанныхъ. Въ полномъ помраченіи скакали мужчины, неразговорчивые и тяжелые, и дико кричали,—задыхаясь скакали женщины, нѣжныя и гибкія, и дико кричали,—съ яростью скакали и звуки, и съ ними въ пляскѣ, забвеніи и ликованіи скакали дома и стѣны...

И такъ шло до утра.

II.

Въ балкѣ веселились...

Былъ часъ ночи, весенней полутемной, въ которой чувствовался гдѣ-то прозрачно серебристый, нѣжный свѣтъ луны, иногда, какъ солнце, золотившей сѣрые камни веселыхъ домовъ и грустно убиравшей свое золото, когда на нее набѣгали тучки. Темныя угрюмыя стѣны и ярко-красныя стекла въ окнахъ не сливались... какъ нарочно, пламенно играла музыка въ залѣ, и было грустно,—а въ верхнихъ этажахъ дѣвушки крѣпкими голосами пѣли пѣсни. За городомъ май былъ въ полномъ разгарѣ, зеленѣла трава и хорошо росла, высохли дороги, вездѣ пѣли птицы передъ разсвѣтомъ, и только внизу грѣшная улица не принимала мая ни утромъ, ни вечеромъ. Ничего здѣсь не чувствовалось ни отъ природы, ни отъ неба, и претворялась прекрасная бодрость весны въ пряность, въ проклятый смрадъ каменныхъ мѣшковъ, гдѣ женщины весело томились и весело страдали. Приходила весна и уходила весна и опять приходила,—жизнь оставалась такою же: веселой и проклятой. И подъ солнцемъ и подъ милымъ небомъ неустанно весело томились женщины, весело страдали женщины, и никто не зналъ конца этому: когда начнутъ страдать отъ страданія, кричать отъ томленія...

Былъ май въ полномъ разгарѣ... И въ эту ночь беременная проститутка дѣвушка Элька опять сидѣла у порога своей комнатки, которую ей отвела хозяйка до родовъ,—опять сидѣла въ ожиданіи тапера Вельштейна, и со стро-

гимъ лицомъ слушала пѣніе дѣвушки Лины, гулявшей съ моряками въ угловой комнатѣ верхняго флигеля. Каждую ночь она, уже тридцать дней не ходившая съ гостями, проводила во дворѣ. Ничто ее не трогало, ничему не удивлялась, и только объ одномъ неистово думала: о себѣ. Только о себѣ!

Сама она была жестокая, но съ робкими манерами,— столь робкими, что «измывались» надъ нею всѣ: хозяйка, и дѣвушки и гости. Робость у нея не прошла и за годъ жизни здѣсь, хотя и всѣ старались объ этомъ. Съ каждымъ соглашалась дѣвушка Элька, и никто не подозрѣвалъ ее въ жестокости. Каждому уступала: хозяйкѣ, дѣвушкѣ, гостю, какъ будто кланялась, благодарила, но про себя ненавидѣла и ихъ и жизнь. Лицо у нея было нѣжное, какъ у барышни, съ слабымъ румянцемъ на щекахъ,—пальцы на рукахъ длинные, худые, какъ бы созданные для того, чтобы ихъ ломать въ горѣ... Ходила, какъ ходятъ страдающіе люди, чуть сгорбившись, отчего ея высокая грудь казалась впалой, а брови у нея были роскошныя: черныя, дугой, но не шли къ ней. Случилось такъ, что на второмъ мѣсяцѣ своей жизни въ «домѣ», она забеременѣла... неизвѣстно отъ кого; отъ пьянаго ли матроса, который ночевалъ у нея, отъ стройнаго ли студента, съ нѣжнимъ пушкомъ на подбородкѣ и щекахъ, отъ рябого ли рабочаго, который долго не отпускалъ ее, или еще отъ кого-нибудь изъ среды этихъ людей, посѣтившихъ ее за недѣлю, пьяныхъ, наглыхъ а иногда прекрасныхъ? Въ тайну нельзя было проникнуть, но какъ только беременность дѣвушки Эльки открылась, жизнь ея стала совсѣмъ нелѣпой и загадочной.

Прежде бывало такъ. Къ вечеру она надѣвала черное платье съ высокимъ воротникомъ, причесывалась гладко, съ проборомъ посрединѣ, и покорно спускалась въ залъ. Тамъ въ ожиданіи дѣвушка Элька сидѣла одинокая въ уголку на старомъ диванѣ, съ полинявшимъ малиновымъ бархатомъ... И никто не зналъ, зачѣмъ здѣсь на диванѣ сидитъ тихій человѣкъ, скромный человѣкъ? Всѣ ее презирали. Она не умѣла пѣть, не умѣла кричать, голосъ у нея былъ тоненькій, жалкій!.. Гости издѣвались надъ нею пьяные и

трезвые, какъ бы на зло щипали ее на виду у всѣхъ, обжигали горящими папиросами, заставляли танцовать и учили нагло выбрасывать ногами, нагло пристукивать ими, а она покорялась... жалкимъ голосомъ своимъ просила пощады. Иногда хозяйка подзывала ее, шипѣла ей на ухо что-то грозное, и всѣ видѣли, какъ она блѣднѣла. Тогда она внимательно оглядывала дѣвушекъ, подходила къ какой-нибудь самой некрасивой, самой забитой, обнимала ее рукой за спину, и обѣ, какъ ученицы, шли по залу взадъ и впередъ. Таперъ Вельштейнъ тихо перебиралъ пальцами на фортепіано, и выходила любимая пѣснь грѣшной улицы о о котѣ Мишѣ, который уже разлюбилъ дѣвушку, попавшую за кражу въ тюрьму, но громче и страстнѣе разсказывалъ о томъ, что дѣвушка по выходѣ изъ тюрьмы обольетъ кислотой измѣнника, кота Мишу. Всѣ дѣвушки подпѣвали, выходило грустно, а Элька изподлобья глядѣла на Вельштейна... изъ подлобья глядѣла. Даже когда гость уводилъ ее, и она шла за нимъ покорными шагами, становилось чего-то жалко, и всѣ спрашивали себя: къ чему это? Точно въ душу входила дѣвушка въ черномъ, съ робкими манерами, и, какъ воспоминаніе о печали, будила старыя печали: свѣтлый залъ становился чернымъ, и женщины въ этой тьмѣ находили свои пораненныя сердца, о которыхъ забыли, и... страдали. И всѣ дрожали, всѣ дрожали... А гости шли толпой, толпа гостей напирала, до утра разбирала дѣвушекъ, находила снова Эльку въ уголкѣ на диванѣ, перебрасывала ее въ вонючую конуру проститутки и опять тащила въ залъ, гдѣ плясала, какъ потерянная.

Ночь росла, а таперъ Вельштейнъ, торжественно одѣтый, вытянувъ свою бѣлую, мягкую шею, вперивъ въ окно загадочный взоръ, тихо игралъ, громко игралъ, и все кружилось, кружилось... Улыбались женщины глубокой ночи, кланялись ей, какъ бы звали къ себѣ старую и вѣчную, а амуры на потолкахъ и жирныя голыя дамы въ рамахъ, красныя, сочныя, какъ пузыри съ кровью, и электрическіе рожки, и даже хмурая хозяйка, тощая, длинная, какъ смерть, злая,—всѣ уже улыбались, всѣ радовались.

Но съ беременностью жизнь Эльки совершенно

нилась. Какъ будто чудо сдѣлала, на нее оглянулись люди. Беременная Элька! Беременная Элька! Хозяйка отвела ей лучшую комнату съ темнымъ рисункомъ на золотой бумагѣ, и въ бѣлой блузѣ она, дѣвушка Элька, выдѣлялась здѣсь, какъ ангелъ, кого-то охраняющій. Беременна! Она ложилась и думала «беременна!» Трогала животъ свой, мягкій и такой обыкновенный, трогала грудь, взвѣшивала ее на рукахъ и ожесточенно думала: «беременна, беременна!» И не плакала!

Дѣвушки ее полюбили... Онѣ ласкали ее и плакали надъ ней, а она все ожесточалась. Онѣ забѣгали къ ней непричесанныя, неумытыя, въ однихъ сорочкахъ, иногда въ одиночку, иногда въ кампанію, осматривали ее съ любопытствомъ и испуганно щупали ея мягкій животъ, разсматривали груди и говорили: «ну что, Элька, какъ, Элька?» Какъ новорожденный котенокъ, она нравилась имъ теперь, и онѣ развлекали ее. Пѣли пѣсни онаглѣвшими голосами, пѣсни, которымъ, казалось, конца не было, все о любовникахъ—котахъ, объ обиженной дѣвушкѣ, пѣли пѣсни, страшныя и циничныя, какъ хлысты щелкавшіе, пѣли неизвѣстно для чего о «Поповнѣ», и всѣ съ всклоченными волосами и желтыми тѣлами своими походили на стаю обезумѣвшихъ собакъ, присѣвшихъ на корточки выть надъ могилой.

Иногда приходила хозяйка, тоже сидѣла у нея и спрашивала: «ну что, Элька, какъ, Элька?» Она сдѣлала ей пару новыхъ платьевъ, скромныхъ, приличныхъ и перестала пускать въ залъ съ дѣвушками. Выдавала ее за честную женщину изъ города, беременную замужницу, и когда приходили богатые гости, то за большія деньги предлагала имъ Эльку. И это было нелѣпо и мучительно. Проклинающимъ голосомъ, запинаясь, Элька плела гостямъ, что мужъ ея служилъ въ конторѣ, что отъ бѣдноты принуждена беременная отдаваться за деньги... и плакала горючими слезами, точно въ самомъ дѣлѣ въ городѣ у нея осталось что-то дорогое и близкое, которое она обижала каждую ночь...

Въ концѣ восьмого мѣсяца она уже не могла ходить съ гостями, и нелѣпый кошмаръ кончился. Хозяйка перевела ее въ маленькую, крошечную комнатку въ углу каменнаго

мѣшка, и здѣсь она должна была провести время до родовъ. Всѣ ее оставили. По цѣлымъ днямъ она лежала въ маленькой кроваткѣ, гдѣ ей было неудобно, лежала въ ожиданіи ночи, только ночи, когда приходилъ Вельштейнъ. Тогда она оживала, тогда ея сердце начинало биться. И оба они радовались: онъ о своемъ, и она о своемъ.

III.

Таперъ Вельштейнъ, тридцативосьмилѣтній блондинъ, съ мягкими волосами, игралъ въ «домахъ» пятнадцать лѣтъ. У него было интеллигентное лицо и близорукіе глаза разсѣяннаго человѣка, задумчивые и пріятные, бѣлыя, очень бѣлыя руки и нѣжный голосъ съ гортаннымъ звукомъ. Одѣвался онъ изысканно; носилъ глаженую рубашку съ цвѣтнымъ воротничкомъ, черный сюртукъ и казался смѣшно-торжественнымъ. Онъ не пилъ, не курилъ, держался въ сторонѣ отъ гостей, а съ дѣвушками отношенія у него были странныя: говорилъ онъ съ ними о возвышенныхъ матеріяхъ, а онѣ считали его чудакомъ. Когда, случалось, залъ пустовалъ, онѣ подходили къ нему и требовали властно:

— Вельштейнъ, сыграйте «Зецъ»!

И онъ игралъ «Зецъ», а онѣ разсыпались по залу, какъ бабочки, шли стройными рядами пара за парой, заманчивыя въ своихъ костюмахъ, и славно постукивали каблучками: зецъ, зецъ, зецъ! Онъ вытягивалъ свою бѣлую мягкую шею, заглядывался по привычкѣ на окно и, играя, громко говорилъ:

— Міръ ждетъ новаго пророка. Когда же онъ придетъ, дѣвушки? Когда же онъ придетъ?

— Вельштейнъ, Вельштейнъ! Играйте «Послѣ плакать».

И онъ игралъ «Послѣ плакать»—такую странную, печальную пѣснь, которая какъ бы заливала залъ чьими-то чужими, дорогими слезами, а дѣвушки пристукивали каблучками, и были уже эти стуки, какъ вздохи... кругомъ же сгущалась печаль. И онъ говорилъ, говорилъ, а онѣ шли парами, какъ въ балетѣ...

Съ дѣвушкой Элькой, потому ли, что у нея было лицо барышни, потому ли, что она танцовала неумѣло и пѣла неумѣло, у него съ перваго дня установились иныя отношенія. Она не смѣялась надъ нимъ и серьезно слушала его, иногда даже искала, и онъ отвѣчалъ ей тѣмъ же: серьезно разговаривалъ съ ней и искалъ ее, когда не игралъ. Всегда онъ думалъ о ней, и дома у себя, и здѣсь... Казалось ему, что зачѣмъ-то она послана сюда, и чѣмъ больше привыкалъ къ ея лицу, какъ бы узнавалъ ее, и росла увѣренность, что это именно она, проститутка Элька, которую давно ждали на землѣ. И онъ намекнулъ ей объ этомъ, когда разсказалъ о своей жизни. Она сидѣла подлѣ него. Онъ игралъ, въ залѣ танцовали, и голосъ его казался ужаснымъ, такъ странно было то, о чемъ онъ говорилъ, и что происходило кругомъ нея.

— Вотъ видишь, — произнесъ онъ, заглядѣвшись на окно, у меня жена и четверо дѣтей, а я, Элька, ихъ не люблю. Нѣтъ люблю,—но не люблю. Да, Элька, да! У меня три комнаты. Въ одной я живу, а въ другихъ жена и дѣти. Старшій уже кончаетъ реальное училище, младшій учится въ рисовальной школѣ и уже пишетъ этюдики, да Элька, этюдики, а къ чему это?.. Днемъ же сижу, запершись у себя въ комнатѣ, обѣдаю одинъ, читаю книги и думаю...

— О чемъ?—прошептала Элька.

— Вотъ старшій кончаетъ училище, а младшій пишетъ этюдики. Хорошо, но кому это нужно? Заведеніе останется заведеніемъ, я буду по ночамъ играть, днемъ и ночью люди все будутъ плакать, все будутъ плакать, все будутъ плакать... Къ чему же это?

Онъ замолчалъ, посмотрѣлъ на желтыя клавиши фортепіано, и какъ будто ему нужно было ихъ разсматривать, голова его долго оставалась опущенной. И Элька склонилась на бокъ строгая и печальная. Пальцы Вельштейна механически бѣгали по клавіатурѣ, шли солидно, и взлетали, и съ силой падали назадъ и опять шли, а иногда какъ бы плыли. Подошелъ смуглый рабочій съ разстегнутымъ воротомъ и заказалъ вальсъ. Вельштейнъ кивнулъ головой и долго игралъ вальсъ.

— Теперь «Послѣ плакать»,—опять заказалъ смуглый рабочій и перехватилъ дѣвушку за талію.

— Вотъ видишь, Элька, — сказалъ Вельштейнъ, играя «Послѣ плакать», и заглядѣлся на окно...

— Я не понимаю,—растерянно выговорила Элька...

— Вотъ видишь,—повторилъ Вельштейнъ,—я играю, а они веселятся. Понимаешь? Я размышляю, а они не знаютъ объ этомъ... О чемъ? О томъ, Элька, что для веселья нужна водка, музыка и дѣвушки? Если бы люди придумали, какъ иначе веселиться—я бы работалъ что-нибудь хорошее, настоящее, нужное, дѣвушки были бы матерями и сейчасъ, можетъ быть, кормили дѣтей своихъ! А кто знаетъ, какія бы это были дѣти?

Онъ вытянулъ шею, и глаза его такъ нѣжно прищурились, словно прекрасное и изумительное увидѣлъ онъ.

— А какія бы это были дѣти, Элька? Кто знаетъ? Можетъ быть, пророки? Можетъ быть, среди нихъ нашелся бы одинъ пророкъ-строитель, пророкъ съ молніей, который сжегъ бы весь соръ жизни и всѣ слезы! И я говорю: жалкіе люди!

— Правда, — поддержала Элька, вспыхнувъ, — жалкіе люди!

Ей давно хотѣлось заплакать отъ его словъ, и она не знала почему. Сливалось въ одно и обвѣвало ее печалью его серьезный голосъ и плясавшія дѣвушки подъ музыку, и маленькія розовыя дѣти, съ свѣтлыми волосиками, которыя могли бы быть, но не будутъ и не увидятъ никогда свѣтлаго солнца.

— Люди живутъ тысячелѣтія на землѣ,—говорилъ Вельштейнъ, а что они принесли кромѣ горя? Чему они выучились и что создали лучшаго, чѣмъ было тысячелѣтія назадъ? Жалкіе люди!

— И я тоже объ этомъ подумала,—прошептала Элька.

— Правда? Что у насъ хорошаго? Фабрики, лавки и «дома», а кругомъ слезы, слезы, слезы! Что же они придумали за тысячелѣтія труда? Ничего и ничего! И мнѣ страшно, да Элька, мнѣ страшно оттого, что старшій

сынъ кончаетъ реальное училище, а младшій уже пишетъ этюдики. Проклятые люди, проклятые рабы!

— Я хочу знать,—потребовала Элька.

— И я лежу весь день у себя въ комнатѣ или хожу и думаю: вотъ если бы народился одинъ человѣкъ изъ всѣхъ этихъ милліоновъ проклятыхъ рабовъ, одинъ строитель!.. Я жду его,—серьезно сказалъ онъ,—замученные ждутъ его, и онъ долженъ родиться. Это одна надежда. У насъ былъ Моисей и Іисусъ Христосъ былъ нашъ...

— Да, Іисусъ Христосъ былъ нашъ,—съ трепетомъ согласилась она.

— Но придетъ другой пророкъ, новый пророкъ. Онъ все сдѣлаетъ.

— А какъ онъ придетъ, Вельштейнъ?

Онъ сказалъ. Она не поняла и переспросила. Онъ отвѣтилъ:

— Да, Элька, да, да!

Она какъ бы обожглась, задушила крикъ и замерла. Да, Элька, да! Все время она какъ бы что-то угадывала, что-то предчувствовала и съ каждымъ его словомъ становилась недовольнѣе. Новый пророкъ, да, Элька, да! Новый пророкъ!.. Она чувствовала, что бродитъ вокругъ чего-то страшно важнаго, вокругъ чего-то ослѣпительнаго и добраго, какого еще не было, но уже не соглашалась внутренней душой. Все въ ней упрямилось и не хотѣлось, и уже протествовала противъ надеждъ людей съ жестокой досадой въ сердцѣ, протествовала всѣми годами своихъ скорбей, своихъ страданій, изуродованной жизнью, которой не желала простить, не могла забыть.

По залѣ въ забвеніи кружился смуглый рабочій, и казалось, что онъ сейчасъ упадетъ и разобьется вдребезги. Подошелъ матросъ и заказалъ «Болгарскую». Пьяный и усталый взглядъ его остановился на Элькѣ, нерѣшительно вспыхнулъ, погасъ и перешелъ на другую. Тогда онъ подхватилъ ее и пошелъ съ ней, трагически прижавъ дѣвушку къ себѣ съ такимъ выраженіемъ на лицѣ, словно собирался вонзить ей ножъ въ спину. Вельштейнъ началъ

играть и, не глядя на клавиши, тяжелымъ шопотомъ торжественно повторилъ:

— Да, Элька, да! Это въ тебѣ...

IV.

Пятаго августа дѣвушка Элька уже была беременна. Всѣ дни она какъ бы поджидала этого и съ ужасомъ принимала гостей, недовѣрчиво принимала гостей, гнушаясь ихъ, какъ нечистыхъ звѣрей, посланныхъ добить ее послѣднимъ камнемъ. Судорожно билась на кровати, когда они уходили, и вопила въ подушку съ такимъ отчаяніемъ, точно весь міръ уже умеръ вокругъ нея, и она единственная осталась на землѣ, среди вѣчнаго молчанія и развалинъ, пораженная безсмертіемъ. И все же это случилось: пятаго августа она уже была беременна...

Вельштейнъ подстерегалъ ее и въ залѣ и во дворѣ, когда она возвращалась послѣ ухода гостя, вездѣ онъ ее находилъ, задерживалъ равнодушнымъ жестомъ, не разспрашивалъ, но старался читать на ея лицѣ и говорилъ, словно приказывалъ... Какъ будто она уже была нездѣшней и не могла его выдать, онъ раскрывалъ ей свои тайны, а она слушала его, иногда пламенѣя, иногда презирая его за страсть къ людямъ, за бѣшеную любовь къ тѣмъ, которые были, и къ тѣмъ, которые будутъ.

— Люди, Вельштейнъ, люди! Я люблю камни, Вельштейнъ, каждому камню я отдаю свое сердце. Люблю землю, Вельштейнъ: она молчитъ, и люблю смерть. Смерть наша мать!..

Но... радовалась его словамъ,—о своемъ мечтая, радовалась! Безотчетно устанавливалась въ душѣ твердыня, и знала она, что уже не погибнетъ постыдной смертью отъ послѣдняго отчаянія. Не погибнетъ.

Ему первому она и призналась въ беременности. Разсказала объ этомъ, какъ мужу, съ трепетомъ и нѣжно, и нѣсколько дней оба гадали: отъ кого? Онъ потребовалъ, и хозяйка отвела Элькѣ чистую комнатку. И въ этой чи-

стой комнатѣ она, беременная, уже сидѣла, точно истинная мать, о своемъ мечтая, и лепеча заученныя слова.

Все чаще прибѣгалъ къ ней Вельштейнъ. Тамъ въ залѣ онъ сидѣлъ за фортепіано, торжественный и скромный. Но надъ плясавшими людьми, надъ грѣшными людьми, надъ городомъ, сидѣвшимъ въ холодномъ равнодушіи у балки, онъ видѣлъ образъ, какъ солнце лучезарный, и былъ этотъ образъ столь прекрасный, что въ нетерпѣніи бѣгали пальцы его по клавишамъ и какъ бы умоляли на разные лады: когда же, когда? А у Эльки онъ сидѣлъ молчаливый, уничтоженный и несмѣло смотрѣлъ на дѣвушку, на дѣвушку, носившую въ себѣ счастье всего міра. Не говорилъ, умиленный, и мечталъ о ней: прекрасная! Иногда прорывался въ радости и говорилъ много о людяхъ, только о людяхъ, говорилъ о будущихъ, и на яву ему снилась новая жизнь... Такъ серьезно говорилъ онъ о новомъ пророкѣ, чье дыханіе, чьи шаги уже слышали люди, такъ говорилъ о его дѣлахъ!

— Новый пророкъ! Да, Элька, да! Но Моисей былъ подкидышемъ! Непонятно было рожденіе пророковъ! Чье сѣмя носитъ въ себѣ пророка? Мое, или его, или ихъ? Кто знаетъ? Но послѣдней женщиной должна быть его мать. Да, Элька, да! И всѣ матери, да, Элька, да, всѣ матери на землѣ давно зовутъ его. Пусть придетъ, пусть придетъ...

Онъ рисовался ему и въ мечтахъ, въ сновидѣніяхъ и на яву видѣлъ его, прекраснаго, съ головой, какъ солнце; съ царственнымъ челомъ онъ видѣлъ его. Онъ приходилъ къ нему въ каждые часы дня и оповѣщалъ: «Я въ ней и иду уже. Скажи людямъ: и тѣмъ, что изнываютъ отъ горя, и тѣмъ, что не изнываютъ отъ горя, я иду уже!..

Такъ страшно ему было оставаться съ собой съ глазу на глазъ, такъ безумно ненужными уже казались ему люди и дѣла ихъ, что со страданіемъ молилъ: «Когда же, прекрасный, когда?» Съ нетерпѣніемъ ходилъ по улицамъ города и, какъ разрушитель, осматривалъ крѣпкіе дома съ запорами, которые завтра обратятся въ пыль, съ печалью ступалъ по землѣ, залитой кровью, и мечталъ: «Прекрасный, когда же?»

— Слышишь, Элька! Придетъ онъ къ намъ гнѣвный, съ головой, какъ солнце, съ молніей придетъ онъ и сожжетъ все проклятое, все старое... Сказалъ я: послѣдней женщиной должна быть мать пророка... А кто ниже тебя среди людей? Призовемъ предпослѣднихъ и спросимъ. Всѣ скажутъ: ты! И кто истинно скорбь человѣческую почувствовалъ и горьчайшую чашу испилъ? Камни скажутъ: ты! И кто презрѣннѣе тебя среди людей? Призовемъ послѣднихъ и спросимъ. Всѣ скажутъ: ты!

Они придвигались другъ къ другу такъ близко, что лбы ихъ касались, и въ зрачкахъ видѣли свои маленькія лица, странныя лица безумныхъ людей.

— Да, Элька, да! Да, Элька, да!

V.

Наступилъ канунъ родовъ. Опять сидѣла Элька тяжелая, безсильная у дверей своей комнатки и коротала ночь, послѣднюю ночь. Сидѣла мрачная, подперевъ распухшія щеки руками, о своемъ мечтая, и была она вся, какъ серебряная, отъ луннаго свѣта. Прямо противъ нея въ комнаткѣ гуляли моряки, пили пиво, а среди нихъ въ одной рубашкѣ и въ голубыхъ чулкахъ вертѣлась дѣвушка Ольга и пѣла. Она пѣла о «Поповнѣ». Въ рукахъ держала стаканъ пива и густымъ звучнымъ голосомъ какъ бы проклинала кого-то. Она пересаживалась просто, развязно съ однихъ колѣнъ на другія, много разъ начинала: «настрою я лиру»... И когда кончала, шесть черныхъ, мозолистыхъ рукъ обвивали ея тѣло страстно. И она все держала стаканъ съ пивомъ высоко надъ головой и пѣла...

Элька подняла голову и стала слушать. Въ залѣ, какъ по лѣстницѣ поднимаясь, забѣгали звуки. Вельштейнъ игралъ Дѣвушка Лина, литовская еврейка, худая и остроносая въ венгеркѣ и шароварахъ, въ крошечныхъ сапогахъ съ лакированными голенищами, обнявъ подругу, шла въ пляскѣ.

«Онъ до Пасхи былъ подлецъ
Зецъ, зецъ, зецъ,
А на Пасху окна билъ онъ,
Зецъ, зецъ, зецъ».

Въ боковомъ флигелѣ на лѣстницѣ послышались шаги. Элька обернулась. Показалась и попала въ полосу свѣта полная женщина въ бѣломъ и пропустила уходившаго гостя впередъ...

— Вотъ и ты,—съ тоской проговорила Элька и мрачно попросила:—посиди со мной.

— Не могу,—испуганно отвѣтила женщина,—и такъ грекъ засидѣлся.

Это была тихая и невеселая. Когда она пѣла съ дѣвушками, лицо ея и глаза ея, казалось, плакали, плечи судорожно передергивались, и оттого ее никто не любилъ. Только одни пожилые греки льнули къ ней, и ради нихъ хозяйка держала ее въ «домѣ». Она же ненавидѣла ихъ яростной ненавистью, всѣ силы ея уходили на ненависть, но терпѣла... покоренная терпѣла. Они приходили толстые, оливковые, съ огромными усами, молчаливые люди, невыносимо страстные, и словно о тайнѣ спрашивали шопотомъ: «Гдѣ Цонька»? Несло отъ нихъ селедкой, пенькой, смоленымъ канатомъ, привили этотъ запахъ Сонѣ, и дѣвушки въ насмѣшку прозвали ее «соленой». Они развращали ее утонченной страстью, не разговаривали, а она боялась ихъ: боялась сверкавшихъ зрачковъ, огромныхъ усовъ, таинственнаго молчанія, и отъ страха, какъ потерянная, дѣлала все, что они хотѣли.

Сейчасъ она возвращалась въ залъ обезсиленная. Посѣтилъ ее грекъ, корявый, съ серьгой въ ухѣ, полюбившій ее. И онъ ее замучилъ. Онъ держалъ ее два часа, прижавъ къ своей груди, дышалъ на нее воздухомъ чеснока и вина, разсказывалъ тихимъ шопотомъ, отъ котораго ее тошнило, объ Аѳинахъ и все чего-то требовалъ, сердито ругаясь по-гречески...

— Бѣдная жизнь,—проговорила она, удаляясь отъ Эльки,— бѣдная жизнь!

— «Послѣ плакать»,—хотѣлось Элькѣ бросить ей въ догонку, но удержалась и посмотрѣла на небо.

Вельштейнъ игралъ, а дѣвушка Лина все еще танцовала. Наверху дрожалъ густой голосъ Ольги, а звѣзды на небѣ были столь чистыя, что душа не принимала ихъ.

Раньше «Зецъ», а потомъ «Послѣ плакать», сурово подумала Элька.

Складка легла у нея между бровями. Дохнуло тепломъ, сухимъ, перегорѣвшимъ. Повернувшись въ гнѣздѣ подъ крышей, чирикнулъ воробей. Къ подъѣзду съ грохотомъ подкатили дрожки.

«Гости пріѣхали», подумала Элька.

Въ корридорѣ суетливо забѣгалъ служитель съ озабоченнымъ лицомъ. На лѣстницѣ послышались шаги. Въ освѣщенномъ окнѣ показалась Ольга и стала такъ, какъ будто выглядывала и прислушивалась. Музыка прекратилась. Пять дѣвушекъ молча пошли по корридору.

— Ты здѣсь?—услышала подлѣ себя Элька голосъ Вельштейна.

«Бѣдная жизнь!» хотѣлось ей шепнуть...

Онъ стоялъ передъ ней, чуть устьшій отъ долгаго сидѣнія, отъ игры и быдъ, какъ всегда, тотъ же, торжественно одѣтый, въ накрахмаленной сорочкѣ и цвѣтномъ воротникѣ; сюртукъ дѣлалъ его смѣшнымъ. Но что-то спрашивающее было въ его склоненной на бокъ фигурѣ.

— Ну, что же,—произнесъ онъ, выговаривая пріятно,— пойдемъ въ комнату. Вотъ весна, вотъ луна, — прибавилъ онъ, мечтательно поглядѣвъ на небо.—Да, Элька, да!..

— Вотъ весна, вотъ луна, — тихо повторила она за нимъ загадочно и съ трудомъ поднялась.

Они зашли, она первая, онъ сзади нея, таинственно улыбаясь. И тутъ они усѣлись рядомъ, какъ родные близкіе, какъ родные далекіе. Онъ отвернулъ полы сюртука, спряталъ руки въ карманахъ и остался такъ, а она опустила голову, опершись ладонями рукъ о желѣзныя перила кровати.

— Завтра потемнѣетъ солнце, — проронилъ онъ и замолчалъ.

Они сидѣли долго въ молчаніи, и, казалось имъ, вокругъ долго рѣяли и звучали эти слова: «Завтра потемнѣетъ солнце!»

— Слышишь, Элька,—произнесъ онъ и хотѣлъ прибавить: «прекрасная!»—Вслушайся! Завтра... да, Элька, да?

Она кивнула головой, но побѣжденная, повторила:

— Да, завтра... да, завтра!

— Вслушайся, Элька!.. Когда онъ окрѣпнетъ, съ великой скорбью пойдетъ по міру, одинъ, въ святой бронѣ ненависти...

Онъ сомкнулъ вѣки и сталъ подобенъ слѣпому, который поетъ о своихъ надеждахъ.

— Онъ придетъ сюда и спроситъ: «Почему эта улица лежитъ въ долинѣ, и нѣтъ здѣсь ни солнца, ни тепла, ни радости?» Онъ удивится, Элька! И скажетъ, качая головой: «Эту улицу нужно убрать... не должно быть такой улицы у людей!..» Отсюда пойдетъ онъ въ «дома». Да, Элька, да! Увидитъ дѣвушекъ! Удивится и спроситъ: «А кто эти дѣвушки, на дѣвушекъ не похожія, съ заспанными лицами?» И ему скажутъ. «Такъ это онѣ поютъ по ночамъ, и слезы ихъ пѣсенъ доходятъ вверхъ»? Сожмется его сердце отъ гнѣва, сомкнутся уста отъ гнѣва, и помолчитъ въ раздумьи.. И скажетъ просто: «Пусть не будетъ такихъ дѣвушекъ среди людей!.. А эти пусть уйдутъ домой. Человѣкомъ должна быть женщина».

— А я не хочу, — вдругъ упрямо и жестоко прервала его Элька.

— И къ намъ онъ подойдетъ, да, Элька, да! Взглянетъ и спроситъ: «Почему эти мужи не у своихъ очаговъ? Непорядокъ это! Почему вѣки глазъ ихъ красные, и печальны они? Почему ихъ лица блѣдныя? Молчаливые они?» Скажутъ ему... И сердце его сожмется отъ усталости и уста сомкнутся... Подумаетъ и промолвитъ: «Строители бы они были, а вотъ чѣмъ занимаются!» Прикажетъ онъ: «И этихъ пусть не будетъ!»

Она еще разъ повторила страшное:

— А я не хочу!

— Да, Элька, да! И такъ снизу вверхъ, изъ долины на гору, съ горы на равнину пойдетъ онъ по міру, обойдетъ онъ города, всѣ улицы и вездѣ остановится... Да, Элька, да! Въ состраданіи своемъ и въ святой бронѣ своей ненависти и скорби великой всѣхъ спроситъ: и скупого, и насильника, кто хуже скупого, и разбойника, и раба, кто

хуже разбойника, и нищаго, и покорнаго, кто хуже нищаго, и того, кто въ страданіи добываетъ хлѣбъ свой, и того, кто безъ страданія добываетъ его, и того, кто отнимаетъ его у вдовы и сироты. Да, Элька, да! Передъ всѣми остановится, всѣхъ съ удивленіемъ разспроситъ и осудитъ, осудитъ... Скажетъ: «Строителями бы они были, а они вотъ какіе!» Прикажетъ онъ: «И этихъ пусть не будетъ!» И тогда, Элька, тогда изречетъ, созидая: «Новые, живите иначе! Вотъ такъ живите!» И заживутъ, да, Элька, да...

Такъ закончилъ Вельштейнъ, страстно тоскуя о прекрасной жизни, такъ говорилъ онъ передъ Элькой, и она нехотя слушала его. Спросила она, и, какъ звѣри, рычали въ ней всѣ обиды, всѣ скорби.

— Почему же онъ раньше не пришелъ, много раньше? Какъ вернетъ онъ мнѣ стыдливость мою и невинность мою? Какъ сдѣлаетъ, чтобы слезы мои и боли мои какъ бы не были? И всѣ со мной на землѣ спросятъ: Какъ? Не скажемъ ли мы ему: Съ нами, съ нами что будетъ? И что отвѣтитъ онъ?

— Мы всѣ служимъ завтрашнему, — съ радостью отвѣтилъ онъ.

— А если я не хочу? Я, Вельштейнъ! И кто хочетъ? Не желаемъ мы служить завтрашнему! Если мы страдали, — пусть и всѣ страдаютъ, сколько народятся. Съ радостью будемъ страдать! Закроемъ глаза, стиснемъ зубы и будемъ страдать. Придетъ онъ въ святой бронѣ своей ненависти,— заплюемъ его! Почему онъ не пришелъ раньше, много раньше? Теперь же не нуженъ онъ намъ! Ибо что скажутъ люди, въ землѣ погребенные? Вотъ вы веселитесь, скажутъ, вы радуетесь, а мы, а мы? Что отвѣтимъ? Въ горѣ заломимъ руки?..Будемъ страдать, страдать...

Сидѣлъ Вельштейнъ, сморщивъ лицо отъ боли, и думалъ... И Элька молчала... Но преступныя звѣзды, но преступное небо такъ высоко, высоко висѣли надъ ними.

VI.

Въ эту ночь Элька умерла. Она убила себя, и никто не узналъ почему. Никто не узналъ!

Когда снова стемнѣло, явился Вельштейнъ, спокойный и блѣдный, въ сюртукѣ и цвѣтномъ воротникѣ, смѣшно-торжественный. Хозяйка, какъ смерть злая, и дѣвушки окружили его. Сказали онѣ безъ печали:

«Элька умерла»:

И онъ ничего не отвѣтилъ имъ. Молча повернулъ изъ долины вверхъ, гдѣ уже стояли работницы, черныя отъ труда и усталыя отъ труда, и, глядя на нихъ, съ жгучей болью въ сердцѣ своемъ думалъ»:

«Да, Элька, да»...

И онѣ посмѣялись надъ нимъ. Молча прошелъ онъ среди нихъ, повернулъ къ городу, суетливому и шумному, и страшному ночью, и побѣжденный думалъ:

«Да, Элька, да, не придетъ пророкъ!»

И ночные звѣри-люди смѣялись надъ нимъ. Изъ улицы въ улицу, отъ площади къ площади, среди громадъ домовъ, такой маленькій, среди тысячъ людей, такой ничтожный, шелъ онъ, и бурной болью пронизывала его мысль, что не придетъ новый пророкъ. И плакалъ... И плакалъ. Песчинка передъ городомъ, песчинка передъ людьми, отъ гнѣва плакалъ онъ объ ихъ несчастьи, а ночные звѣри-люди смѣялись надъ нимъ. Смѣялись отъ веселья и торжества, и никто не хотѣлъ выслушать, что едва рожденный, уже умеръ новый пророкъ.

«Умеръ новый пророкъ!»

И снова громко и снова нагло смѣялись надъ нимъ. Зачѣмъ имъ новый пророкъ, какъ бы спрашивали они смѣхомъ своимъ? И камни отъ мостовой удивленно грохотали: «Зачѣмъ намъ новый пророкъ?»

Все шелъ Вельштейнъ, и веселыя тѣни потѣшавшихся людей росли вокругъ него, какъ лѣсъ. Плясали они и, смѣясь, кивали головами, а онъ все звалъ ихъ и громко кричалъ:

«Знаете, умеръ новый пророкъ. Вслушайтесь, вѣдь умеръ новый пророкъ!»

Но они отбѣгали отъ него въ веселомъ удивленіи, поджидали на перекресткахъ, и, окруживъ, опять смѣялись,

смѣялись, смѣялись... Шелъ онъ дальше упрямо впередъ и съ жгучей болью въ сердцѣ своемъ думалъ:

«Смѣхъ заражаетъ... Вотъ и я засмѣюсь, да, Элька, да. Я улыбнулся, Элька,! Вотъ насильникъ бьетъ слабаго... Я улыбнулся, Элька! И будетъ такъ. И рабовъ ведетъ господинъ. Да, Элька, да. И будетъ такъ. Но покорные, Элька, хотятъ быть покорными. Они хотятъ ими быть... Я смѣюсь, ибо умеръ новый пророкъ, и будетъ такъ, и будетъ такъ...

И шелъ, изнемогая отъ усталости, изнемогая отъ смѣха...

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ШИПОВНИКЪ» СПБ., НЕВСКІЙ, 102.
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АЛЬМАНАХИ.

КНИГА ПЕРВАЯ:

А. СЕРАФИМОВИЧЪ. У ОБРЫВА. — А. КУПРИНЪ. ВРЕДЪ. — С. СЕРГѢЕВЪ-ЦЕНСКІЙ. ЛѢСНАЯ ТОПЬ. — Н. ГАРИНЪ. КОГДА-ТО... — БОР. ЗАЙЦЕВЪ. ПОЛКОВНИКЪ РОЗОВЪ.

ГОРОДЪ: В. БРЮСОВЪ. Городъ. (Стихотвореніе). — М. ДОБУЖИНСКІЙ. (3 РИСУНКА ВЪ КРАСКАХЪ). — Л. БАКСТЪ. (РИСУНОКЪ ВЪ КРАСКАХЪ). — Н. РЕРИХЪ. (РИСУНОКЪ ВЪ КРАСКАХЪ).

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ. ЖИЗНЬ ЧЕЛОВѢКА.

КНИГА ВТОРАЯ:

В. МУЙЖЕЛЬ. ПОКА. — А. КОЙРАНСКІЙ. ХОЛОДЪ. — И. БУНИНЪ. У ИСТОКА ДНЕЙ. — БОР. ЗАЙЦЕВЪ. МАЙ.

СТИХОТВОРЕНІЯ: ИВ. БУНИНЪ. — С. ГОРОДЕЦКІЙ. — АЛ. БЛОКЪ.

АЛЕКСАНДРЪ БЕНУА. «СМЕРТЬ». (6 РИС. ВЪ КРАСКАХЪ).

ОКТАВЪ МИРБО. ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ АВТОМОБИЛѢ.

Цѣна каждаго альманаха 1 рубль.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ШИПОВНИКЪ» СПБ., НЕВСКІЙ, 102.
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

БАЙРОНЪ.

КАИНЪ.

Переводъ Ив. Бунина.

Обложка, заставки и концовки В. Чемберса.

Ц. въ переплетѣ 1 р. 50 к.

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

„СѢВЕРНЫЕ СБОРНИКИ“

ИЗЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ:

Густава Вида.
Гольгера Дрохмана.
Кнута Гамсуна.
Свенъ Ланге.
Сельмы Лагерлефъ.
Іонаса Ли.
Амаліи Скрамъ.
Е. Небелонгъ.
Карина Михаэлисъ.
Петера Нансенъ.
Кнута Хіорте.
Сорена Киркегаарда.
П. Галлстрема.
И. П. Якобсена.
А. Стриндберга.
Г. Брандеса.

ДѢТСКАЯ БИБЛІОТЕКА.

ВЪ 1907 Г. ВЫЙДУТЪ ВЪ СВѢТЪ:

И. Билибинъ. «Теремъ-Теремокъ». Сборникъ народныхъ сказокъ, пѣсенъ и прибаутокъ для дѣтей младшаго возраста. Рисунки въ краскахъ.

С. Городецкій. «І Я». Стихи для дѣтей. Съ рисунками Б. Кустодіева.

Н. Гаринъ. Маикины сказки. Съ рисунками И. Билибина.

А. Ремизовъ. Морщинка. Рисунки М. Добужинскаго.

Эрнстъ Дайнгейзеръ. Міаулина. Книга сказокъ для маленькихъ дѣтей. Съ рисунками Ю. Дица.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ШИПОВНИКЪ» СПБ., НЕВСКІЙ, 102.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

ГОЙА.

ВРУБЕЛЬ.

Т. ГЕЙНЕ.

ГОТОВЯТСЯ:

ӨЕДОТОВЪ.

А. ГАЛЕНЪ.

К. МЕНЬЕ.

В. ГОГАРТЪ.

Обри Бердслей. 65 рисунковъ, избранныхъ по указанію К. Сомова. Цѣна въ переплетѣ 1 р. 50 к.

ГОТОВИТСЯ КЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА:

А. Л. ВОЛЫНСКІЙ.

РЕНЕССАНСЪ и ЛЕОНАРДО-ДА-ВИНЧИ.

Критическое изслѣдованіе по первоисточникамъ, въ 3 томахъ.

Томъ первый: **Легенда о Леонардо.**

Томъ второй: **Демоническое искусство.**

Томъ третій: **Научный геній Леонардо-да-Винчи.**

Въ изслѣдованіи Волынскаго, кромѣ первоисточниковъ, использованы всѣ главные матеріалы, опубликованные до настоящаго времени, біографическаго, литературнаго и критико-научнаго характера. Книги будутъ иллюстрированы нѣкоторыми репродукціями съ рѣдкостныхъ, нигдѣ еще не воспроизведенныхъ, картинъ, какъ самого Леонардо, такъ и его школы, изъ публичныхъ и частныхъ коллекцій Парижа, Лондона и Милана.

Цѣна каждаго тома 1 рубль.